



130

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis

Studia Russologica V

130

**Annales
Universitatis
Paedagogicae
Cracoviensis**

Studia Russologica V

Zespół recenzentów

Prof. dr hab. Henryk Fontański, Dr hab. prof. UP Janusz Henzel,
Prof. dr hab. Krystyna Iwan, Prof. dr hab. Ewa Komorowska,
Prof. Aleksander Naumow, Prof. dr hab. Krystyna Pietrzycka-Bohosiewicz,
Dr hab. prof. UR Kazimierz Prus, Prof. dr hab. Wasilij Szczukin,
Prof. dr hab. Wiesław Witkowski, Prof. dr hab. Władysław Woźniewicz

Redaktorzy tomu

Dr hab. prof. UP Halina Chodurska – Uniwersytet Pedagogiczny
im. KEN w Krakowie
Dr hab. prof. UP Dorota Dziewanowska – Uniwersytet Pedagogiczny
im. KEN w Krakowie
Dr hab. prof. UP Barbara Stawarz – Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

Komitet redakcyjny

Dr hab. Andrzej Dudek – Uniwersytet Jagielloński
Prof. dr hab. Henryk Fontański – Uniwersytet Śląski
Prof. dr hab. Władysław Woźniewicz – (emerytowany profesor) Uniwersytet
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Doc. Jevgenij Nikolajewicz Stiepanov – Państwowy Uniwersytet w Odessie
im. I.I. Miecznikowa
Prof. dr hab. Olga Viktorowna Trofimova – Państwowy Uniwersytet w Tiumeniu

© Copyright Wydawnictwo Naukowe UP, Kraków 2012

ISSN 1689-9911

Wydawnictwo Naukowe UP
Redakcja/Dział Promocji
30-084 Kraków, ul. Podchorążych 2
tel./fax (12) 662-63-83, tel. (12) 662-67-56
e-mail: wydawnictwo@up.krakow.pl

Zapraszamy na stronę internetową:
<http://www.wydawnictwoup.pl>

druk i oprawa
Zespół Poligraficzny UP, zam. 37/13

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis

Studia Russologica V (2012)

Od redaktorów

Oddajemy w ręce Czytelników piąty tom serii Annales Acadmiae Paedagogicae Cracoviensis, zawierający artykuły pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. W zbiorze zamieszczono także publikacje ukazujące aktualne zainteresowania badawcze rusycystów z Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz ośrodków zagranicznych: Moskiewskiego Uniwersytetu Pedagogicznego, Mordowskiego Państwowego Uniwersytetu im. N.O. Ogariewa, Państwowego Uniwersytetu w Odessie im. I.I. Miecznikowa oraz Państwowego Uniwersytetu w Tiumeniu.

Niniejszy tom zawiera prace z zakresu literaturoznawstwa, językoznawstwa i glottodydaktyki.

W polu zainteresowań autorów studiów literaturoznawczych znalazły się problemy: wstępnej fazy rozwoju myśli estetycznej w Rosji, genologicznego aspektu liryki rosyjskiej początku XIX wieku, estetyki i aksjologii awangardy rosyjskiej oraz etnofilologicznego podejścia w badaniach nad literaturą rosyjskojęzyczną XX wieku. Wątkiem scalającym wszystkie artykuły, mimo pozornego rozrzutu tematycznego i zastosowanych metod badawczych, jest ich ukierunkowanie na zagadnienia natury estetycznej, manifestujące swoją obecność zarówno w wypowiedziach literackich, jak i w rozważaniach czysto teoretycznych.

W dziale „Językoznawstwo” zdecydowałyśmy się zamieścić szereg artykułów nie tyle lingwistycznych, ile napisanych przez językoznawców (także rosyjskich). Tematyka rozważań jest w związku z tym dość zróżnicowana – od uwag z zakresu lingwistyki tekstu po oryginalne ujęcie roli wulgaryzmów w języku mówionym, od dialektów do języka wysokiej literatury, od studiów nad zakłębieniami stosowanymi w stomatologii ludowej poprzez metaforyczny model nadziei do historii medycyny i homeopatii... Stanowią one odzwierciedlenie coraz szerszych zainteresowań współczesnej lingwistyki europejskiej i jej niewątpliwych związków z pozostałymi dyscyplinami humanistycznymi.

Artykuły z zakresu glottodydaktyki dotyczą różnych aspektów nauczania języka rosyjskiego na studiach rusycystycznych. W dziale tym zamieszczono artykuły koncentrujące się na badaniach nad doskonaleniem kompetencji lingwistycznej. Dotyczą one zagadnień nauczania interpunkcji rosyjskiej oraz zagadnień związanych ze zjawiskiem interferencji międzyjęzykowej i błędów (gramatycznych i leksykalnych) będących efektem jej negatywnego oddziaływania na proces przyswajania języka obcego. W dziale „Glottodydaktyka” zamieszczono także artykuł będący syntezą aktualnej wiedzy o kompetencjach nauczyciela języka obcego w kontekście wyzwań współczesnej cywilizacji.

*Halina Chodurska
Dorota Dziewanowska
Barbara Stawarz*

Языкознание

Людмила Байдуж

Семантика и прагматика русской частицы *все равно* в аргументативных дискурсах

Полипредикативные причинные конструкции современного русского языка могут организоваться не только союзами соответствующей семантики, но и служебными словами *гибридного* характера, имеющими нечеткий грамматический статус. Одним из таких показателей является дискурсивная единица *все равно*. Она обладает способностью оформлять конструкцию самостоятельно, а также в сочетании с «каноническими» причинными союзами – *потому что, так как, поскольку, ибо* и т.д. частицами *ведь* и *же*, т.е. употребляясь в позиции конкретизатора¹; например:

(1) *После того как нашу пьесу «С легким паром!» отвергли многие московские театры она наконец нашла пристанище в стенах одного очень знаменитого столичного театрального коллектива. Я не стану называть этот театр и не советую ломать голову – все равно не догадается* (Э. Рязанов. Неподведенные итоги);

(2) *Все пьесы стараются ставить с музыкой. О постановке не особенно заботятся, потому что все равно ничего не видно* (Н. Тэффи);

(3) *В одиннадцать часов дня мы без всяких происшествий оказались в Севастополе. Надо было связаться с Москвой и я решил, что поскольку транспортные самолеты все равно идут из Симферополя есть смысл ехать прямо туда и оттуда звонить в Москву. Мы быстро нашли Демьянова, сели в машину и, не заходя в штаб, махнули в Симферополь* (К. Симонов. Разные дни войны).

¹ Термин «конкретизатор» в русистике употребляется обычно применительно к сочинительным союзам («По отношению к сочинительным союзам семантически дифференцирующую функцию часто выполняют специализированные конкретизаторы, то есть слова и словосочетания, которые подключаются к союзу и уточняют его значение. Таковы соединения: *и потому, и поэтому, и в результате, и оттого, и тем самым, и стало быть, и следовательно, и таким образом, и значит, и притом, и к тому же, и кроме того, и в то же время, и вместе с тем, и все-таки, и все же, и однако, и все равно...*» (Русская грамматика, т. 2, Москва 1980, с. 715). В данном случае, как мы попытаемся показать служебная единица *все равно* тоже определенным образом «уточняет» значение причинных союзов. Вернее сказать, узкоспециализированное значение, по сравнению со значением «канонического» причинного союза, имеет весь комплекс «причинный союз + *все равно*».

Морфологический статус служебного слова *все равно* по-разному квалифицируется в лингвистических источниках. Так, Р.П. Рогожникова определяет его как **наречие**, поясняя его значение с помощью синонимических сочетаний: «**1.** (...) При любых обстоятельствах, в любом случае, несмотря ни на что. (...) – *Всыпь как следует непутевому сыну, только прости. Все равно уже ничего не изменишь*»². Квалифицируемое как **фразеологизм**, аналогичным образом толкуется оно во «Фразеологическом словаре русского языка» под ред. А.Н. Молоткова: «**2.** В любом случае, при любых условиях. (...) *Мое ревнивое сердце ее все равно терпеть не может, и я ее и себя погублю. (...) Поручите это мне, потому что я его все равно убью*»³. Е.А. Стародумова квалифицирует *все равно* как **частицу**, относя ее, наряду с частицами *ведь, же, все-таки, все же, просто, еще, -таки, как-никак* к «собственно релятивным», «сопоставимым с семантическими союзами»; специфику слов этой группы она раскрывает, анализируя частицы *ведь* и *просто*⁴.

М.И. Черемисина и Т.А. Колосова, проанализировав и пересмотрев всю терминосистему, относящуюся к номинации **аналитических средств связи** частей сложного предложения, констатировали недостаточность существующих наименований и ввели в научный обиход такие понятия, как «скрепа», «функтив», «аналитический показатель связи» и ряд других⁵. Принимая во внимание связующую функцию служебных слов, фиксируемую термином «скрепа», и особый синтагматический и смысловой потенциал анализируемой нами служебной единицы *все равно*, исключающий ее отнесенность к классу **союзов**, мы предлагаем в качестве рабочего для номинации ее статуса в случаях, когда она употребляется без причинного союза, термин **частица-скрепа**.

М.В. Ляпон считает неопределенность грамматического статуса общей чертой многих показателей каузальной связи и констатирует, что «(...) подавляющее большинство этих средств по своей форме и функции не соответствует представлению о классическом союзе; точнее говоря, единицы, которая могла бы выступать идеальным представителем класса союзов, среди причинных релятивов не существует»⁶. Особый смысловой потенциал причинных скреп М.В. Ляпон характеризует следующим образом: «Реляционные единицы, оформляющие связь каузального характера, существуют в естественном языке не как рафинированные логические знаки причины, а в прагматически адаптированном виде. Смысловой компонент, отражающий

² Р.П. Рогожникова, *Толковый словарь сочетаний эквивалентных слову*, Москва 2003, с. 71.

³ *Фразеологический словарь русского языка*, под ред. А.И. Молоткова, Москва 1978, с. 83.

⁴ Е.А. Стародумова, *Частицы русского языка (разноаспектное описание)*, Владивосток 2002, с. 117.

⁵ М.И. Черемисина, *Союз как лексическая единица языка (Лексема или функция?)*, [в:] *Актуальные вопросы лексикологии*, Новосибирск 1972; М.И. Черемисина, Т.А. Колосова, *Очерки по теории сложного предложения*, Новосибирск 1987; изд. 2-е, испр. и доп., Москва 2010.

⁶ М.В. Ляпон, *Прагматика каузальности*, [в:] *Русистика сегодня*, Москва 1988, с. 116.

внутренний диалог говорящего и адресата, концептуальное столкновение участников коммуникации и является той ключевойемой, которая способна превратить реляционную единицу (частицу, наречие, риторическую формулу развернутой структуры, гибридное слово неопределенного категориально-морфологического статуса и т.п.) в аналог причинного союза»⁷.

Мы ставим своей целью попытаться выявить этот «смысловой компонент», «индивидуальную прагматическую программу», о которой говорит М.В. Ляпон, применительно к служебному слову («реляционной единице») *все равно*. Представляется в связи с этим важным замечание И.Б. Левонтиной: «При описании частиц основная проблема состоит в том, чтобы связать приписываемое им значение и те типы контекстов, в которых эти частицы фигурируют. С этим же связан и основной порок большинства описаний частиц: частице либо вообще не приписывается собственного значения, а лишь перечисляются типы контекстов ее употребления, либо ей приписывается очень общее значение, но при этом остается непонятным, как оно реализуется в конкретных контекстах»⁸.

Основополагающая роль показателя связи в формировании полипредикативной конструкции, кажется, уже является общепризнанной. М.И. Черемисина отмечает: «Сложное предложение как знак языка в плане выражения с необходимостью предполагает знаменательные переменные (если говорить о двучастных причинных конструкциях, то это их смысловые звенья «мотивируемый компонент конструкции» и «мотивирующий компонент». – Л.Б.), тогда как константой, которая определяет лингвистическое существование данного знака и его тождество самому себе (в системе варьирования), является показатель связи, отношения между этими переменными»⁹. Мы считаем целесообразным в поиске организующего механизма действия частиц-скреп (как, впрочем, и союзов) проведение наблюдений над содержанием смысловых звеньев формируемых ими конструкций.

Попытки определения семантики и условий функционирования частицы *все равно* в конструкциях мотивации предпринимались нами ранее¹⁰. Общая картина функционирования данной единицы в аргументативных дискурсах представляется нам такой: дискурсивное слово *все равно* организует сегмент

⁷ Там же.

⁸ И.Б. Левонтина, *Об одной загадке частицы* *ведь*, [в:] *Компьютерная лингвистика и интеллектуальные технологии: Труды международной конференции «Диалог-2005»*, Москва 2005, режим доступа: <http://www.dialog-21.ru/Archive/2005/Levontina%201/Levontinal.htm>.

⁹ М.И. Черемисина, *Сложное предложение как знак языка*, [в:] М.И. Черемисина, *Теоретические проблемы синтаксиса языков разных систем*, Новосибирск 2004, с. 160.

¹⁰ Л.М. Байдуж, *Особенности употребления дискурсивного сочетания* *все равно* *в конструкциях мотивации побуждения*, [в:] *Русистика: функциональный и семантический аспекты*, Тюмень 2001; Л.М. Байдуж, *Конструкции со скрепой* *все равно* *в системе средств выражения причинно-следственных отношений*, [в:] *Проблемы интерпретации в лингвистике и литературоведении*, Новосибирск 2002; Л.М. Байдуж, *Семантическая структура конструкций мотивации со скрепой* *все равно*, [в:] *Русский язык: исторические судьбы и современность. Международный конгресс русистов-исследователей. Труды и материалы*, Москва 2010.

поля причинности, включающий мотивацию как побуждений, так и высказываний повествовательного характера, специфика которого может быть определена как обоснование оптимальной для исполнителя программы действий, исходящей из жестко заданных параметров, сложившегося или однозначно прогнозируемого положения вещей, которое должно восприниматься как некая данность, некая константа. При любой направленности данной программы, зависящей от того, определяет ли ее человек сам для себя (при повествовании) или же получает от прескриптора (в побудительных высказываниях), она может иметь два варианта: «оптимистический» (конструктивный) и «пессимистический» (деструктивный). В первом, «оптимистическом» случае исполнитель программы стремится извлечь из сложившейся ситуации пользу или побуждается к этому (в его собственных интересах или в интересах прескриптора) – при межличностной коммуникации, когда прескриптор воздействует на агенса, уговаривая его или убеждая в приемлемости для него данной прескрипции¹¹. Во втором, «пессимистическом» случае обосновывается целесообразность или вынужденность полного отказа от планов, намерений или их корректировка – в силу заведомо очевидной невозможности осуществления. Первый вариант можно определить как установку: *Не теряй возможности (используй обстоятельства)*, а второй – *Не трать силы зря (не старайся)*. Так или иначе, оба эти варианта объединяет то, что в них программируется и обосновывается с помощью аргументации, содержащейся в компоненте дискурса, включающем частицу *все равно*, «рационально выстроенная в заданных рамках деятельность»¹².

Дальнейшие наблюдения за характером мотивируемых событий и их мотивировками позволили обнаружить следующие закономерности.

Содержание аргументации (так же, как и характер мотивируемого) имеет определенные пределы варьирования, зависящие от того, что именно обосновывается. В конструкциях, которые мы условно отнесли к «оптимистическому» варианту («Используй обстоятельства»), аргумент, вводимый частицей-скрепой *все равно*, носит **дополнительный, не магистральный** характер, выступает как способствующий фактор. В том случае, если исполнителем программы действий (агенсиом) является сам говорящий, его действия часто представляются достаточно случайными, незапланированными, осуществляемыми в связи с не контролируемыми им обстоятельствами. Например:

(4) *Гринька промолчал на это. Положил лист на тумбочку, взял карандаш и стал смотреть в потолок. – Поэму буду сочинять, – сказал он. – Про свою жизнь. Все равно делать нечего* (В. Шукшин. Гринька Малюгин);

(5) – *Загораешь?* – **Загораю.** *Охрана все равно за ограду никого не выпускает* (телесериал «Саквояж со светлым будущим», экранизация одноименного романа Т. Устиновой).

¹¹ Термины «прескриптор», «прескрипция» введены в: Л.А. Бирюлин, *Генерализованный императив в акте речи*, [в:] *Модальность в ее связях с другими категориями*, Новосибирск 1992.

¹² Л.М. Байдуж, *Конструкции со скрепой...*, с. 20.

Мотив «делать нечего» вообще очень частотен:

(6) *Хочешь, я к тебе переберусь?* – самоотверженно предложила Романова. – Мне здесь **все равно нечего делать**... (В. Токарева. Сентиментальное путешествие);

(7) *Уже рассвело, и поле хорошо выделось, а след его, черт бы подрал, тянулся очень заметный.* (...) Тогда решил Борька – **все равно делать нечего** – свой след заранее **запутать**, напетлять по лесу несколько километров и выйти к опушке в другом месте и оттуда наблюдать за деревухой (В. Кондратьев. Борькины пути-дороги).

В данном случае мотивируется намерение агенса совершить определенное действие, т.е. составитель программы деятельности и ее исполнитель, как и в ситуациях (4) – (6), одно и то же лицо. Незанятость адресата может учитываться при аргументации просьбы или требования и при межличностной коммуникации:

(8) Ты **проводишь** нас немножко? Тебе **ведь все равно сейчас нечего делать** (Ю. Казаков. Голубое и зеленое);

(9) *Напишу! Ты весь в этом. Не писать надо, а ехать, лично просить, пороги обивать. Ты же **все равно** здесь **бездельничаешь!** **Все равно** только пьянствуешь и путаешься с девками. Неужели так трудно для **родной дочери?*** (А. И Б. Стругацкие)¹³.

Ср. также:

(10) *Ничего удивительного не увидел «мент» (актер сериала «Менты» Михаил Трухин. – Л.Б.) в обращении властей к предпринимателям, которых просят убрать снег и наледь с прилегающих к их зданиям территорий и улиц, пишет «Фонтанка». «Ну, может, они еще детские сады на улицы выведут, школы подключим к борьбе со стихией, армию тоже можно... А вообще, конечно, в больницы **обращаться нужно, там все равно без дела валяются**, – съязвил актер» («Мент» Михаил Трухин: Мы с Шевчуком одной группы крови, 03.01.2011, режим доступа: <http://www.d-pils.lv/news/2/416444>).*

Основная, главная причина может быть понятна из содержания широкого контекста (см., например, (6) и др.) или четко сформулирована, ср.:

(11) – *У тебя помазка нет* (основная причина), – *достал Рубин из кармана роскошный по арестантским понятиям помазок с полированной пластмассовой ручкой, – а я **все равно** дал обет не бриться до дня оправдания* (дополнительная причина) – *так **возьми его!*** (мотивируемое сообщение) (А. Солженицын. В круге первом); мотивируется директив-предложение в ситуации межличностной коммуникации;

¹³ Пример взят из кн.: *Дискурсивные слова русского языка: опыт контекстно-семантического описания*, под ред. К. Киселевой и Д. Пайара, Москва 1998, с. 239.

(12) *А когда мне надо опустить письмо в почтовый ящик, я не хочу тянуться в противоположное окно машины* (основная причина). *Поэтому допускаю маленькое нарушение. Быстренько выезжаю на встречную полосу* (мотивлируемое сообщение), *по этой улице все равно никто не ездит* (дополнительная причина, способствующее обстоятельство), *и спокойненько опускаю письмо в желтый ящик из окна левой рукой* (А. Туробов. Америка каждый день).

В дискурсе (7) основная причина – «заметность следа на снегу», что необходимо скрыть, а в (9) – необходимость помочь «родной дочери».

Источником «оптимизма», приводимым в качестве аргумента при обосновании действий в заданных («невыбираемых») условиях, может служить напоминание исполнителю программы о том, что это для него не обременительно, не нарушает его планов, потому что в рассматриваемый момент он или ничем не занят [вышерассмотренные примеры (4) – (9)], или уже исполняет действия, **попутно, заодно** с которыми могут быть совершены «программируемые». Например:

(13) – *Я сейчас поймаю такси и довезу тебя домой, мне все равно на Кутузовский* (Т. Егорова. Андрей Миронов и я);

(14) *Нина (осторожно). А вас... тетя Аня послала белье сторожить? Сергей Ильич. Что ты все послала! В милицию – послала. В булочную – послала, белье стеречь – послала. Меня так больно не пошлешь. Нина (быстро). Тогда я посторожу. Я все равно гуляю* (Л. Петрушевская. Уроки музыки);

(15) – *До Ясенева довезешь? – спросила баба. (...) Там у меня мясник знакомый. Он мне кабачника разрубит. А вам все равно в ту сторону В. Токарева. Лошади с крыльями*);

(16) *Из кабинета начальника доносились веселые голоса, точно там, расстегнув кителя, освежались чем-то прохладительным. Оттуда на общую половину вышел Галиуллин, увидел Живаго и движением всего корпуса, словно собираясь разбежаться, поманил доктора разделить царившее там оживление. Доктору все равно надо было в кабинет за подписью начальника* (Б. Пастернак. Доктор Живаго). В данном случае мотивлируемое сообщение имплицитно, его общий смысл – «доктор пошел за ним».

Примечательно, что дополнительный характер может носить аргумент и в том случае, если частица *все равно* употреблена в сочетании с причинным союзом, что, казалось бы, обеспечивает ему статус основной мотивировки. Например:

(17) [В сюжете, используемом для рекламы стирального порошка, говорится об игрушечном медвежонке, с которым неразлучна маленькая дочь рассказчицы, и поэтому «шубка у него загрязнилась». – Л.Б.] *У нее есть друг – мишка. Танечка попросила сшить мишке на день рождения новую шубку. «Тайд» меня всегда выручал. Я знала, что мне делать, и, так как я все равно собиралась стирать, решила мишку искупать* (Телереклама порошка «Тайд». Записано 27.06.98). Основная причина – необходимость привести игрушку в порядок, дополнительная

– то, что стирка уже и без того запланирована, так что действие будет попутным, необременительным.

«Пессимистический вариант» (Не трать силы зря / не старайся) реализуется в повествовательных высказываниях с отрицанием, с модальными предикатами «бесполезно», «не стоит», «напрасно», «зря», «нельзя», в высказываниях в форме риторического вопроса («а зачем?» и т.п.), а также при мотивации побуждений – при выражении бесперспективности и бесполезности совершаемых действий или намерений. Как уже говорилось, в этом массиве дискурсов может обосновываться целесообразность или вынужденность полного отказа от действий или же их корректировка – в силу заведомо очевидной невозможности осуществления. В аргументирующем компоненте конструкции обычна форма будущего времени и отрицательная модальность:

(18) *Они давно уже обо всем серьезно поговорили, выяснили, что жениться они **не могут, потому что** жить им **все равно** нигде и ничего хорошего их **не ждет**, но, покуда они нужны друг другу, они будут вместе, а как только ему или ей подвернется хорошая партия, расстанутся, но сохраняют друг о друге самые теплые воспоминания* (А. Варламов. Лох);

(19) *Водяной получает таинственную власть над теми людьми, которым судьба определила утонуть, поэтому некоторые **не решаются** оказать помощь тонущему: **все равно**, мол, от судьбы **не уйти*** (Словарь русских суеверий, заклинаний, примет и поверий);

(20) *Предыдущие распоряжения и знаменитое официальное сообщение правительства уже погубили армию. Даже **приказа было отдать нельзя, потому что все равно** его **не доставят*** (Я.А. Слещов-Крымский. Белый Крым. 1920 г. Мемуары и документы);

(21) *Кровью вымокли мы под свинцовым дождем – И **смирились**, решив: **все равно не уйдем!*** (В. Высоцкий. Охота с вертолетов);

(22) *С ним (речь об актере Малого театра Викторе Павлове. – Л.Б.) **соревноваться не стоит, потому что все равно не переиграешь*** (Москва, телеканал «Культура», 17.11.00 г.);

(23) *– Мне один умный человек говорил так: **зря** от частной собственности **отлучают**. Рабочим он **все равно** никогда **не станет**. А от земли отвыкнет, разлюбит ее* (В. Шукшин. Любавины);

(24) *По берегу реки вразвалочку жмут мои друзья, Алик и Юрка. Алик тащит мой ватник. – **Не торопитесь**, мужики, говорю я им. – **Все равно** вас **не пустят**. Там сейчас тихий час* (В. Аксенов. Звездный билет).

Возможны и конструкции с формами настоящего времени и утвердительной модальностью:

(25) *До Хок-ро и Масико сидели возле дома и выбирали мясо из проваренной улитки. (...) Масико работала и пела. «В зеленой куче жизни мы играющие дети, – говори-*

*лось в песне. – Что прекрасна, не гордись ты – жизнь все равно, как поезд, промчит*ся (А. Ким. Собиратели трав).

Ср. также примеры (1) и (2).

Мотивируемое сообщение может иметь форму вопросительного предложения, в косвенных побудительных речевых актах (так называемые вопросительно-побудительные предложения):

(26) *Почему ты упорствуешь? Зачем? Ведь твой король все равно не спасет тебя* (Фильм Г. Панфилова «Начало», авторы сценария Г. Панфилов и Е. Габрилович).

Риторический вопрос может употребляться и при межличностной коммуникации, и во внутренней речи:

(27) *В отделении работали еще два хирурга – Анастасьев и Проценко. Анастасьев был хороший специалист, но плохой человек. (...) Когда родственники больного задавали вопросы, он спрашивал, в свою очередь: «Вы врач?» Тот отвечал: «Нет». – Ну так что я вам буду лекции читать? Вы все равно ничего не поймете* (В. Токарева. Ничего особенного);

(28) *когда Лора вышла, Ксения Федоровна опять зашептала о том же: как устроить так, чтобы старые люди могли спокойно болеть и у детей ничего бы не нарушалось. Как всегда, мать говорила полушутя, полувсерьез. Дмитриев стал потихоньку раздражаться. Зачем говорить об этом так много? Ведь пустые разговоры. Все равно ничего нельзя изменить* (Ю. Трифонов. Обмен).

По нашим наблюдениям, частица и частица-скрепа *все равно* в ситуациях данной разновидности всегда вводит **основной** мотив-аргумент.

Таким образом, конструктивно-образующая функция частицы-скрепы *все равно* в аргументативных дискурсах является уникальной: в зависимости от содержания мотивируемого компонента она может вводить как основную, так и дополнительную причину.

Уникальность этого факта проявляется при сравнении рассмотренных причинных конструкций с теми, которые формируются союзами с градационным значением: причинными подчинительными союзами *тем более что* и *благо*, сочинительными союзами и союзоподобными элементами *да и*, *к тому же*, *притом*, *да еще* и т.п. Минимальный состав этих конструкций всегда включает три компонента: мотивируемое сообщение, основную причину и дополнительную причину¹⁴.

Синонимами сочетания *все равно* в причинных конструкциях рассматриваемого типа могут быть модусные наречия *неизбежно*, *неминуемо*, *рано или поздно*, *обязательно* и т.п.

Что касается организации самой причинной конструкции, то непосредственно мотивируемый компонент может быть в ней имплицитным, ср.:

¹⁴ См. подробно о них: Л.М. Байдуж, *Конструкции с союзом тем более что и их место в системе средств выражения причинно-следственных отношений (на материале современного русского языка)*, Автореферат диссертации на соискание ученой степени канд. филол. наук, Томск 1983.

(29) *Аркадий делал все, чтобы оградить семью от смутного времени, но время все равно заглядывало в их дом и кривило рожу. И никуда не денешься* (В. Токарева. Инфузория-туфелька). Имплицитное мотивируемое звено здесь: «*Но у него ничего не получалось*».

Частица *все равно* употреблена здесь в сочетании с противительным союзом *но*, а отношения между соединяемыми компонентами конструкции противительно-уступительные (= *Хотя Аркадий делал все, чтобы оградить семью от смутного времени, но все равно...*). Полный вариант конструкции, с эксплицитным мотивируемым звеном, выглядел бы так: *Аркадий делал все, чтобы оградить семью от смутного времени, но у него ничего не получалось* ([мотивируемое сообщение], *потому что время все равно заглядывало в их дом и кривило рожу* (причина). *И никуда не денешься*. Построения этого типа объясняют, почему служебное слово *все равно* может, наряду с причинно-следственными, употребляться и в уступительных конструкциях. Детальный ответ на этот вопрос, как и на сопоставление конструктивно-организующих свойств различных «реляционных единиц», способных формировать трехчленные причинно-следственные конструкции, составляет предмет отдельного рассмотрения.

Литература

- Байдуж Л.М., *Конструкции с союзом тем более что и их место в системе средств выражения причинно-следственных отношений (на материале современного русского языка)*, Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук, Томск 1983.
- Байдуж Л.М., *Особенности употребления дискурсивного сочетания все равно в конструкциях мотивации побуждения*, [в:] *Русистика: функциональный и семантический аспекты*, Тюмень 2001, с. 146–153.
- Байдуж Л.М., *Конструкции со скрепой все равно в системе средств выражения причинно-следственных отношений*, [в:] *Проблемы интерпретации в лингвистике и литературоведении*, Новосибирск 2002, с. 19–21.
- Байдуж Л.М., *Семантическая структура конструкций мотивации со скрепой все равно*, [в:] *Русский язык: исторические судьбы и современность. Международный конгресс русистов-исследователей. Труды и материалы*, Москва 2010, с. 386–387.
- Бирюлин Л.А., *Генерализованный императив в акте речи*, [в:] *Модальность в ее связях с другими категориями*, Новосибирск 1992, с. 13–17.
- Дискурсивные слова русского языка: опыт контекстно-семантического описания*, под ред. К. Киселевой и Д. Пайара, Москва 1998.
- Левонтина И.Б., *Об одной загадке частицы ведь*, [в:] *Компьютерная лингвистика и интеллектуальные технологии: Труды международной конференции «Диалог-2005»*, Москва 2005, режим доступа: <http://www.dialog-21.ru/Archive/2005/Levontina%201/Levontinal.htm>.
- Ляпон М.В., *Прагматика каузальности*, [в:] *Русистика сегодня*, Москва 1988.
- Рогожникова Р.П., *Толковый словарь сочетаний эквивалентных слову*, Москва 2003.
- Русская грамматика*, под ред. Н.Ю. Шведовой, т. 2, Москва 1980.

Стародумова Е.А., *Частицы русского языка (разноаспектное описание)*, Владивосток 2002.

Фразеологический словарь русского языка, под ред. А.И. Молоткова, Москва 1978.

Черемисина М.И., *Союз как лексическая единица языка (Лексема или функция?)*, [в:] *Актуальные вопросы лексикологии*, Новосибирск 1972.

Черемисина М.И., *Сложное предложение как знак языка*, [в:] Черемисина М.И., *Теоретические проблемы синтаксиса языков разных систем*, Новосибирск 2004.

Черемисина М.И., Колосова Т.А., *Очерки по теории сложного предложения*, Новосибирск 1987; изд. 2-е, испр. и доп., Москва 2010.

Семантика и прагматика русской частицы *все равно* в аргументативных дискурсах

Резюме

Частица *все равно* употребляется в аргументативных дискурсах, в которых обосновывается выбор оптимальной для исполнителя программы действий, учитывающей сложившееся или однозначно прогнозируемое положение дел. Эта программа может носить конструктивный характер, обусловленный использованием преимуществ ситуации, либо деструктивный, состоящий в отказе от намерений в силу их бесперспективности. Сам аргумент может быть как основным, так и дополнительным.

Ключевые слова: аргументативный дискурс, частица-скрепа, оптимальная программа действий, семантика и прагматика частицы, основная причина, дополнительная причина

Functions of the Russian particle “vsyo ravno” in argumentative discourse as viewed semantically and pragmatically

Abstract

The Russian particle “vsyo ravno” (all the same) is used in argumentative discourses, in which the optimal choice of the programme of action for the actor is substantiated. This programme takes into consideration either the actual or reliably forecasted state of affairs. It can stipulate a constructive course of action taking advantages of the present situation, or a destructive one, which stipulates a refusal to act when there is no hope for the desired outcomes. The argument itself can be primary or secondary.

Key words: argumentative discourse, a particle-connector, optimal programme of action, semantic and pragmatic functions of a particle, principal and secondary reasons

Людмила Байдуж
Тюменский государственный университет
кандидат филологических наук
e-mail: lbayduzh@gmail.com
89123965973

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis

Studia Russologica V (2012)

Halina Chodurska

Z dziejów medycyny naturalnej, czyli o księgach zielarskich

Poniższe rozważania wypadaloby zacząć od zastrzeżenia, że przedmiotem dywagacji nie będzie w nich ani staroegipski papirus Ebersa (około 1555 r. p.n.e.), ani wypełnione pismem klinowym tabliczki z receptami, odnalezione wśród pozostałości po bibliotece króla Assurbanipala w pałacu w Niniwie (VII wiek p.n.e.), ani nawet chińskie traktaty medyczne (*Schenang benhao* i *Benhao gangmu*), w których sporo miejsca poświęcono nie tylko sposobom leczenia, ale też ziołom oraz ich klasyfikacji. Milczeniem pominięte zostaną również indyjskie zbiory Suśruty (800 r. p.n.e. – 400 r. n.e.) i Czaraki (I lub II w. n.e.), a także stosunkowo późno udokumentowane osiągnięcia medycyny naturalnej Indian obu Ameryk. Ograniczymy się bowiem do przedstawienia głównych źródeł europejskiej wiedzy lekarskiej ze szczególnym uwzględnieniem tych pozycji bibliograficznych, które poznali bądź mogli znać Słowianie wschodni. Wędrówka poprzez stulecia rozpocznie się zatem od Hipokratesa, zakończy zaś na wybitnych znawcach przedmiotu żyjących i działających w XVII wieku.

Początków medycyny europejskiej poszukuje się na ogół w starożytnej Grecji. Za pierwszego lekarza, a zarazem i twórcę omawianej dyscypliny naukowej uważa się Hipokratesa (ok. 460–377 r. p.n.e.) z Kos. Ów syn i ojciec lekarzy odrzucał założenie, iż choroba jest wyłącznie karą bogów i opracował podstawy diagnostyki oraz sformułował główne zasady dietetyki. Wiedzę medyczną zdobywaną zrazu w domu, a następnie u medyków z ojczystej wyspy, Hipokrates systematycznie poszerzał w trakcie rozlicznych podróży po antycznym świecie¹. Pierwszemu medykowi przypisuje się autorstwo ponad 70 traktatów, co niechybnie przysporzyło mu sławy nie tylko wśród współczesnych. Po łacińskie tłumaczenia dzieła *De herbis et curis* sięgali w czasach późniejszych Awicenna (980–1057), Haly Abbas (zm. 994 r. n.e.) i Rhazes (zm. ok. 924 r. n.e.)², a do rad w nim zawartych stosowali się w swej praktyce szpitalnej Kasjodor (VI w. n.e.)³ i Izydor z Sewilli (554–636 r. n.e.). Łacińskie streszczenia

¹ *Энциклопедический словарь*, XVI, Санктпетербург 1893, s. 740–741.

² A.C. Crombie, *Nauka średniowieczna i początki nowożytnej*, Warszawa 1960, t. I, s. 68.

³ Tamże, s. 36.

fragmentów zarówno wyżej wspomnianego, jak i szeregu innych opracowań mistrza nieobce były w wiekach średnich ojcom benedyktynom⁴.

Szereg pism o charakterze botaniczno-biologiczno-medycznym wyszedł spod ręki najbardziej chyba znanego ucznia Platona Arystotelesa (IV wiek p.n.e.). Wśród jego dzieł wymienia się m.in. historię naturalną świata zwierzęcego (*Historia animalium*), *Parva naturalia*⁵ oraz wielce dyskusyjny *Liber de plantis* lub *de vegetabilibus*. Tę ostatnią pracę – w istocie już średniowieczną kompilację kilku dzieł Arystotelesa i Teofrasta z Erezos (ok. 372–288 r. p.n.e.) – przypisuje się greckiemu historykowi i filozofowi – perypatetykowi Mikołajowi z Damaszku (I w. p.n.e.)⁶. Dzieła Arystotelesa w łacińskich przekładach zaczęto publikować stosunkowo późno, bo w 1476 roku, pierwsze zaś próby identyfikacji wymienianych i omawianych przezeń roślin leczniczych odnieść można dopiero do wieku XVI (!)⁷.

Próbie stworzenia pierwszej naukowej systematyki roślin, na którą złożyło się 10 ksiąg podjął jeden z uczniów Arystotelesa, działający w kręgu szkoły aleksandryjskiej Teofrast⁸. Bardziej ceniono jednak stricte botaniczne dzieła Teofrasta *De historia plantarum* i *De causis plantarum*, w których autor dokonał podsumowania wiedzy zielarskiej starożytnych Greków. Znaczna część dorobku naukowego tegoż niestety przepadła w mroku dziejów. Pisma jego znane są pośrednio – z prac Pliniusza oraz z zachowanych przekładów arabskich⁹.

Najstarszy zielnik europejski kojarzony jest z imieniem Krateusa (I wiek p.n.e.). Herbarz tego ostatniego zawierał podobno sporą liczbę rysunków roślin, sporządzonych – wedle świadectwa Pliniusza – ręką samego autora¹⁰.

Ukoronowaniem greckich osiągnięć w zakresie botaniki i medycyny naturalnej były niewątpliwie prace Dioskorydesa (I wiek n.e.). I to właśnie tego specjalistę zwykło się uważać za prekursora ziołolecznictwa. Urodzony w Anarbie (Cylicja) Dioskorydes za czasów Nerona pracował jako lekarz wojskowy. Pozostawił po sobie opisy i blisko 600 sporządzonych z natury rysunków roślin leczniczych. Informacje o ich właściwościach i zakresie użytkowania starożytny medyk zamieścił w obszernym (złożonym z czterech ksiąg) dziele *De materia medica*. Pracę tę w wiekach średnich wznawiano co najmniej dwukrotnie¹¹. *Herbarium* Dioskorydesa stanowiło cenne źródło wiedzy medycznej jeszcze przez kilka stuleci. Zawarte w nim wskazówki i zalecenia stosowano bowiem w szeroko pojętej praktyce lekarskiej. Od XV stulecia w Europie wykorzystywano już łacińskie tłumaczenie księgi z 1478 roku¹².

⁴ Tamże, s. 272.

⁵ E. Wierzbicka, *Botanika w Polsce w średniowieczu (do końca XV wieku)*, cz. I, „Wiadomości Botaniczne” 1964 (8), z. 1, s. 80.

⁶ A.C. Crombie, *op. cit.*, t. I, s. 57.

⁷ Tamże, t. II, s. 322.

⁸ L. Rzymowska, *Piersi fiołkami pachnące. Kwiaty w mitach i języku dawnej Grecji*, [w:] *Świat roślin w języku i kulturze*, Wrocław 2001, s. 51–52.

⁹ E. Wierzbicka, *op. cit.*, s. 80; A.C. Crombie, *op. cit.*, t. II, s. 135.

¹⁰ A.C. Crombie, *op. cit.*, t. I, s. 177.

¹¹ Tamże, s. 135; A. Laughin, *Od arcydziegla do żywokostu. Opis, zastosowanie i uprawa ziół*, Wrocław 1996, s. 14.

¹² A.C. Crombie, *op. cit.*, t. II, s. 322.

Rzymskie dociekania natury medycznej nie mają zbyt bogatych tradycji. Szereg znanych z imienia lekarzy, zielarzy i starożytnych botaników z Półwyspu Apenińskiego otwiera bardzo często cytowany w wiekach późniejszych mąż stanu Pliniusz i mniej dziś popularny, ale chętnie przywoływany w średniowieczu, specjalista w zakresie chirurgii plastycznej Aureliusz Celsus¹³. Obaj wymienieni naturaliści rzymscy żyli i działali w I wieku naszej ery.

Pliniusz (a ściślej: Gajusz Pliniusz II Starszy, urodzony w 23 r. n.e., zginął tragicznie w 79 r.) w swej składającej się z 37 ksiąg *Historii naturalnej* opisał ponad 1000 roślin. W znakomitej większości były to zioła istniejące w realnym świecie. Niewdzięczni potomni z czasem określili dzieło Pliniusza jako „olbrzymi rejestr, w którym autor umieścił odkrycia, umiejętności i ... błędy ludzkości”, ale nie przeszkadzało im to bynajmniej odwoływać się do tego rejestru i czerpać zeń praktycznie bez ograniczenia. Znamienne wydaje się, że sam Pliniusz przywołuje tu co najmniej kilkaset autorytetów (fachowcy naliczyli ich ponad 500!)¹⁴. Ogromna ciekawość i niepokromiona pasja badawcza tego powszechnie znanego żołnierza rzymskiego stała się zresztą przyczyną jego śmierci. Współcześni zaś rzadko uświadamiają sobie, że to on upowszechnił podstawową zasadę homeopatii *similia similibus curantur...* *Historia naturalis* do końca XVII wieku stanowiła najobszerniejsze i niemal powszechnie dostępne źródło wiedzy przyrodniczej. Podobno wykorzystywano ją jako podręcznik w szkołach katedralnych za panowania Karola Wielkiego¹⁵. Jeszcze w epoce odrodzenia Pliniusz był niekwestionowanym autorytetem wiedzy przyrodniczej. Wystarczy przypomnieć, że jego ogłoszone po raz pierwszy drukiem w 1469 roku dzieła doczekały się licznych wydań i przeróbek, a w samym tylko XV wieku wznawiano je podobno aż 15-krotnie w blisko trzytysięcznym nakładzie(!)¹⁶. Już w połowie XII wieku Robert Cricklade (ok. 1141–1171) opracował „autorską” wersję *Historii naturalnej*, czyli rodzaj antologii wybranych fragmentów dzieła Pliniusza¹⁷.

Celsus (Aureliusz Celsus) w przeciwieństwie do Pliniusza był profesjonalistą, wykonywał bowiem zawód lekarza. Zastąpił głównie jako autor wielotomowej historii medycyny (*De medicina*), również wykorzystywanej w charakterze pomocy naukowej i przy leczeniu różnorodnych schorzeń jeszcze wiele stuleci później¹⁸.

Najwybitniejszym lekarzem Starożytności był ponad wszelką wątpliwość Claudius Galenus, znany szerzej jako Galen (130–210 r. n.e.), autor 13 ksiąg o sile oddziaływania preparatów leczniczych, filozof i podróżnik. Galena, Greka z urodzenia, a Rzymianina z wyboru¹⁹ fascynowały szczególnie kompilacje leków prostych (*simpliciów*). Zgromadzone i sporządzone osobiście specyfikiki (także te roślinne)

¹³ Tamże, t. I, s. 285.

¹⁴ Tamże, s. 26–27.

¹⁵ Tamże, s. 29–30.

¹⁶ A. Kawecka-Gryczowa, *Rola drukarstwa polskiego w dobie Odrodzenia*, Warszawa 1954, s. 7.

¹⁷ A.C. Crombie, *op. cit.*, t. I, s. 173.

¹⁸ Tamże, t. II, s. 332.

¹⁹ W 164 roku Galen przeniósł się z rodzinnego Pergamonu do Rzymu, gdzie był lekarzem co najmniej dwu cesarzy (Marka Aureliusza i Kommodusa), *Энциклопедический словарь*, XIV, Санктпетербург 1892, s. 893–894.

przedstawił w kilku opracowaniach i traktatach (m.in. *Ars medica, De simplicium medicamentorum temperamentis et facultatibus, De antidotis*)²⁰. Prace owe wykorzystywano (i to podobno z dużym powodzeniem) jeszcze w czasach nowożytnych. Posiłkowano się przy tym z reguły ich łacińskimi streszczeniami²¹. Leki rekomendowane przez Galena stosował w założonym przez siebie szpitalu Kasjodor (VI w. n.e.)²², zaś w wieku XI sięgał po nie benedyktyńscy Konstanty Afrykanin²³. Na pismach Galena opierali się w znacznej mierze także lekarze arabscy – Haly Abbas (zm. w 994 r. n.e.), Awicenna i Rhazes²⁴. Echa dzieł i myśli starożytnego specjalisty odnajdywano również w pracach Alberta Wielkiego²⁵.

Prawdopodobnie w V wieku powstało nie zachowane w oryginale, a znane z XI-wiecznego tłumaczenia na staro angielski *Herbarium*. Autorstwo oryginału przypisuje się Apulejuszowi o przydomku *barbarus*, znanemu też jako Platonius. Wspomniany przekład daje pewne (trudno orzec na ile wiarygodne) wyobrażenie o tekście wyjściowym. Ogranicza się on bowiem do przytoczenia nazwy, informacji o miejscu występowania i rośliny i zakresie jej użytkowania, nie ma tu natomiast opisów, które ułatwiłyby ewentualną identyfikację przedmiotu rozważań. Zielnik wzbogacono wprawdzie ilustracjami, ale źródła tych ostatnich nie uda się zapewne ustalić. *Herbarium* przytacza około 500 fitonimów, a, jak mniemają badacze, wśród ich desygnatów mogą znajdować się również zioła miejscowe, stosowane przez Brytów²⁶.

Godnymi kontynuatorami osiągnięć starożytnych mędrców z Grecji i Imperium Romanum byli niewątpliwie uczeni z Bliskiego Wschodu i innych obszarów kultury arabskiej. W średniowieczu miał bowiem miejsce znaczny rozwój zarówno ziołolecznictwa, jak i homeopatii. Wykorzystywano przy tym – za pośrednictwem tłumaczeń na język arabski, a następnie łacinę – osiągnięcia medycyny greckiej oraz obserwacje ówczesnych lekarzy arabskich i zachodnioeuropejskich. Notabene Arabowie przechowali i przekazali Europie lwią część zdobyczy nauki greckiej. Wiedzę Greków poznawali zapewne z dwu źródeł – bezpośrednio od ich potomków, żyjących w granicach Cesarstwa Bizantyńskiego oraz – z drugiej ręki – za pośrednictwem chrześcijan – nestorianów z Persji Wschodniej, posługujących się językiem syryjskim. Nestorianie z Jundishapur przełożyli bowiem sporą ilość greckich dzieł z zakresu medycyny. Jundishapur przez czas pewien było medycznym ośrodkiem islamu. Poddani kalifów trudnili się tam między innymi przekładami syryjskich tekstów na język arabski²⁷. Począwszy od IX wieku przekładów, z tym, że już bezpośrednio z greki, dokonywano również w Bagdadzie. Około X wieku niemal wszystkie teksty naukowe, które z czasem poznać miał świat zachodni, dostępne były Arabom w ich własnym języku. Nie ulega wątpliwości, że wiedza owa w miarę ożywiania

²⁰ E. Wierzbicka, *op. cit.*, s. 81.

²¹ A.C. Crombie, *op. cit.*, t. I, s. 272.

²² Tamże, s. 36.

²³ Tamże, s. 54.

²⁴ Tamże, s. 68.

²⁵ Tamże, s. 185.

²⁶ Tamże, s. 42–43.

²⁷ Tamże, s. 53–54.

się stosunków handlowych przenikała również i do zachodniego chrześcijaństwa (dzięki temu w XI wieku mnich z Monte Cassino Konstanty Afrykanin mógł stworzyć parafrazę dzieł Hipokratesa i Galena opierając się li tylko na encyklopedii medycznej perskiego lekarza Haly Abbasa)²⁸. Głównymi ośrodkami upowszechniania nauki arabskiej (a za jej pośrednictwem i greckiej) były włoska Sycylia i hiszpańskie Toledo. W Toledo istniała najwyraźniej szkoła tłumaczy, wyspecjalizowana w przekładach dzieł arabskich na łacinę. Teksty tłumaczono tu niemal dosłownie, zaś wyrazy, których nie pojmowano, beztrąsko transliterowano wg zapisu oryginalnego²⁹. Efekty pracy budziły więc wiele kontrowersji i uzasadnionych zarzutów. W związku z powyższym część ówczesnych przekładów poddano stosownej korekcie w wieku XIII, gdy znajomość arabskiego stała już się nieporównanie lepsza, a nadto pojawiła się możliwość skonfrontowania tłumaczeń z greckimi oryginałami.

We wczesnym Średniowieczu medycy nie dysponowali zbyt wielu nowościami. Korzystali zatem głównie z odpisów, wyciągów i kompilacji z klasycznych opracowań greckich i rzymskich w oryginałach lub w tłumaczeniach na język syryjski. Niestety, informacje o pracach ziołolecznicych z okresu poprzedzającego X wiek są nader skąpe.

Naukę grecką na łacińskim Zachodzie propagował między innymi biskup wizygocki Izydor z Sewilli (554–636), w zasadzie matematyk, choć również nietuzinkowy kompilator. W swoich słynnych *Etymologiach* Izydor próbował objaśniać genezę wybranych terminów technicznych i medycznych. Deklarował się przy tym jako zwolennik wpływu księżycy na życie roślin i zwierząt i zachęcał innych uczonych mężów do podejmowania podobnej problematyki³⁰.

Zapewne już z początkiem IX wieku informacje o właściwościach leczniczych dostępnych ziół zbierać zaczął Wilibald Straubus, późniejszy opat klasztoru w Sankt-Gallen (zm. w 849 r.). Wiadomości te (a najprawdopodobniej zaledwie ich część) Wilibald wykorzystał we wstępie do poematu *Hortulus*, który zwykle się określać mianem *herbolarium klasztornego*³¹.

W pierwszej połowie X wieku w Anglii leczył ludzi niejaki Bald, autor dwutomowej *Księgi lekarza*. W dziele swym zawarł Bald sporo uwag o sposobach leczenia i znaczną liczbę przepisów sporządzania specyfików ziołowych, opartych na składnikach dostępnych na Wyspach Brytyjskich. Historycy specjalizujący się w rozwoju nauk przyrodniczych uważają dziełko Balda za zręczną kompilację źródeł greckich³².

Od końca XII aż do schyłku XIII wieku stopniowo wzrastała liczba przekładów dokonywanych bezpośrednio z języka greckiego, zaś w wieku XIV, gdy Mezopotamię i Persję opanowali Mongołowie, tłumaczeń z języków arabskich praktycznie zaniechano³³. Wśród badaczy panuje przekonanie, iż od końca XII wieku do Italii

²⁸ Tamże, s. 54.

²⁹ Tamże, s. 55.

³⁰ Tamże, t. I, s. 28.

³¹ J. Rostafiński; *De plantis, quae in „Capitulari de villis et curtis imperialibus” Caroli Magni commemorantur jako materiał do historii hodowli roślin w Polsce*, [w:] *Pamiętniki Akademii Umiejętności. Wydział Matematyczno-Przyrodniczy*, t. XI, Kraków 1885, s. 56–57.

³² A.C. Crombie, *op. cit.*, t. I, s. 41.

³³ Tamże, t. I, s. 56.

zaczęto masowo zwozić rękopisy greckie z Bizancjum. Już w końcu tegoż stulecia przetłumaczono z greki na łacinę szereg traktatów Hipokratesa i Galena, a z początkiem XIII stulecia powstał łaciński przekład przypisywanej Arystotelesowi *Księgi ziół* (*Liber de plantis/de vegetabilibus*)³⁴. W średniowieczu dzieło to cieszyło się co najmniej taką samą popularnością, jak zielnik Dioskorydesa. Dziś łączy się je zwyczaj z imieniem Mikołaja z Damaszku, historyka i filozofa, wychowawcy dzieci Antoniusza i Kleopatry oraz osobistego przyjaciela Heroda³⁵.

We wczesnym średniowieczu prym w wielu dziedzinach nauki wiedli Arabowie. W historii medycyny zapisali się szczególnie Rhazes (865–925 r. n.e.), Haly Abbas (zm. w 994 r. n.e.), Serapion (X wiek n.e.), Awicenna (978/80–1036 r. n.e.) oraz Ibn Masawaih (?).

Rhazes zasłynął głównie jako alchemik-eksperymentator oraz autor encyklopedii medycznej, w której zaprezentował cały szereg spostrzeżeń i obserwacji własnych (choćby – jak rozpoznać przypadki ospy i odry)³⁶. Prace Rhazesa z dziedziny chemii (a ściślej alchemii) poświęcone klasyfikacji substancji chemicznych i ich reakcjom, jego rozprawy o ałunach i solach oraz traktaty medyczne (szczególnie rozważania o anatomii oka) zostały stosunkowo wcześnie przełożone na łacinę³⁷ i wykorzystywano je w nauczaniu trudnej sztuki leczenia ludzi na wszystkich niemal uniwersytetach średniowiecznej Europy³⁸.

Perski lekarz Haly Abbas kojarzy się obecnie tylko z nader w swoim czasie popularną encyklopedią medyczną³⁹.

Ibn Seraphion (Serapion) opracował między innymi dzieło, którego przekład łaciński zatytułowany został *Liber de medicamentis simplicibus*. Zredagowano je w dużej mierze w oparciu o pisma greckich znawców leków prostych⁴⁰.

Jednakże w średniowiecznej Europie największą popularnością cieszyły się niewątpliwie traktaty innego perskiego lekarza Abu Alego Ibn Sinny, znanego powszechnie pod zlatynizowanym imieniem Awicenny (978/80–1036). Najwyżej ceniono przy tym arabsko-perski *Canon medicinae* (*Kanon medycyny*), a szczególnie drugą księgę dzieła, w której przedstawione i omówione zostały korzyści płynące z zastosowania roślin leczniczych (zioł). W oparciu o *Kanon* wykładano medycynę na wielu uczelniach europejskich, począwszy od XII wieku. Korzystano z nich chociażby w kręgu szkoły medycznej w Montpellier. Awicenna w znacznym stopniu rozwinął idee Galena, a z kolei jego traktat dokładnie przestudiował i następnie umiejętnie wykorzystał Albert Wielki (1193/1206–1280). Dzięki informacjom zawartym w II księdze *Kanonów* Europa poznała bliżej lecznicze rośliny arabskie⁴¹.

³⁴ Tamże, s. 57.

³⁵ Tamże.

³⁶ Tamże, s. 273.

³⁷ Tamże, s. 165.

³⁸ Tamże, s. 273.

³⁹ Tamże, s. 54.

⁴⁰ E. Wierzbicka, *op. cit.*, s. 81.

⁴¹ A.C. Crombie, *op. cit.*, t. I, s. 271–273.

Imię ostatniego z wymienionych wyżej lekarzy arabskich Ibn Masawaiha z reguły bywa łączone z oryginalną wersją średniowiecznego kanonu sztuki aptekarskiej *Antidotarium*⁴².

Wśród niewątpliwych osiągnięć ziołolecznictwa europejskiego XII wieku znalazł się bardzo popularny w swoim czasie traktat o roślinach autorstwa Odon z Meung, określanej później jako *Macer floridus*⁴³.

W XII wieku rozwój nauk przyrodniczych w Europie zdecydowanie nabiera tempa. Nie miały wpływu na zainteresowanie tymi właśnie dziedzinami wiedzy miały łacińskie przekłady dotychczasowego dorobku w zakresie ziołolecznictwa i homeopatii, a konkretnie omówionych wyżej dzieł starożytnych Greków i średniowiecznych uczonych arabskich. Na to stulecie przypada działalność powszechnie znanej Hildegardy von Bingen (1098–1179) oraz mniej znanego Mateusza Plateariusza.

Platearius (Platanus) wywodził się z kręgu szkoły medycznej w Salerno, a zasłynął jako autor najpopularniejszego dzieła botanicznego swoich czasów *Circa instans*⁴⁴.

Św. Hildegarda, ksieni zakonu sióstr benedyktynek, uchodząca za pierwszą lelkarkę niemiecką, w swoim najbardziej znanym dziele *Physica* (1150) (*Subtilitatum diversarum natura rerum creaturarum libri novem*) omówiła ponad 1000 specyfików roślinnych i zwierzęcych. Ziołom poświęcone zostały księgi I i III⁴⁵.

W wieku XIII do grona europejskich znakomitości medycznych i botanicznych dołączyli Albertus Magnus, Rufin, Wincenty z Beauvais i Arnald de Villanova.

Albert Wielki (1193/1206–1280) w pełni zasłużył na opinię czołowego botanika średniowiecza, bowiem jako jedyny ówczesny naturalista zdawał sobie sprawę z faktu, iż starożytni mędrcy nie zdołali opisać wszystkich istniejących gatunków roślin i zwierząt. Z drugiej strony w kwestiach medycznych Albertus polegał całkowicie na osiągnięciach Hipokratesa i Galena. Wśród zielarskich dzieł mistrza na uwagę zasługiwałby w pierwszym rzędzie rękopiśmienny herbarz *De vegetabilibus et plantis* (1250), w istocie stanowiący komentarz do pseudo-Arystotelesowego *De plantis*. W zielniku tym były hrabia von Bollstadt, a przyszły biskup Regensburga przedstawił także znane sobie z autopsji rośliny środkowoeuropejskie (ks. VI)⁴⁶.

Rufin, podobnie jak Albert Wielki, był przede wszystkim eksperymentatorem. Głosił tezy w pewnym stopniu zbieżne z poglądami poprzednika, mimo iż najprawdopodobniej nie czytał jego dzieł. Niestety zielnik Rufina nie doczekał się upowszechnienia. Dzieło to łączyło cechy traktatu medycznego i księgi botanicznej. Przy jego opracowywaniu autor korzystał zarówno z klasycznych pism Dioskorydesa, jak i ze średniowiecznych *Circa instans* i *Macer floridus*. Informacje zaczerpnięte z powyższych źródeł Rufin uzupełnił starannymi opisami roślin, podejmując równocześnie próbę wyodrębnienia pewnych ich odmian, przytaczał synonimiczne nazwy ziół i podawał również przykłady homonimów botanicznych (!). Wszystkie fitonimy uszeregowane i przedstawione zostały w układzie alfabetycznym⁴⁷.

⁴² Tamże, t. II, s. 156.

⁴³ Tamże, t. I, 179.

⁴⁴ Tamże.

⁴⁵ J. Rostański, *op. cit.*, s. 57; A.C. Crombie, *op. cit.*, s. 173.

⁴⁶ A. C. Crombie, *op. cit.*, t. I, s. 83–85, 180, 182.

⁴⁷ Tamże, t. I, s. 179; t. II, s. 143.

Swoiste całościowe podsumowanie wiedzy lekarskiej do połowy XIII stulecia zawiera *Speculum naturale*. Jest to czołowe dzieło zmarłego w 1264 roku francuskiego encyklopedysty Wincentego z Beauvais (Vincentius Bellovacensis).

Cytowanym częstokroć przez potomnych autorytetem medycznym XIII wieku był profesor uniwersytetu w Barcelonie, nadworny medyk kilku królów Hiszpanii i znany alchemik Arnald de Villanova. Zastąpił on m.in. jako kompilator i komentator materiałów do *Regimen sanitatis salernitanum*. To klasyczne podsumowanie wiedzy medycznej powstało przypuszczalnie z początkiem XIII wieku, a wykorzystywane było na naszym kontynencie co najmniej przez trzy kolejne stulecia⁴⁸.

Wśród europejskich lekarzy XIV wieku wymienia się zazwyczaj Mateusza Sylvaticusa i Konrada z Megenburga. Mniej więcej w tym samym czasie działali jednak także Jan z Mediolanu, Tomasz z Sarepty i znany chirurg Guy de Chauliac.

Mateusz Sylvaticus kontynuował tradycje włoskiej szkoły salernitańskiej. Dzieło jego życia – być może najstarszy ogłoszony drukiem zielnik europejski (1317) – *Pandectae*, choć nie pozbawione pewnych mankamentów, bywa nader często cytowane w opracowaniach późniejszych. Mianowicie zawarte w nim opisy roślin trudno byłoby uznać za dokładne, zaś dobrane przez autora synonimy nie zawsze odnosiły się do tego samego desygnatu. Sylvaticus przytoczył jednak sporo obserwacji własnych oraz przedstawił cały szereg ziół rosnących w przyklasztornym ogrodzie w Salerno. Notabene, miejsce to uchodzi za najstarszy europejski ogród botaniczny⁴⁹.

Konrad z Megenburga znany jest przede wszystkim jako autor *Księgi przyrody* (*Das Buch der Natur*) (z ok. 1350 roku), napisanej w całości po niemiecku. Dwa rozdziały poświęcono w niej drzewom i ziołom. Całość stanowi w zasadzie tłumaczenie *De rerum natura* Tomasza z Cantimpré (1228–1244). Sto kilkadziesiąt lat później księgę ogłoszono drukiem (1475). Wydanie owo wzbogacono drzeworytami ilustrującymi tekst, co stanowiło niewątpliwie ewenement w czasach, gdy rysunki pełniły na ogół li tylko funkcję dekoracyjną⁵⁰.

Na wiek XIV przypadła także działalność pierwszego znanego z imienia botanika rodem z Europy Środkowej. Był nim śląski lekarz, absolwent akademii w Montpelliére, Tomasz (1297–1378). Przeszedł on do historii jako autor encyklopedii lekarskiej *Mihi competit* redagowanej w latach 1360–1363. Przyszły tytularny biskup Sarepty już od wczesnej młodości zbierał i suszył co ciekawsze rośliny z różnych odwiedzanych przez siebie rejonów Europy, by następnie ułożyć z nich zielnik⁵¹. Trudno byłoby w tej sytuacji zgodzić się z tezą, że pierwsze europejskie zielniki pojawiły się dopiero w XV wieku. Próby zrealizowania tego typu prac odnieść można bowiem do okresu co najmniej o sto lat wcześniejszego. Z końca XIV

⁴⁸ E. Wierzbicka, *op. cit.*, s. 82.

⁴⁹ A.C. Crombie, *op. cit.*, t. I, s. 192.

⁵⁰ Tamże, s. 196; E. Janota, *Historia naturalna w piśmiennictwie niemieckim w wiekach późniejszych*, Lwów 1878, s. 9–10.

⁵¹ E. Wierzbicka, *Botanika w Polsce w średniowieczu (do końca XV wieku)*, cz. II, „Wiadomości Botaniczne” 1965 (9), z. 2, s. 135–136; A. Zemanek, *Średniowieczne źródła do dziejów botaniki i ziołoznawstwa w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej oraz Biblioteki Kapituły Krakowskiej na Wawelu*, [w:] *Historia leków naturalnych*, t. IV: *Z historii i etymologii polskich nazw roślin leczniczych*, Warszawa 1993, s. 26; A.C. Crombie, *op. cit.*, t. I, s. 193.

wieku (a ściślej z około 1380 roku) pochodzi anonimowy zielnik francuski, szerzej znany jako *zielnik z Vaud*. Dziełko to zawiera także informacje o roślinach z terenów dzisiejszej Szwajcarii⁵².

Za najznakomitszy herbarz europejskiego średniowiecza uważa się wenecki zielnik Benedykta Rinio. *Liber de simplicibus* (1410) zawierał 440 (a według innych obliczeń – 450) rycin z wyobrażeniami roślin autorstwa weneckiego artysty Andrea Amodio⁵³. Rinio, powołując się na szereg znakomitości, uwzględniał w swoim opracowaniu pory zbierania ziół, lecznicze walory ich poszczególnych elementów (w tym liści, korzeni, łodyg...), a nadto przytaczał nazwy roślin w kilku językach (greckim, łacińskim, arabskim, niemieckim, w paru dialektach włoskich i w jednym z języków słowiańskich (?))⁵⁴.

W drugiej połowie XV wieku (1477) w Neapolu wydano księgę zatytułowaną *De virtutibus herbarum*, której autorstwo tradycja przypisuje Aemiliusowi Macerowi oraz rzymskie *Herbarium* pseudo-Apulejusza (1480). Nadal sięgano więc chętnie po traktaty starożytne i średniowieczne (oryginał pseudo-Apulejusza pochodził prawdopodobnie z V wieku n.e.). Ogłaszano drukiem opracowania zielarskie pod sygnaturą Pliniusza (1469), Arystotelesa (1476), Dioskorydesa (1478) i Teofrasta (1483)⁵⁵. W tym samym czasie w Moguncji ukazał się najstarszy spośród zachowanych „ogrodów zdrowia”, bogato ilustrowany *Hortus sanitatis* (1491)⁵⁶. W dziele tym, wcześniej popularyzowanym w wersjach rękopiśmiennych również przywoływano tezy naturalistów starożytnych: Dioskorydesa, Teofrasta, Pliniusza Starszego i Galena...⁵⁷

Przypominanie i przywoływanie artystycznych i naukowych osiągnięć kultury klasycznej było jednym z programowych założeń humanizmu. W naukach przyrodniczych ów zwrot miał charakter w miarę konsekwentnej kontynuacji. Równocześnie ziołolecznictwo (znajomość medycyny naturalnej i medykamentów ziołowych) zataczało w Europie coraz to szersze kręgi. Wśród znanych i cenionych autorów popularnych szesnastowiecznych zielników oraz innych opracowań z zakresu medycyny znalazło się bowiem co najmniej sześciu Niemców (Bock, Fuchsius, Brunfels, Cordus, Tabernemontanus), trzech Włochów (Aldrovandi, Caesalpino i Matthioli), dwu Holendrów (de Lobel, Dodoens), tyluż Anglików (Ray, Gerard), jeden Francuz (Clusius) i jeden Szwajcar (Gesner). Przywożone z Niemiec i Italii księgi zielarskie tłumaczono już i kompilowano w Czechach, w Polsce i na Rusi.

Za najstarszego z „ojców botaniki niemieckiej” uchodzi Otto Brunfels (1488–1554), teolog luterański, autor księgi *Herbarium vivae icones*, wydawanej w latach

⁵² A.C. Crombie, *op. cit.*, t. I, s. 193.

⁵³ Tamże, s. 178.

⁵⁴ Tamże, s. 193.

⁵⁵ Tamże, t. II, s. 322.

⁵⁶ H. Szwejkowska, *Książka drukowana XV–XVIII wieku. Zarys historyczny*, Wrocław–Warszawa 1983, s. 33.

⁵⁷ J. Arabas, *Wybrane rośliny o działaniu uzależniającym w renesansowych herbarzach polskich*, [w:] *Historia leków naturalnych*, t. II: *Nauka i kultura*, Warszawa 1989, s. 131, 135.

1530–1536. Dwutomowe tłumaczenie niemieckie swego dzieła Brunfels publikował w latach 1532–1537. W 1546 roku wznowiono je we Frankfurcie nad Menem⁵⁸.

Mniej więcej w tym samym czasie zielnik opublikował kolejny z „ojców” Hieronim Bock (Tragus) (1498–1554). Pierwsze wydanie *New Kreutterbuch* ukazało się bowiem w Strassburgu w roku 1539. Dzieło Bocka do roku 1630 doczekało się co najmniej ośmiu wznowień⁵⁹.

W roku 1540 we Frankfurcie nad Menem ujrzało światło dzienne *Botanicon continens herbarium aliorumque simplicium, quorum usus in medicinae est (...)* Teodora Dorstena⁶⁰. Już trzy lata później (1543) ukazał się kolejny ze znanych w całej niemal Europie zielników niemieckich. Była to niemiecka wersja językowa wydanego rok wcześniej (1542) łacińskiego tomu zatytułowanego *De historia stirpium*, opracowanego przez Leonarda Fuchsiusa (1501–1566). Zdaniem znawców zagadnienia treść tego zielnika (informacje o leczniczym zastosowaniu około 500 roślin) w dużym stopniu opiera się na pracach Dioskorydesa⁶¹.

Publikacja pracy Walerego Cordusa (1515–1544) *Historiae stirpium libri IV (...)* (Strassburg 1561) odnosi się już do drugiej połowy XVI wieku, choć autor tego dzieła żył nieco wcześniej. Spuściznę po autorze najstarszej europejskiej farmakopei przejął bowiem Konrad Gesner i jemu to zawdzięczamy upowszechnienie dorobku zielarza – naturalisty, który przemierzył pieszo całe Niemcy i duży obszar Półwyspu Apenińskiego w poszukiwaniu ciekawych i zarazem użytecznych okazów tamtejszej flory⁶².

Listę botaników niemieckich XVI stulecia zamyka Teodor Jacob von Bergzabern, powszechnie znany jako Tabernemontanus, zmarły w 1590 roku. Ów ceniony lekarz był autorem obszernego dzieła, zawierającego opisy ponad 5800 gatunków roślin (!)⁶³.

Zmarły na początku XVII wieku (1605) włoski przyrodnik Ulisses Aldrovandi pasjonował się głównie badaniami natury. Współcześni znali go jako autora licznych prac traktujących nie tylko o świecie roślin oraz encyklopedii stanowiącej podsumowanie ówczesnej wiedzy o florze i faunie całego świata. Aldrovandi zgromadził podobno nadzwyczaj obszerny materiał (co najmniej 30 tomów), ale zdążył opublikować zaledwie cztery części *Historii naturalnej*⁶⁴. Przyrodnik utrzymywał stałe kontakty z ludźmi o zbliżonych zainteresowaniach, korespondował między innymi z dwoma specjalistami z Polski – Mikołajem Firlejem (zm. w 1601 roku) i krakowskim lekarzem Marcinem Foxem (zm. w 1588 roku)⁶⁵.

⁵⁸ A.C. Crombie, *op. cit.*, t. II, s. 323.

⁵⁹ Tamże, s. 324.

⁶⁰ O. Horbatsch, *Polskie i czeskie nazwy roślin w rękopiśmiennym zielniku z XVI/XVII wieku Biblioteki Uniwersyteckiej w Erlangen*, „Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej” 1969, t. VIII, s. 168–169.

⁶¹ A.C. Crombie, *op. cit.*, t. II, s. 325; L. Bremness, *Wielka księga ziół*, Warszawa 1991, s. 11.

⁶² *Wielka Encyklopedia powszechna ilustrowana*, t. XIII–XIV, Warszawa 1894, s. 273.

⁶³ *Encyklopedia powszechna*, t. XXIV, Warszawa 1867, s. 886; A. Skarżyński, *Magia ziół*, Warszawa 1991, s. 192.

⁶⁴ *Encyklopedia powszechna*, t. I, Warszawa 1959, s. 367.

⁶⁵ T. Bieńkowski, *Wiedza przyrodnicza w Polsce w wieku XVI*, Wrocław 1985, s. 40.

Rodak Aldrovandiego, Andreas Caesalpino (1519–1603) podjął niełatwe zadanie usystematyzowania obszernej wiedzy o florze Europy. Wyniki pracy przedstawił w księdze *De plantis*, wydanej w 1583 roku⁶⁶. Z publikacji owej ponad półtora wieku później korzystał Karol Linneusz⁶⁷.

Szwajcar Konrad Gesner nie bez powodu zasłużył na opinię wybitnego organizatora badań botanicznych (lub ogólniej – przyrodniczych) i to na skalę europejską⁶⁸. Autor *Opera botanica* usiłował bowiem odnaleźć w swojej ojczyźnie rośliny przedstawiane przez autorów klasycznych⁶⁹ i zestawić (wzorem Alberta Wielkiego lub Wincentego z Beauvais) encyklopedię, gromadzącą obserwacje poprzedników poczynając od Arystotelesa⁷⁰.

Dość istotny wkład w omawianą tu dyscyplinę naukową wniósł wybitny przyrodnik francuski doby Odrodzenia Karol de L'Ecluse (1526–1609). Clusius w Montpellier studiował wprawdzie medycynę, ale jego pasją życiową okazała się botanika. Wypada przy tym nadmienić, że uczony przez wiele lat pełnił funkcję dyrektora ogrodu botanicznego w Lejdzie. Opublikował sporą liczbę prac naukowych (m.in. *Rariorum stirpium historia* – 1601), z których najczęściej wznawiano jednak rozszerzony przekład dzieła Portugalczyka Garcii ab Horto *Aromatum et simplicium aliquot medicamentorum apud Indos nascentium historia* (Antwerpia 1567, 1574, 1579). Ten ostatni autor przedstawiał w swej księdze nieznanne dotąd Europejczykom rośliny Nowego Świata⁷¹.

W XVI wieku księgi medyczne docierają najwyraźniej do Europy Środkowej i Wschodniej. W Czechach zielniki opracowują (tłumaczą i kompilują) mistrz Jan Černý i Tomasz Hajek z Hajku. Opatrzony drzeworytami herbarz pierwszego z wymienionych autorów (*Kniha lékařska...*) wydrukowano w Norymberdze w 1517 roku. W księdze zamieszczony został m.in. alfabetyczny wykaz czeskich nazw roślin⁷². Z kolei T. Hajek przełożył ogromnie w XVI wieku popularny herbarz włoskiego botanika doby Odrodzenia Pierandrei Matthiolego (1501–1577). Oryginał, zawierający łacińskie tłumaczenie fragmentów dzieł Dioskorydesa i autorski komentarz tłumacza, zatytułowany *Commentarii in Dioscoriden* ukazał się w Wenecji w 1550 roku⁷³. Przekład Hajka opatrzony tytułem *Herbař jinak bylinar velmi užitečný* ogłoszono dwanaście lat później...⁷⁴

W Polsce na przełomie XV–XVI wieku nauki medyczne w krakowskiej Akademii wykładał Maciej z Miechowa, zwany Miechowitą (1457–1523), autor traktatu

⁶⁶ O. Horbatsch, *op. cit.*, s. 165.

⁶⁷ A.C. Crombie, *op. cit.*, t. II, s. 328.

⁶⁸ T. Bieńkowski, *op. cit.*, s. 39–40.

⁶⁹ A.C. Crombie, *op. cit.*, t. II, s. 322.

⁷⁰ Tamże, s. 339.

⁷¹ *Wielka encyklopedia powszechna ilustrowana*, t. XIII–XIV, Warszawa 1894, s. 79.

⁷² T.Z. Orłoś, *Zapóżyczenia słowiańskie w czeskiej terminologii botanicznej i zoologicznej*, Kraków 1972, s. 9.

⁷³ M. Kluk, *Symbolika roślin leczniczych w malarstwie europejskim czasów nowożytnych na przykładzie „Madonny Medici” Luca Signorellego*, [w:] *Historia roślin leczniczych*, t. II: *Nauka i kultura*, Warszawa 1989, s. 85.

⁷⁴ O. Horbatsch, *op. cit.*, s. 169; T.Z. Orłoś, *op. cit.*, s. 9.

Conservatio sanitatis (1522)⁷⁵. Początki polskiego zielarstwa i ziołolecznictwa zwykło się jednak wiązać z działalnością Szymona z Łowicza, bo to właśnie ów uniwersytecki wykładowca filozofii ogłosił (w 1532 roku) dzieło Aemiliusa Macera *O zaletach ziół* (oryginał *De virtutibus herbarum* wydano w Neapolu w 1477 roku). Indywidualny wkład Szymona ograniczył się do opatrzenia fitonimów łacińskich ich polskimi odpowiednikami⁷⁶.

W XVI wieku wytłoczono nadto w różnych krakowskich oficynach aż cztery pokaźnych rozmiarów zielniki. Najwcześniej, bo w 1534 roku u Floriana Unglera wydane zostało mocno przez ówczesnych znawców przedmiotu krytykowane dzieło Stefana Falimirza *O ziołach i o mocy ich...* Dworzanin Jana Tenczyńskiego zgromadził w nim informacje zaczerpnięte z dużej liczby obcojęzycznych artykułów i wydawnictw⁷⁷.

Udało mu się dzięki temu przedstawić ponad 300 ziół i 26 preparatów pochodzenia roślinnego oraz podać możliwości ich zastosowania w konkretnych przypadkach chorobowych.

Dwadzieścia dwa lata później (1556) ukazał się kolejny herbarz. Stanowił on w znacznej mierze przedruk dzieła Falimirza, choć tekst pierwotny poszerzono o zalecenia dietetyczne i kulinarne, a materiał uporządkowano alfabetycznie, przyjmując za punkt wyjścia hasła w języku polskim. Autorem przeróbki, zatytułowanej *O ziołach tutecznych i zamorskich i o mocy ich*, w której wykorzystane zostały również zamówione do zielnika Falimirza ryciny, był patrycjusz i rajca krakowski, nadworny lekarz Zygmunta Augusta Hieronim Spiczyński (ok. 1500–1550)⁷⁸.

Trudno byłoby dziś wyrokować, jak dokładną znajomością ziół mógł się pochwycić kolejny „specjalista od leków wszelakich”, krakowski mieszczanin, sprzedawca papieru, a nadto „człek niespokojnego burzliwego charakteru” Marcin Siennik. Nie posiadał on zapewne wyższego wykształcenia, znał za to (podobnie jak Falimirz) kilka języków obcych. Trudnił się zatem tłumaczeniem i kompilowaniem dzieł najrozmaitszej treści. Jednym z rezultatów takiej działalności jest Siennikowy *Herbarz, to jest ziół tutecznych postronnych i zamorskich opisanie* wydrukowany w krakowskiej oficynie Marka Scharffenberga. Siennik zestawił w nim dwa wcześniejsze dzieła o podobnym charakterze (zielniki Falimirza i Spiczyńskiego), dodając „od siebie” przekład praktycznego poradnika dla użytkowników ziół autorstwa włoskiego medyka z XV wieku Pedemontana⁷⁹.

Drugi z polskich zielników spisany ręką profesjonalisty ukazał się dopiero z końcem XVI wieku. Jego autor, wzięty lekarz, absolwent uniwersytetów w Krakowie i w Padwie Marcin z Urzędowa był równocześnie założycielem ogrodu zielarskiego w Sandomierzu, gdzie objął kanonię po powrocie do kraju. *Herbarz polski, to jest o przyrodzeniu ziół i drzew rozmaitych* wydrukowano w drukarni Łazarzowej ponad dwadzieścia lat po śmierci jego autora (1595).

⁷⁵ *Encyklopedia powszechna*, t. XVIII, Warszawa 1864, s. 500.

⁷⁶ T. Bieńkowski, *op. cit.*, s. 87.

⁷⁷ L. Wajda-Adamczykowa, *Rola czynników kulturowych w tworzeniu nazw botanicznych*, „Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP w Krakowie. Prace Językoznawcze” VII, Kraków 1992, s. 247.

⁷⁸ *Encyklopedia powszechna*, t. XXIII, Warszawa 1866, s. 878.

⁷⁹ T. Bieńkowski, *op. cit.*, s. 98.

W wieku XVII zainteresowanie ziołolecznictwem w Europie Zachodniej wyraźnie osłabło. Jedynym nowym opracowaniem w całości poświęconym leczniczemu walorom preparatów ziołowych było *Pinax theatri botanici* (1623) K. Bauhina (1560–1624). Profesor anatomii z Uniwersytetu w Bazylei opisał tu skrupulatnie około 6000 roślin. Dodatkowo w opracowaniu przytoczony został obszerny wykaz synonimów nazw stosowanych we wcześniejszych dziełach omawianego rodzaju. Badacz uszeregował rośliny poczynając od form „mniej doskonałych” (trawy) poprzez zioła „dwulistne” do krzewów i drzew. Klasyfikacja powyższa miała charakter czysto intuicyjny, ale liczba opisywanych ziół zwiększała się przy tym w sposób absolutnie niekontrolowany... W końcu XVII wieku brytyjski botanik John Ray mógł ich przedstawić blisko 18 tysięcy (!)⁸⁰.

Na początku XVII wieku wydany został ostatni i zarazem najobszerniejszy z polskich „wielkich zielników doby Renesansu” (1540 stron). Szymon Syreniusz (1541–1611) zawarł w nim kompilację recept i wskazówek leczniczych dla 500 z górą roślin. Praca nad dziełem trwała około 30 lat, a wydrukować je przyszło własnym sumptem autora. Ostatecznie w 1613 roku ukończono druk pięciu z ośmiu zaplanowanych ksiąg (nie zrealizowano rozdziałów o zwierzętach, kruszczach i minerałach)⁸¹.

Lekarze z Europy Środkowej, którzy pobierali nauki na uniwersytetach w Bolonii, Padwie, Lipsku, lub w szkole medycznej w Montpellier, wracając do kraju zabierali zarówno rękopisy, jak i – później – druki medyczne. Stanowiły one niezbędne źródło wiedzy w praktyce lekarskiej lub służyły kształceniu kolejnych specjalistów. Książki te, wzorem innych opracowań nauki średniowiecznej pisane były po łacinie⁸². W bibliotekach polskich zachowało się sporo oryginalnych ksiąg lekarskich proveniencji zachodnioeuropejskiej⁸³. Zapewne przynajmniej część spośród zachowanych egzemplarzy stanowi spuściznę po wcale bogatych księgozbiorach medyków, działających w Polsce w XVI i XVII wieku⁸⁴. W bagażu podręcznym lekarzy pojedyncze egzemplarze zielników i „ogrodów zdrowia” docierać mogły na tereny Europy Wschodniej. Niektóre księgarnie na Ziemiach Wschodnich (a z całą pewnością lwowskie) sprowadzały książki z krakowskich oficyn Wietora, Scharffenberga i Siebeneycherów⁸⁵, zaś w 1669 roku dyrektor ówczesnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rosji (Посольский приказ) otrzymał zza granicy przesyłkę zawierającą aż 82 książki „łacińskie”⁸⁶. Importowano również gotowe przekłady z terenów południowej Słowiańszczyzny⁸⁷. Z końcem XVI stulecia działające w Rosji Ministerstwo Zdrowia (Аптекарский приказ) organizować zaczęło kształcenie

⁸⁰ A.C. Crombie, *op. cit.*, t. II, s. 325–326.

⁸¹ *Encyklopedia powszechna*, t. XXIV, Warszawa 1867, s. 502–503.

⁸² A. Zemanek, *op. cit.*, s. 25.

⁸³ J. Arabas, *op. cit.*; A. Zemanek, *op. cit.*

⁸⁴ J. Lachs, *Krakowskie księgozbiory lekarskie z XVI wieku*, Lwów 1913; J. Lachs, *Krakowskie księgozbiory lekarskie z XVII wieku*, Lwów 1930.

⁸⁵ H. Szwejkowska, *op. cit.*, s. 125.

⁸⁶ М.И. Слуховский, *Библиотечное дело в России до XVIII века*, Москва 1968, s. 156.

⁸⁷ Т. Райнов, *Наука в России XI–XVII веков. Очерки по истории донанучных и естественных воззрений на природу*, Москва–Ленинград 1940, s. 267.

personelu medycznego, głównie lekarzy. Od 1690 roku na uczelnie zachodnioeuropejskie oddelegowywano również obywateli miejscowych (Rosjan)⁸⁸. Wcześniej w Rosji profesjonalną opiekę lekarską (nad rodziną carską) sprawowali bowiem wyłącznie cudzoziemcy. W roku 1581 do cara Iwana Groźnego przybyli angielski lekarz Robert Jacob i aptekarz Franchem (?) James. Obaj specjaliści przedsięwzięli podróż do dalekiego kraju na rozkaz Elżbiety I⁸⁹. Notabene tę pierwszą wyprawę do Moskwy udało się im szczęśliwie przeżyć. Podobne szczęście nie było niestety pisane innemu specjaliście leczącemu cara Iwana. „Doktor Elizjusz” (дохтур Елисей), wędrowny lekarz, urodzony prawdopodobnie w Holandii, zakończył żywot w bardzo niejasnych okolicznościach (1575)⁹⁰.

Ekspansję druków polskich i łacińskich do Rosji umożliwiło zorganizowanie na terenach dzisiejszej Ukrainy, Białorusi i Litwy całej sieci oficyn wydawniczych (XVI–XVII wiek). Nie mało książek łacińskich i polskich posiadali w swych bibliotekach car Aleksy Michajłowicz⁹¹, bojarzyn A. Matwiejew⁹² oraz książę Wasilij Golicyn⁹³.

Nie ulega wątpliwości, iż pewna liczba starożytnych, średniowiecznych i późniejszych dzieł przyrodniczo-medycznych oraz zachodnioeuropejskich wydawnictw z zakresu ziołolecznictwa dotarła do Rosji stosunkowo wcześnie. W roku 1653 uczoney mnich Arseniusz Suchanow przywiózł do Rosji 498 egzemplarzy nadzwyczaj cennych ksiąg. Pozycje tych nie posiadały podówczas rosyjskie biblioteki klasztorne⁹⁴. W zestawie „nowości” znalazło się między innymi kilka egzemplarzy medycznych pism Dioskorydesa i Galena⁹⁵. I właśnie w trakcie studiowania łacińskiego tłumaczenia traktatu pierwszego z wymienionych naturalistów (*De materia medica*) Hermann, mnich moskiewskiego Klasztoru Czudowskiego (XVII w.) skrupulatnie odnotowywał na jego marginesach rosyjskie nazwy znanych sobie specyfików⁹⁶. W bibliotece Klasztoru Cyrylo-Biełozierskiego wśród innych „uczonych ksiąg” znajdowały się także kodeksy, zawierające artykuły z zakresu medycyny i biologii. Mnisi mieli między innymi możliwość studiowania komentarzy Galena do dzieł Hipokratesa⁹⁷, a na początku XV wieku sporządzili nawet skrócony przekład traktatu o naturze ludzkiej (*О природе человека*)⁹⁸. Istnieje nadto domniemanie, że niektórym hierarchom cerkiewnym w końcu XV stulecia znane były pisma Izydora z Sewilli⁹⁹.

Niektóre spośród zachodnio- i środkowoeuropejskich zielników i ksiąg lekarskich w XVI–XVII wieku doczekały się przekładów na język rosyjski. Za tłumaczenie

⁸⁸ *Отечественная история с древнейших времен до 1917 года*, t. I, Москва 1994, 98–99.

⁸⁹ *Энциклопедия знаменитых россиян до 1917 года*, Москва 2001, s. 611.

⁹⁰ Tamże, s. 108–109.

⁹¹ М.И. Слуховский, *op. cit.*, s. 160.

⁹² Tamże, s. 157.

⁹³ Tamże, s. 158.

⁹⁴ Tamże, s. 119–121.

⁹⁵ Т. Райнов, *op. cit.*, s. 458.

⁹⁶ Л. Змеев, *Русские врачебники*, Санктпетербург 1895, § 131.

⁹⁷ Н.Н. Розов, *Книга в России в XV веке*, Ленинград 1981, s. 100–102.

⁹⁸ В.Ф. Груздев, *Русские рукописные лечебники*, Ленинград 1940, s. 13.

⁹⁹ М.И. Слуховский, *op. cit.*, s. 141 ods. 2.

ostatecznie niezidentyfikowanego źródła niemieckiego uchodzi już najstarszy z wschodniosłowiańskich leczebników, znany potomnym jako *Zielnik Lubczanina* (*Травник Любчанина*). Zdaniem Rajnowa Niemiec rodem z Lubeki (być może Hans Bülow) ni to przełożył, ni przeredagował wydany w Niemczech w pierwszej połowie XVI wieku almanach („ogród zdrowia”) Stofflera¹⁰⁰. Fakt, że do dnia dzisiejszego nie podjęto próby zweryfikowania tej tezy i nie skonfrontowano obu wymienionych pozycji budzić może zdziwienie. Za tłumaczenia z języka niemieckiego uznaje się zresztą wszystkie rosyjskie leczebniki opatrzone tytułem *Прохладный вертоград* (*Hortus amoenus/sanitatis*)¹⁰¹. Jest wśród nich rękopis z 1672 roku, którego autorem mienił się Andriej Mikiforow, poddiazcy Prikazu Ziemskiego¹⁰². Niektórzy podejrzewają, że przekład Mikiforowa nie był bynajmniej pierwszym tłumaczeniem księgi¹⁰³. Docierały na wschód niewątpliwie najstarsze zielniki polskie i polskie tłumaczenia opracowań łacińskojęzycznych. Przekładem, którego dokonano bezpośrednio z języka polskiego, jest tzw. *Zielnik Buturlina* (*Бутурлинский травник*). Polskie tłumaczenie księgi napisanej pierwotnie po łacinie sporządzono na zamówienie wojewody trockiego Stanisława Gasztołda, zaś przekładem jej na rosyjski z rozporządzenia Fomy Buturlina zajął się Stanisław Stanczewski. Pracę nad przekładem ukończono w 1588 roku¹⁰⁴. Nie jest wykluczone, że w wieku XVII tłumaczono w Rosji także pisma Hieronima Spiczyńskiego¹⁰⁵, zaś w wieku XVIII podjęto się przekładu najobszerniejszego polskiego zielnika doby Renesansu autorstwa Szymona Syreniusza. Jednak translator najwyraźniej zdołał przełożyć zaledwie dwie pierwsze księgi dzieła (Biblioteka Publiczna w Petersburgu)¹⁰⁶. W tłumaczeniu na rosyjski dostępna była także część dorobku Alberta Wielkiego (*Таинств женских, еще же о силах трав, камней, зверей, птиц и рыб*)¹⁰⁷.

O niejkiej znajomości zachodnioeuropejskich źródeł wiedzy botanicznej, zielarskiej i wreszcie – medycznej świadczą zapewne liczne odwołania do autorytetów w zakresie leczenia od starożytności do średniowiecza. Powoływano się na Hipokratesa, Galena, Celsusa, Arystotelesa i Awicennę. Być może wspomniany częstokroć w rękopiśmiennych opracowaniach zielarskich i homeopatycznych mistrz Иван Мазувей to w rzeczy samej Ibn Masawaih.

Na kontakty z zachodnioeuropejską i polską literaturą botaniczną wskazywać mogą wyraźne paralele w zakresie nazw roślin. Wśród fitonimów poświadczonych w rękopiśmiennych leczebnikach i trawnikach z terenów Słowiańszczyzny Wschodniej trafiają się kalki określeń używanych przez Hieronima Bocka, Leonarda Fuchsa i Stefana Falimirza (XVI w.)¹⁰⁸.

¹⁰⁰ Т. Райнов, *op. cit.*, s. 163.

¹⁰¹ В.Ф. Груздев, *op. cit.* s. 8, 16.

¹⁰² Л. Змеев, *op. cit.*, s. 39.

¹⁰³ Т. Райнов, *op. cit.*, s. 460.

¹⁰⁴ А. Зубов, *Заметка о травнике троцкого воеводы Станислава Гажтовта*, Москва 1887, s. 4.

¹⁰⁵ Л. Змеев, *op. cit.*, s. 39.

¹⁰⁶ Тамże, s. 204.

¹⁰⁷ В.Ф. Груздев, *op. cit.*, s. 20.

¹⁰⁸ H. Chodurska, *Ze studiów nad fitoniami rękopiśmiennych zielników wschodniosłowiańskich XVII–XVIII wieku*, Kraków 2003, s. 316–317.

Zdaje się zatem nie ulegać wątpliwości, że już w czasach dosyć odległych istniała w Europie wymiana literatury i myśli naukowej. Nie ulega również wątpliwości, że warto byłoby poświęcić jej – a szczególnie początkowym etapom procesu – nieco więcej uwagi. Być może ułatwi to w przyszłości ustalenie źródeł wiedzy medycznej Słowian Wschodnich.

Literatura

Publikacje w języku rosyjskim

- Груздев В.Ф., *Русские рукописные лечебники*, Ленинград 1940.
- Змеев Л., *Русские врачебники*, Санктпетербург 1895.
- Зубов А., *Заметка о травнике троцкого воеводы Станислава Гажтовта*, Москва 1887.
- Отечественная история с древнейших времен до 1917 года*, t. I, Москва 1994.
- Райнов Т., *Наука в России XI–XVII веков. Очерки по истории донанучных и естественных воззрений на природу*, Москва–Ленинград 1940.
- Розов Н.Н., *Книга в России в XV веке*, Ленинград 1981.
- Слуховский М.И., *Библиотечное дело в России до XVIII века*, Москва 1968.
- Энциклопедический словарь*, XVI, Санктпетербург 1893.
- Энциклопедия знаменитых россиян до 1917 года*, Москва 2001.

Publikacje w języku polskim

- Arabas J., *Wybrane rośliny o działaniu uzależniającym w renesansowych herbarzach polskich*, [w:] *Historia leków naturalnych*, t. II: *Nauka i kultura*, Warszawa 1989.
- Bieńkowski T., *Wiedza przyrodnicza w Polsce w wieku XVI*, Wrocław 1985.
- Chodurska H., *Ze studiów nad fitoniami rękopiśmiennych zielników wschodniosłowiańskich XVII–XVIII wieku*, Kraków 2003.
- Crombie A.C., *Nauka średniowieczna i początki nowożytnej*, Warszawa 1960, t. I–II.
- Encyklopedia powszechna*, t. I, Warszawa 1959.
- Encyklopedia powszechna*, t. XVIII, Warszawa 1864.
- Encyklopedia powszechna*, t. XXIII, Warszawa 1866.
- Encyklopedia powszechna*, t. XXIV, Warszawa 1867.
- Horbatsch O., *Polskie i czeskie nazwy roślin w rękopiśmiennym zielniku z XVI/XVII wieku Biblioteki Uniwersyteckiej w Erlangen*, „*Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej*” 1969, t. VIII.
- Janota E., *Historia naturalna w piśmiennictwie niemieckim w wiekach późniejszych*, Lwów 1878.
- Kawecka-Gryczowa A., *Rola drukarstwa polskiego w dobie Odrodzenia*, Warszawa 1954.
- Kluk M., *Symbolika roślin leczniczych w malarstwie europejskim czasów nowożytnych na przykładzie „Madonny Medici” Luca Signorellego*, [w:] *Historia roślin leczniczych*, t. II: *Nauka i kultura*, Warszawa 1989.
- Lachs J., *Krakowskie księgozbiory lekarskie z XVI wieku*, Lwów 1913.
- Lachs J., *Krakowskie księgozbiory lekarskie z XVII wieku*, Lwów 1930.
- Laughin A., *Od arcydzieła do żywokostu. Opis, zastosowanie i uprawa ziół*, Wrocław 1996.
- Orłoś T., *Zapóżyczenia słowiańskie w czeskiej terminologii botanicznej i zoologicznej*, Kraków 1972.
- Rostafiński J., *De plantis, quae in „Capitulari de villis et curtis imperialibus” Caroli Magni commemorantur jako materiał do historii hodowli roślin w Polsce*, „*Pamiętniki Akademii Umiejętności. Wydział Matematyczno-Przyrodniczy*”, t. XI, Kraków 1885.
- Rzymowska L., *Piersi fiołkami pachnące. Kwiaty w mitach i języku dawnej Grecji*, [w:] *Świat roślin w języku i kulturze*, Wrocław 2001.

Skarżyński A., *Magia ziół*, Warszawa 1991.

Szwejkowska H., *Książka drukowana XV–XVIII wieku. Zarys historyczny*, Wrocław–Warszawa 1983.

Wajda-Adamczykowa L., *Rola czynników kulturowych w tworzeniu nazw botanicznych*, „Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP w Krakowie. Prace Językoznawcze” VII, Kraków 1992.

Wielka Encyklopedia Powszechna Ilustrowana, t. XIII–XIV, Warszawa 1894.

Wierzbicka E., *Botanika w Polsce w średniowieczu (do końca XV wieku)*, cz. I, „Wiadomości Botaniczne” 1964 (8), z. 1.

Wierzbicka E., *Botanika w Polsce w średniowieczu (do końca XV wieku)*, cz. II [w:] „Wiadomości Botaniczne” 1965 (9), z. 2.

Zemanek A., *Średniowieczne źródła do dziejów botaniki i ziołoznawstwa w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej oraz Biblioteki Kapituły Krakowskiej na Wawelu*, [w:] *Historia leków naturalnych*, t. IV: *Z historii i etymologii polskich nazw roślin leczniczych*, Warszawa 1993.

Из истории медицины, или о лечебниках и гербариях

Резюме

В статье вкратце излагается история европейских медицинских книг и гербариев с древнейших времен до конца XVII века. Учитываются в основном те из рукописных и печатных инкунабулов, которые известны были восточным славянам или, возможно, попали на территорию восточной Европы. Надеемся, что конфронтативный анализ выше указанных книг с русскими лечебниками и травниками позволит в будущем назвать источники медицинских знаний восточных Славян.

Ключевые слова: восточная Европа, история медицины, травники, лечебники, гербарии

From the history of natural medicine, that is about books of herbs

Abstract

The paper presents an outline of the European history of medical books and armorials since ancient times to the end of the 17th century. It takes into consideration only those manuscripts and old prints which were known or could have appeared in the areas of Eastern Europe. The comparative analysis of the texts mentioned above with the Old Russian and Russian botanical manuscripts and herbals might help to identify the sources of medical knowledge of Eastern Slavs.

Key words: Eastern Europe, the history of medicine, herbals, armorials

Halina Chodurska

Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

Instytut Neofilologii (filologia rosyjska)

+ 48 12 662-63-32

Елена Купчик

Метафоры надежды в русской поэзии

Внутренний мир человека традиционно характеризуется в языке через признаки мира внешнего. Невидимое, неслышимое, неосязаемое при отражении его в метафорическом зеркале предстает чувственно воспринимаемым. О значимости того или иного концепта внутреннего мира, укорененности его в культуре дает представление система метафорических моделей (далее ММ), выявляемых в совокупности текстов, которыми оперирует данная культура.

К ключевым концептам культуры принято относить те, которые встречаются «в частотных общеупотребительных формах языка – словах, словосочетаниях, фразеологизмах, пословицах и поговорках, загадках»¹. Этим требованиям вполне соответствует объект нашего внимания. Толкуемая как «ожидание, уверенность в осуществлении чего-нибудь радостного, благоприятного»², *надежда* издавна входит в состав устойчивых словосочетаний (*подавать надежды, питать надежды, возлагать надежды* и др.), отражается в пословицах и поговорках.

Материалы «Словаря живого великорусского языка» В.И. Даля³ позволяют определить традиционно значимые для русского народа слагаемые семантики *надежды*.

Во-первых, *надежда* предстает как нечто необходимое для жизни – на всем ее протяжении: *Колотися, бейся, а все надейся; Век живи, век надейся; Надеючись и живут, и мрут*. Во-вторых, *надежда* оказывается состоянием универсальным, присущим не только человеку: *Надеючись и кобыла в дровни лягает; Надеючись казак на конь садится, надеючись конь копытом бьет*. В-третьих, надежда на кого-либо, как правило, сама является «не вполне надежной», поэтому человек должен искать опору не только во внешней среде, но и в самом себе: *На чужое надейся, а свое паси; На Бога надейся, а сам не плошай*. Надежда может вечно остаться с человеком (*Счастье скоро покидает,*

¹ М.В. Пименова, *Душа и дух: особенности концептуализации*, Кемерово 2004.

² С.И. Ожегов, *Словарь русского языка*, Москва 2010.

³ В.И. Даль, *Толковый словарь живого великорусского языка. В 4 томах*, т. 2, Москва 2006.

а добрая надежда – никогда), но может и утратиться – *лопнуть, пропасть, потеряться*. Имеет значение и объект надежды – высшие силы или нечто земное, случайное: *Полагай надежду на Бога; На ветер надеяться, без помолу быти*. Человеку следует надеяться на лучшее, но при этом готовить себя к иным обстоятельствам: *Надейся добра, а жди худа; Жить надейся, а умирать готовься*.

Традиционное представление о надежде развивается, приобретает новые краски в образных сопоставлениях, отмеченных в произведениях русской поэзии на протяжении ее истории.

Анализ поэтического материала, представленного, в частности, в «Словаре поэтических образов»⁴ и «Словаре русской поэзии»⁵, показывает, что для художников слова особо значимым является представление о надежде как о свете. ММ *надежда – свет* выделяется как в количественном отношении, так и по степени разветвленности, конкретизируясь в ряде частных моделей с правыми элементами (объектами сопоставления) *свет, луч, блеск, светило, светильник*, которые в свою очередь представлены в разных видах.

ММ *надежда – свет* в текстах разных авторов репрезентирована главным образом генитивной метафорой *свет надежды*. В такие конструкции зачастую включаются эпитеты, передающие характер света: *бледный* (К. Бальмонт), *слабый* (М. Лермонтов), *теплый* (А. Голенищев-Кутузов), *радужный* (А. Фет) и др.

Из всех разновидностей света поэтами наиболее востребован *луч*. Свет, локализованный в пространстве, отражает представление о надежде как о чем-то небольшом по сравнению с темным пространством бытия, но способным нарушить структуру этого пространства, дать человеку утешение и силы. Пространство, в которое вторгается луч надежды, оказывается и земным, и водным, и небесным, а в конечном счете – пространством человеческой души, переживающей негативные состояния, например: *Всемогущий! Прими / Вздох раскаянья царева, / Испытания изми / И надежду среди гнева / Брось ему твоим лучом* (Г. Державин). *Лучом надежды в море бед / Мне стал тогда ваш безымянный, / Но вечно памятный привет* (М. Лермонтов); *Тогда у Вахха весь надежды луч погас, / И во отчаяньи, как в море, он погряз* (В. Майков); *Пусть нежный взор тоску души рассеет / И грудь мою надежды луч согреет!* (А. Крылов); *Амур в сей час над ней невидимо взывался, / Тая свою печаль во мраке черных туч, / И если проникал к нему надежды луч, / Надеждой Душеньку утешить он боялся* (И. Богданович).

На фоне мрака *надежда* выделяется яркостью, ее *луч* имеет признаки *ясный* (В. Озеров), *светлый* (К. Шаликов), *заревой* (К. Случевский) и др.

Луч надежды и пронзаемое им пространство находятся в оппозиции как живое и мертвое. Надежда – *луч живой, животворный* (у разных авторов). Состояние человека во многом определяется интенсивностью этого луча. По нашим наблюдениям, в русской поэзии нечасты указания на силу, «мощность» потока света надежды – для передачи высокой степени данного признака

⁴ Н.В. Павлович, *Словарь поэтических образов. В 2-х томах*, т. 1, Москва 1999.

⁵ Н.Н. Иванова, *Словарь языка поэзии (образный арсенал русской лирики конца XVIII – начала XX века)*, Москва 2004.

существуют иные ММ. Распространены контексты, в которых луч надежды представлен как слабый, нередко – уходящий: *бледный и унылый* (Н. Гнедич), *последний, прощальный* (А. Полежаев), *усталый* (В. Брюсов).

Надежда в поэтической картине мира принадлежит к области верха, что отражено, например, в реализациях ММ *надежда – светило, солнечный и звездный свет*. Душу человека согревает и освещает *светило надежды* (В. Жуковский, М. Лермонтов) *солнце надежды* (С. Надсон, В. Тепляков), *заря надежды* (А. Мерзляков, Н. Минский). На протяжении всего существования русской поэзии авторы активно используют сопоставление надежды со звездой, испускающей неяркий, но манящий свет, способный к тому же служить ориентиром в темном пространстве, например: *Так манит нас звезда надежды, то светлея, / То спрятавшись от нас, то улыбаясь вновь* (П. Вяземский); *Еще я не люблю – но, как восток зарею, / Уже душа моя печалью занялась, / И пред-рассветною стыдливою звездой / Надежда робко в ней зажглась* (Н. Минский). Принадлежность надежды к верхней части мира фиксируется и в сопоставлениях ее с молнией, радугой, например: *Надежда с горних мест, как молния из туч, / Царю влилася в грудь и пролила луч* (М. Херасков); *Так тихо веяли они (звуки. – Е. К.) / Огнем любви в душе невежды / И светлой радугой надежды / Мои расписывали дни* (Д. Веневитинов).

Реализации ММ *надежда – светильник* несут информацию не только о свечении, но и об его интенсивности (*надежда – лампа, факел, маяк* и т.п. у разных авторов). О принадлежности надежды к божественному, высшему свидетельствуют сопоставления ее с источниками света, используемыми при богослужении, например: *И вера пролила спасительный елей / В лампаду чистую надежды* (К. Батюшков); *И, всех благих надежд светильник, / Зажгись на новом алтаре!* (П. Вяземский); *Неугасимую лампадой / Надежда теплится в груди* (И. Северянин).

В «Словаре поэтических образов» модели с правым элементом *существо* помещены в начало каждого раздела, поскольку «отождествление с живым существом является самым частым в русском поэтическом языке и имеет место почти для всех понятий»⁶. ММ *надежда – существо* по частотности и раз-вернутости, по-видимому, сопоставима с рассмотренной выше ММ *надежда – свет*. В объектную часть модели традиционно входят обозначения птиц, людей и божеств. *Надежда* уподобляется крылатому существу, которому свойственно свободное перемещение в верхней области мира: *Надежды и мечты златые, / Как птички, быстро улетят* (Н. Карамзин); *Печаль с надеждой руки соплетают / И лебедями медленно летают* (М. Кузмин); *И, крыльями новой надежды подъята, / Затрепетала душа короля* (Д. Андреев); *Надежда проходит с ним жизни путь, / Крылами ребенка лелеет* (А. Григорьев) и др.

В реализациях ММ *надежда – человек* раскрывается характер воздействия надежды на человека, которому она может быть верным другом, заботливым спутником: *Надежда с добрыми людьми всечасно ходит, / Товарищ искренний, от места к месту водит* (Н. Поповский); *Надежда с чашею отрады / Нам добрый спутник – верь* (В. Жуковский); *Надежда, смертных утешитель! / Ты будь моих опорой сил* (В. Капнист). Вместе с тем надежда, будучи

⁶ Н.В. Павлович, указ соч., т. 1.

обещательницей благ (Г. Державин), *обаятелем*, закрывающим людям глаза (Е. Костров), способна ввести человека в заблуждение, предать и покинуть его, например: *Но опыт иное мне в жизни явил: / Надежда – лукавый предатель* (В. Жуковский); *Сон, покой, / Здоровье, мотылек молодой, / Хранитель жизни, жизни сладость – / Надежда... / Все скрылись легкою толпой* (А. Пушкин).

Божественная природа надежды обнаруживается в сопоставлениях ее с представителями духовного мира. Реализации данной модели, характерные для старой русской поэзии, рисуют надежду в возвышенных тонах; она, например, *бог грядущих дней* (М. Лермонтов), *благовторный дух* (Е. Костров), *воздушная дева* (А. Одоевский).

Надежда как существо имеет определенный круг родственных связей, представляя порождением небес, а также «родственницей» состояний, чувств человека, например: *Прекрасна, – мила дочь небесна... Надежда!* (С. Бобров); *Надеждой, самолюбья дочерью, / Весь возбуждается сей свет* (Г. Державин); *Несчастью верная сестра, надежда в мрачном подземелье / Разбудит бодрость и веселье* (А. Пушкин).

Надежда способна обращаться к человеку, проявлять свое отношение к нему вербальными и невербальными средствами (к последним относятся, например, *улыбка надежды, объятья надежды*, упоминаемые разными авторами). Инициатива контакта принадлежит надежде; человек же выступает как слушатель, который волен как принять, так и проигнорировать предложенное, например: *Блажен, кому надежды глас / В самом несчастье сердцу внятн* (К. Батюшков); *Глас надежды – сердца сладость* (Г. Державин); *И свет сей по одним лишь обещаньям знаешь / Надежды молодой* (В. Жуковский); *Надежда им / Лжет детским лепетом своим* (А. Пушкин); *Презрев и голос укоризны, / И зовы сладостных надежд, / Иду в чужбине прах отчизны / С дорожных отряхнуть одежд* (А. Пушкин).

Надежда имеет соответствия в воздушном, водном и земном пространствах. «Воздушность» надежд фиксируется, например, в таких сопоставлениях, как *надежды – небеса безоблачного дня* (И. Бунин), *дуновенье* (Б. Пастернак), *дым* (З. Гиппиус), *дымящийся фимиам* (А. Фет). У разных авторов в качестве соответствия *надеждам* отмечены обозначения земной тверди, а также текущей или стоячей воды. Пространственные метафоры *надежды* иногда вписаны в общую картину жизни человеческой души; надежде отводится роль суши или воды, например: *В берег надежды и в берег желанья / Плещет жемчужной волной / Мыслей без речи и чувств без названия / Радостно-мощный прибой* (В. Соловьев); *И дико мечется бурун / Живых надежд и ожиданий / В ущелья темных берегов / Несовершившихся желаний / И неисполнившихся снов...* (К. Случевский).

ММ *надежда* – растение реализуется главным образом в сопоставлениях с *цветом* (А. Пушкин, Г. Державин, Ф. Сологуб, Э. Губер и др.). Генитивная метафора *цвет надежды* нередко включает эпитет, характеризующий надежду: *ранний, верный, прелестнейший, весенний* и др. Метафорическим соответствием *надежды* могут быть и конкретные цветы (например, *роза* у И. Одоевцевой или *тубероза* у К. Павловой), и отдельные части растения: *ветвь надежды* (Г. Державин, В. Щастный), *семена надежды* (Д. Веневитинов, И. Ключников).

В русской языковой картине мира *надежда* традиционно концептуализируется как *вместилище*. Данное представление отражено в нескольких ММ с правыми элементами *сосуд, судно, строение*: например, *сосуд надежды* (М. Лермонтов), *чаша надежд и упований* (Н. Некрасов) *корабль надежды* (у разных авторов), *храм надежд* (В. Брюсов), *чертог надежд* (К. Случевский). Словосочетание *пустая надежда*, также реализующее ММ надежда – сосуд, отражает представление о напрасных, бесполезных надеждах – как, например, в пушкинском «Борисе Годунове»: *...Но знаешь сам: бессмысленная чернь / Изменчива, мятежна, суеверна, / Легко пустой надежде предана*. Е.А. Мошина указывает на наличие у *надежды* признаков дома – места, «где можно остаться, безопасно провести время, отдохнуть и набраться сил»⁷. Отношение *надежды* к дому отражено, например, в метафорах *дверь надежды* (В. Тредьяковский); *ключи надежды* (М. Волошин).

Ряд ММ отражает представления о вещественности надежды, о близости ее к земному, человеческому миру. Помимо упомянутых выше светильников и разного рода вместилищ, метафорическими соответствиями *надежды* являются разнообразное орудия, доспехи, ткань и изделия из нее, предметы домашнего обихода, например: *И острие невозможной надежды / Вдруг прикоснулось к душе короля* (Д. Андреев); *Но ты одет в броню нетленну, / В надежду, веру несомненну* (Г. Державин); *Надежды воин шлем надел* (В. Петров); *Скрываю горестные вежды / Под вуалеттой огневой, / Но золотой вуаль надежды / Весь в мушках грусти роковой* (В. Шершеневич); *Темной жизни не жалею, / Ткани призрачные рву, / Ткани юных упований / И туманных детских снов* (Ф. Сологуб); *Надежд моих радужный гребень, / Седину облаков расчеши* (А. Кусиков).

Отметим, что метафоры надежды зачастую фиксируют хрупкость, непрочность надежды. Сюда относятся сопоставления надежды с потерявшими целостность, непригодными для дальнейшего применения предметами, например: *О, неужели он, он – этот скарб и хлам / Надежд, по счастью для людей, отживших* (К. Случевский); *В душе моей, как в океане, / Надежд разбитых груз лежит* (М. Лермонтов); *Разливает секунды, гирляндирует горечи / Откупоривает отчаяние, суматошит окурки надежд* (В. Шершеневич) – о тоске; *Сердце все еще глупо цепляется / За обломки разбитых надежд* (Д. Михаловский).

Причины крушения надежд могут быть представлены внешними, не зависящими от человека. Это, например, волны, в которых тонет *челнок надежды* (И. Козлов), время, лишаящее красок *надежд роскошный цвет* (Э. Губер) и рассеивающее *чад и дым надежд* (А. Грибоедов). Виновником разрушения надежды может быть и сам человек – например, потопивший *тяжелую тоскою корабль надежды* (А. Блок) или разорвавший *ткани юных упований* (Ф. Сологуб).

Надежда может осмысляться и в категориях невещественного, что особенно характерно для старой русской поэзии. В стихах поэтов XIX века обнаруживается представление о надежде как некоем видении: *сон надежды*

⁷ Е.А. Мошина, *Особенности концептуализации НАДЕЖДЫ и НОРЕ признаками внутреннего пространства*, Кемерово 2006, с. 885–892.

(А. Пушкин, Н. Языков), *сны надежд* (А. Пушкин, И. Майков), *грезы упования* (К. Фофанов), *призрак надежд* (Н. Некрасов) и др.

Таким образом, реализации ММ позволяют выделить некоторые признаки *надежды*, среди которых постоянными являются значимость, притягательность для человека, высокая эстетическая ценность (последнее реализовано в уподоблении ее свету, цветам, дорогой красивой ткани и т.п.).

Для русской поэзии традиционно рассмотрение *надежды* в триаде – в совокупности с *верой* и *любовью*. Например, Г. Державин, неоднократно обращающийся к данным образам, использует эту триаду для характеристики Александра Суворова: *Но ты одет в броню нетленну, / В надежду, веру несомненну, / Любовью выспренной горись* (ср. образ героини оды Е. Кострова Екатерины II, которая обращается к подданным, *веры ограждая щитом и надежды осеняясь крестом*); В. Тепляков – для характеристики разочарованной души: *Доверенность к жизни, надежда, любовь, / Любовь всей природы – в груди моей вновь / Не вспыхнет ваш огонь благодатный!* Для героя Б. Окужавы Вера, Надежда и Любовь оказываются сестрами милосердия, открывающими умирающему *последний кредит*. Взаимоотношения внутри триады могут складываться по-разному. Так, *вера* льет елей в *лампаду надежды* (К. Батюшков), приходит утешить героя с *ветвью надежды* в руке (Г. Державин). *Любовь* предстает целью, на пути к которой человеку необходима *надежда*: *Буду риз ее держаться / До объятия любви; Так надежды пресекает / Лишь одна любовь полет* (Г. Державин).

Некоторые из признаков надежды являются амбивалентными. Прежде всего упомянем о двойственном отношении *надежды* к человеку. Уподобленная свету, человеку, божеству, крылатому существу, доспехам, радуге, *надежда* вдохновляет человека, освещая его путь, ободряя и поддерживая его, дает возможность подниматься ввысь, украшает, расцвечивает дни его жизни. Вместе с тем она сама нередко оказывается *ненадежной* – способной покинуть человека (отлет надежды – птицы, угасание надежды – света, растворение в пространстве надежды – дыма, смолкание надежды – колокольного звона, измена надежды – существа). Для человека она может служить источником не только положительных эмоций – как, например, для героя А. Фета: *Разбей этот кубок: в нем капля надежды таится. / Она-то продлит и она-то усилит страданье*.

Примечательно, что и отношение человека к надежде также неоднозначно: оно варьирует в широких пределах – от восторга до полного неприятия. Так, для старой русской поэзии типичны прямые восхваления надежды типа *Надежда правая и естество не лгут, / По мере добрых дел и счастье дают. / Они наш истинный судья и благодетель* (Н. Поповский). В текстах разных поэтов обнаруживается и порицание надежды (прежде всего за ее обманчивость, коварство). Герой пытается избавиться от надежды разными способами – погасить например, *огни надежд*, разорвать ее *ткань*, разбить сосуд с *надеждой* – *влагой*. В русской поэзии ХХ–XXI веков образ надежды претерпевает, по нашим наблюдениям, существенные изменения (что может служить темой отдельного исследования), касающиеся в том числе и характера надежды, и проявления отношения к ней человека. В качестве примеров можно привести

сонм сомнительных надежд М. Цветаевой (здесь весьма показательна паронимическая аттракция), повторяющийся образ *злой надежды* А. Городницкого, *яростной надежды* (у него же), *грозного луча* надежды, изгоняемого героиней Ю. Мориц. Для героя А. Вознесенского *надежда* оказывается объектом преследования: *Чудовище по имени Надежда, / Я гнался за тобой, как следопыт. / Все пули уходили, не задевши.*

Физические характеристики надежды отличаются обширным диапазоном (от нематериальных *снов* и *грез* до вполне материальных объектов, размеры которых также варьируют в широких пределах). Прочность надежды (как земной тверди, строения, корабля и т.д.) может оказаться обманчивой, цельность – легко разрушаемой. Утрачивая данные свойства, надежда превращается в осколки, обломки, лоскутья.

Локализованная в пространстве человеческой души, *надежда* рождается, живет и умирает (поэтому возможно и *кладбище надежд* – К. Случевский) в этом пространстве. Однако она может прийти и из внешнего по отношению к душе мира – лучом света, исходящего от божества или светил, молнией, оружием и т.д. В этот же внешний мир она может и удалиться. Расставание надежды с человеком также осуществляется двумя способами: смерть (в том числе посредством разрушения) и уход (чаще всего это перемещение в воздушном пространстве). Возможно и воскрешение надежды, представленное, например, в образе встающего из руин строения: *В жизни, идущей на смену векам, мы строители / Вечногo храма надежд, восстающего вновь!* (В. Брюсов); однако значительно чаще в поэтических текстах отражается пессимистический вариант развития событий.

Русская поэзия, таким образом, развивает и обогащает представления о надежде, отраженные – с древних времен – в языке народа. Сформулированные зачастую в форме совета (для подобных высказываний типична форма повелительного наклонения), русские устойчивые выражения указывают на необходимость и значимость надежды – и в то же время на ее возможную непрочность; по этой причине человек должен не только надеяться, например, на высшие силы, но и прикладывать для достижения цели собственные усилия.

Образ надежды, складывающийся из реализаций ММ с различными объектами сопоставления (человек и божество, свет и вода, предмет и нечто невещественное и т. д.), обладает тем не менее известной целостностью. Применительно к надежде возможно сочетание и даже слияние оппозиционных в обыденном сознании образов – как, например, у Е. Шварца: *Но льется и ему навстречу / Дождь свечек – пламенный, попятный, / Молитв, надежды – дождь отземный / С часовен рук – детей, старух;* ср. совмещение характеристик воды и неба в характеристике надежды у Н. Языкова: *Светлее зеркальных зыбей, / Звезды прелестнее рассветной, / Пышнее ленты огнецветной / Повязки сладостных дождей, / Твои надежды.*

В заключение отметим, что *надежда* обладает значимостью, ценностью независимо от масштабов объекта сопоставления. Например, искра надежды может быть для человека не менее (а иногда и более) значимой, чем маяк; *ветхий лоскут надежды* все же остается покровом для бедняка (Бенедиктов);

обрывки надежды в стихотворении И. Анненского не теряют свойств, позволяющих считать ее украшением птицы – времени: *И на крыльях у ней твоя сила, / Радости сон мимолетный, надежд золотые лохмотья.*

Литература

Даль В.И., *Толковый словарь живого великорусского языка. В 4 томах*, т. 2, Москва 2006.

Иванова Н.Н., *Словарь языка поэзии (образный арсенал русской лирики конца XVIII– начала XX века)*, Москва 2004.

Мошина Е.А., *Особенности концептуализации НАДЕЖДЫ и HOPE признаками внутреннего пространства*, Кемерово 2006, с. 885–892.

Ожегов С.И., *Словарь русского языка*, Москва 2010.

Павлович Н.В., *Словарь поэтических образов. В 2-х томах*, т. 1, Москва 1999.

Пименова М.В., *Душа и дух: особенности концептуализации*, Кемерово 2004.

Метафоры надежды в русской поэзии

Резюме

В статье рассматриваются метафоры, характеризующие феномен надежды, на материале русских поэтических текстов. Концепт „надежда” занимает особое место среди концептов духовной сферы человека. Образ надежды складывается из реализации метафорических моделей с различными объектами сопоставления.

Ключевые слова: метафора, метафорическая модель, языковая картина мира, концепт, поэтический текст, надежда

Hope metaphors in Russian poetry

Abstract

The article deals with metaphors describing the phenomenon of hope, based on Russian poetic texts. The concept of "hope" has a special place among the concepts of the spiritual sphere of man. The image is made up of the implementation of hope metaphoric models with different objects of comparison.

Key words: metaphor, metaphoric model, language word – mapping, concept, poetical text, hope

Елена Купчик

Тюменский государственный университет

доктор филологических наук

e-mail: elwika@list.ru

+7 3452 46 20 87

Наталья Кузнецова

Об одном малоизученном противопоставительном коннекторе в современной русской речи

Средства связи частей в русском сложном предложении и русском тексте весьма разнообразны. Многие из них представляют собой единицы, чья принадлежность к одной из традиционно выделяемых частей речи остается невыясненной. В специальной литературе к ним применяются термины *аналог союза* (М.В. Ляпон), *релятив* (она же), *скрепа* (М.И. Черемисина, Т.А. Колосова), *дискурсивный маркер* (В.И. Подлесская, А.А. Кибрик), *дискурсивное слово* (К. Киселева и Д. Пайар), *коннектор* (А.А. Кибрик). Задача выявления «реального фонда» этих единиц, их «инвентаризации» и семантической интерпретации, поставленная, в частности в монографиях М.В. Ляпон («Смысловая структура сложного предложения и текст: К типологии внутритекстовых отношений») в 1986 г., а также М.И. Черемисиной и Т.А. Колосовой («Очерки по теории сложного предложения») в 1987 г., продолжает оставаться актуальной для русистики. Это констатируется, например, в статье Т.В. Шмелевой «Техника сложного предложения», опубликованной в 2010 г.

Одной из единиц, обойденных вниманием исследователей, составителей словарей и грамматик, является коннектор (будем использовать этот термин как несущий в себе идею связи) *a так*. Он не упомянут в толковых словарях русского языка¹, в специальных словарях («Объяснительном словаре» под ред. В.В. Морковкина, словаре Р.П. Рогожниковой), в русской «Грамматике-80»². Среди исследований, посвященных связующим средствам в сложном предложении и тексте, коннектор *a так* упоминается лишь в указанной монографии М.В. Ляпон, где ему посвящено несколько строк в главе о средствах выражения противительности, в разделе о релятиве *только*. Указывается,

¹ При том, что вообще в статьях, толкующих слово *так*, приводится много устойчивых сочетаний. Например, в *Словаре русского языка* под ред. А.П. Евгеньевой их более 30: *и так, за так, не так чтобы, так-сяк, как бы не так* и мн. др.

² Появление «относительно полного» списка в несколько сотен связующих единиц, приведенного в этой грамматике, было «важным шагом вперед в изучении проблемы скреп» (М.И. Черемисина, Т.А. Колосова, указ. соч., с. 124). Однако единица *a так* в этот список не вошла.

что «релятивом *a так*» оформляется противопоставление частного и общего, исключения и нормы: «Вторая часть таких построений представляет обычное положение дел (общее правило), первая часть содержит ограничивающую это правило информацию. Участие *только* в составе этой части факультативно»³. В качестве единственного примера приводится фрагмент из воспоминаний Н. Павлович – слова матери А.А. Блока о сыне: *Он только одного беспокойства мне не доставил – на аэропланах не летал. А так – я вечно за него боялась.* Между тем представляется, что коннектор *a так* заслуживает более подробного изучения. Приведем некоторые аргументы в подтверждение этого тезиса.

1. *A так* является частотным для русской речи коннектором. В основном корпусе Национального корпуса русского языка (ruscorpora.ru) нами обнаружено 1,6 тыс. примеров его использования (в основном в художественных, а также документальных, типа мемуаров, текстах), в устном корпусе – 660 примеров⁴. Следует учитывать, что устный корпус НКРЯ почти в 20 раз меньше основного (9,6 тыс. против 193,9 тыс. словоупотреблений), поэтому можно утверждать, что коннектор *a так* существует прежде всего в стихии устной речи. Да и во многих примерах его употребления на письме мы имеем дело с передачей чьей-либо устной (или внутренней) речи. Полагаем, это одна из причин того, почему коннектор *a так* не изучался подробно⁵.

Другая причина невнимания исследователей к данной единице может состоять в том, что далеко не каждое сочетание союза *a* и местоименного наречия (или частицы) *так* представляет собой коннектор *a так*. Приведем пример: *Саша перешел к компьютеру; Борис Григорьевич, что-то шепча и подолгу зависая пальцами над клавиатурой, вызвал игру. – Вот так направо, а так – налево, – сказал Саша. [Виктор Пелевин. Принц Госплана, 1991].* В данном случае перед нами сложносочиненное предложение с сопоставительным союзом *a*; повторяющееся слово *так* является местоименным наречием и обозначает «обстоятельства, образ, способ действия» (1-е значение в словаре русского языка под ред. А.П. Евгеньевой). Выделять из общей массы выданных поисковой системой НКРЯ примеров сочетаний слов *a* и *так* противопоставительный коннектор *a так* нам пришлось вручную, полагаясь на свой опыт носителя русского языка. Вербализовать критерии отграничения случаев употребления коннектора *a так* от контекстов с сочетанием слов *a* и *так* в других значениях (или хотя бы выяснить, существуют ли такие критерии) представляется актуальной и перспективной задачей.

2. Значение коннектора *a так* весьма специфично. По нашим наблюдениям, он используется не только, как указывает М.В. Ляпон, для противопоставления общего и частного, точнее частного и общего (хотя таких случаев действительно много, например: *Шибко об ребятишках соскучилась. А так всё*

³ М.В. Ляпон, указ. соч., с. 161.

⁴ Приводимые в дальнейшем в данной статье примеры взяты как раз из НКРЯ.

⁵ Ср. наблюдения над учебной и теоретической литературой: «В качестве примеров, иллюстрирующих те или иные типы, группы союзов, обычно приводится лишь ядро, характерное для книжных стилей речи» (М.И. Черемисина, Т.А. Колосова, указ. соч., с. 124).

хорошо. [Василий Шукшин. Печки-лавочки, к/ф, 1972]), но и для противопоставления идеального и реального положения дел. При этом об идеальном положении дел идет речь, как правило, в первой части конструкции, например: *Выплатил бы это... И тогда бы взял. А так ему / конечно / отказано / он еще с тем не рассчитался.* [Домашний разговор, 2006]. Однако есть случаи, когда «идеальной» является вторая часть, например: *У меня в моем окружении просто, как назло, все или с медицинским образованием, или у них на работе курсы пройдены: –) А так бы, конечно, собрала бы и всей честной компанией на курсы: –) [Красота, здоровье, отдых: Медицина и здоровье (форум), 2005].* Таким образом, коннектор *а так* может оформлять противопоставление не только общего и частного, но и идеального и реального, причем позиции «идеальной» и «реальной» частей конструкции не закреплены. Значит, инвариант значения этой единицы – не в противопоставлении лишь частного и общего, а в более широкой сфере противопоставлений.

В своей статье «Местоименно-союзная скрепа *а так*: семантика и функционирование» мы обратили внимание на тот факт, что в одних случаях *а так* используется для противопоставления двух реальных или потенциальных ситуаций (такое употребление этой единицы мы назвали диктумным), в других – для противопоставления частного факта (или фактов) и общей оценки ситуации (модусное употребление), ср., с одной стороны: *Но судья решил: адвокат будет знакомиться с делом в свободное от заседаний время, а так будьте любезны немедленно защищать своего клиента.* [Беззащитная братва (2003), в: «Криминальная хроника», 2003.07.08] – здесь противопоставляются ситуации ‘знакомиться с делом’ и ‘защищать клиента’; с другой стороны: *Дожди... И так все лето. Отдыхающие злятся, скучают и проклинают себя, что туда поехали. А так город очарователен.* [Лидия Вертинская. Синяя птица любви, 2004] – здесь частные факты ‘дожди’ и ‘отдыхающие злятся’ противопоставляется общей оценке ситуации ‘город очарователен’. Это еще одно основание для классификации контекстов употребления коннектора *а так* (наряду с классификацией по характеру противопоставлений частное – общее и идеальное – реальное).

3. Интересной представляется роль коннектора *а так* в коммуникативном членении высказывания. Во многих случаях употребления этой единицы в письменных текстах после нее поставлено тире (как, в частности, в приведенном выше фрагменте воспоминаний Н. Павлович). Очевидно, оно обозначает паузу и (или) перепад тона. Немало и таких фрагментов, в которых после *а так* следует многоточие, т.е. пауза может затянуться, например: *Единственное, за что люблю зиму – быстро темнеет, и людей на улицах мало. А так... давно бы плюнул на все, уехал из Москвы, куда-нибудь в Ялту или в Сочи.* [Сергей Лукьяненко. Ночной дозор, 1998]. Такие факты отражения специфической интонации на письме говорят о тенденции к некоторой коммуникативной отделенности коннектора *а так* от последующей части высказывания.

Правда, в записях устной речи традиционный знак паузы (/) после *а так* встречается довольно редко. Вероятно, ситуация письменной речи располагает автора к тому, чтобы бессознательно стремиться отграничить сочетание *а так* в роли противопоставительного коннектора от других употреблений

союза *a* в соседстве с местоименным наречием *так*⁶. Но почему постановка тире вообще возможна? В указанной статье мы предположили, что коннектор *a так* выполняет в высказывании функцию темы, а следующий за ним противопоставляемый элемент играет роль ремы. Это предположение подтверждается возможностью присоединения к *a так* частицы *-то*, в результате чего возникает своеобразная модификация рассматриваемого коннектора – *a так-то*. В русской речи частица *-то*, как известно, всегда выделяет тему (см., напр., работу Т.М. Николаевой, с. 79). В основном корпусе НКРЯ обнаружилось 72 примера употребления единицы *a так-то*, в частности: – *Дамочка или барышня? – перебил Иван Дмитриевич. – На личико барышня, а так-то черт ее разберет!* [Леонид Юзефович. *Князь ветра, 2001*]. В перспективе будет целесообразно выделить в общей массе русских коннекторов такие, которые, наряду с *a так*, имеют обыкновение выступать в высказывании в роли темы, и определить факторы, способствующие их тематизации.

Интересны многочисленные случаи, когда говорящий отказывается от вербального продолжения высказывания после *a так*, заменяя его невербальным компонентом коммуникации типа *махнул рукой, пожал плечами, вздохнул* и т.п., например: *Какие там еще могут быть отношения? Ну, я с ним знакома, конечно. Ну, на днях рождения он бывает, потому что родственник, а так... – она пожалала плечами и презрительно повела ими. – Скажете еще: отношения! Было бы с кем!* [Н. Леонов, А. Макеев. *Эхо дефолта, 2000–2004*]. По предварительным наблюдениям, такие контексты характерны и для союза *но*, т.е. для еще одного средства выражения противопоставления. Ведут ли себя подобным образом союзы и их аналоги с другим значением (и какие факторы predisполагают их к такому поведению) – вопрос, требующий изучения.

4. Присоединением к коннектору *a так* частицы *-то* его модификации могут не ограничиться: он способен распасться на две части, каждая из которых «крепится» к своей части противительной конструкции, образуя двухместный коннектор *так-то... а*; при этом вместо союза *a* во второй части могут функционировать союзы *но* или *только* (при отсутствии в русских текстах коннекторов **но так* и **только так*). Ср. примеры: *Переезд – как два пожара, недаром говорится. Упаковка, упаковка. Так-то, посмотришь, вроде бы немного вещей... а тронешь – матушка святая!* [Андрей Волос. *Недвижимость, 2000 // Новый мир, № 1–2, 2001*]; *Так-то в город пройти можно запросто, особенно если пешком. Но не дай Бог заметят. Сразу охоту устроят, не убежишь.* [Олег Дивов. *Молодые и сильные выживут, 1998*]; *И стены у них не обоями обклеены / а покрашены / с рисунками. То есть так-то однородно выкрашены / только кое-где в качестве декоративных элементов рисунки такие интересные.* [Праздный разговор. *Из материалов Ульяновского университета, 2006*]. В этих случаях противопоставляется либо идеальное и реальное положение дел (как

⁶ Например, в таком контексте: ...последнее было сказано не мне, а так, между прочим. Я была никому не интересна. [Людмила Гурченко. *Аплодисменты, 1994–2003*]. В данном случае *так* является наречием, обозначающим «без особенной причины, надобности или без определенной цели, намерения»; это 3-е значение слова *так* в словаре под ред. А.П. Евгеньевой. После такого употребления сочетания *a так* пишущий вряд ли поставит тире (если, конечно, оно не требуется в контексте по другим причинам): к этому не располагает интонация.

в первом из трех приведенных примеров, ср. *вроде бы*), либо общая оценка ситуации, «общее правило» (по М.В. Ляпон) и факт, противоречащий этой общей оценке, ограничивающий ее (в двух других примерах). Интересно, что *так-то* оказывается привязанным к части, называющей общее правило, – в данном случае это первая часть конструкции. Считать двухместный коннектор *так-то...а/но/только* вариантом коннектора *а так(-то)* позволяет установленное нами (во всяком случае, в первом приближении) семантическое тождество при экспериментальной перестановке частей конструкции: **...тронешь [вещи] – матушка святая! А так, посмотришь, вроде бы немного вещей...; *Не дай Бог заметят. Сразу охоту устроят, не убежишь. А так в город пройти можно запросто, особенно если пешком; *И стены у них не обоями обклеены / а покрашены / с рисунками. То есть кое-где в качестве декоративных элементов рисунки такие интересные. А так / однородно выкрашены.*

Трансформация *а так(-то)* в *так-то...а/но/только* показывает, насколько гибким инструментом противопоставления является этот коннектор. В противительных конструкциях, как отмечает В.З. Санников, две противопоставляемые части неравноценны: более важным, «решающим для описываемой ситуации» является второй компонент, полностью нейтрализующий (в случае с союзом *но*) или немного ослабляющий (в случае с союзом *только*) значимость первого («Русские сочинительные конструкции», с. 151–152, 179–180). Говорящий, выбирая, какой аспект ситуации в данных условиях речевого общения⁷ для него более важен (общая оценка – частный факт; идеальное – реальное положение дел), может использовать рассматриваемый нами коннектор либо в варианте *а так(-то)*, либо в варианте *так-то... а/но/только*.

Представляется, что описание семантики и условий употребления коннектора *а так* обогатит наши представления о русских противопоставительных конструкциях и в целом – о средствах связи частей русского сложного предложения и русского текста.

Литература

- Дискурсивные слова русского языка: опыт контекстно-семантического описания, ред. К. Киселева, Д. Пайар, Москва 1998.
- Кибрик А.А., *Модус, жанр и другие параметры классификации дискурсов*, «Вопросы языкознания» 2009, № 2, с. 3–21.
- Кузнецова Н.В., *Местоименно-союзная скрепа а так: семантика и функционирование*, «Вестник Тюменского государственного университета» 2011, № 1, Филология, с. 160–166.
- Николаева Т.М., *Функции частиц в высказывании (на материале славянских языков)*, Москва 2005.
- Объяснительный словарь русского языка: Структурные слова: предлоги, союзы, частицы, междометия, вводные слова, местоимения, числительные, связочные глаголы: Ок. 1200 единиц, ред. В.В. Морковкин, Москва 2003.
- Подлеская В.И., Кибрик А.А., *Дискурсивные маркеры в структуре устного рассказа: опыт корпусного исследования*, Материалы международной конференции «Диалог 2009», <http://www.dialog-21.ru/dialog2009/materials/html/60.htm>.

⁷ В данный момент, с данным собеседником и т.д.

Рогожникова Р.П., *Толковый словарь сочетаний, эквивалентных слову: Ок. 1500 устойчивых сочетаний русского языка*, Москва 2003.

Русская грамматика, Москва 1982.

Санников В.З., *Русские сочинительные конструкции: Семантика. Прагматика. Синтаксис*, Москва 1989.

Словарь русского языка: В 4-х томах, т. 4, ред. А.П. Евгеньева, Москва 1984.

Черемисина М.И., Колосова Т.А., *Очерки по теории сложного предложения*, Новосибирск 1987.

Шмелева Т.В., *Техника сложного предложения*, [в:] *Лингвистические идеи В.А. Белошапковой и их воплощение в современной русистике: коллективная монография*, Тюмень 2010, с. 116–132.

Об одном малоизученном противопоставительном коннекторе в современной русской речи

Резюме

В статье поставлена проблема описания русского противопоставительного коннектора *а так*. Предложены подходы к классификации контекстов употребления этого коннектора, отмечена его роль в актуальном членении высказывания, представлены наблюдения над его модификациями в тексте.

Ключевые слова: русский язык, сложное предложение, противопоставление, текст, коннектор, актуальное членение высказывания

On a little-studied contrast connector in the modern Russian language

Abstract

The article presents the problem of description of the Russian contrapositive connector *a так*. Different approaches to the classification of contexts for this connector are proposed, its role in the functional structure of a sentence is noted, and observations of its modifications in a text are presented.

Key words: Russian, complex sentence, contraposition, text, connector, functional structure of a sentence

Наталья Кузнецова
Тюменский государственный университет
Кафедра русского языка
e-mail: otrofim@rambler.ru
+7-3452 462087

Наталья Николаина

Наречия – инновации в современной художественной речи

Развитие класса наречий в современном русском языке характеризуется их семантической и функциональной специализацией. «С 70-х годов XIX в. адverbиальная сфера, функционировавшая на началах свободного варьирования, подвергается кардинальным преобразованиям»¹. Происходит перераспределение словообразовательных моделей в подсистеме наречий, соотносящихся с разными семантическими классами прилагательных, возрастает продуктивность отадъективных наречий с суффиксом *-о*, получает распространение образование наречий от причастий (*волнующе, ошеломляюще, гнетуще, отупляюще* и др.), активизируются префиксально-суффиксальные наречия, среди них наречия, мотивированные именами собственными, в частности антропонимами и топонимами (*по-бунински, по-ельцински, по-македонски, по-шаляпински* и др.). С 90-х гг. XX в. расширяется употребление в письменной речи наречий-жаргонизмов и сленгизмов (*глухо, беспонтово, забойно, клёво, прикольно, по-быстрому* и т.п.). В современной русской речи «актуальный характер наречной единицы ... детерминирован социокультурной значимостью того сектора смыслового и информационного пространства, с которым она соотносится»²; см. появление таких наречий, как *звёздно, лицензионно, по-единоросски, концептуально, креативно, цивилизованно, противоположно, по-рыночному, по-хакерски, эксклюзивно*.

Активные процессы в наречной системе отражаются в художественной речи, в которой заметно возросло число наречий-инноваций (потенциальных слов и узуальных наречий, расширяющих сочетаемость и развивающих новое значение). В свою очередь для художественной речи характерны особые модели образования и употребления наречий, обнаруживающие высокую степень динамики в XX веке. Таким образом, рассмотрение наречий-инноваций позволяет выявить, с одной стороны, тенденции развития наречной системы

¹ А.Б. Пеньковский, *Очерки по русской семантике*, Москва 2004, с. 288.

² Л.А. Савелова, *Аспекты прагмасемантического описания системы русского наречия*, Архангельск 2009, с. 50.

в целом, с другой, проследить активные процессы в современной художественной речи.

В современной поэтической речи прежде всего высокопродуктивны наречия со сравнительно-уподобительным значением, пополняющие репертуар образных средств; см., например:

*Стиснув реками виски,
Староярмарочно дремлют
Камни, купола и кремли
Невысоки и низки*
(А. Зеленова);

Раньше буйвольски хотелось анархий...
(А. Логвинова);

*Но знаю, что ад отстраненный
В силах пригнуть по-рысьи.*
(С. Стратановский).

Для выражения сравнительных отношений используются разные словообразовательные модели: это производные с аффиксами *по... -и*, *по...-ому*, *...-о(е)*, *...-и*, сложносуффиксальные образования. Ср., например:

Славянски выступают скулы высоко
(Ф. Гринберг);

*Трепещет белье на веревках осенних,
Сорвется ли вниз или ввысь птицекрыло...*
(Н. Делаланд);

*И – все забуду, буду лишь с азартом
Кукушечьи рассказывать, что «ку»...*
(Н. Делаланд).

Компаративные наречия служат средством свертывания образной параллели и реализуют компрессивную функцию, при этом выражаемые ими отношения в современных текстах усложняются. Сравним два примера из стихотворений Н. Делаланд:

1) *...Дождь
семероного танцует в фонтане;*

2) *...скрипит калитка
монолитно, старушнoдетски
из избы бы выйти...*

В первом случае олицетворение основано на сочетании предиката – метафоры *танцует* со сравнительно-уподобительным наречием, которое создает образ живого существа, наделенного множеством ног. Основа собирательно-числительного *семер-* при этом актуализирует семантику одушевленности. Образная параллель в этом контексте достаточно прозрачна.

Во втором случае уже возможны разные интерпретации наречия *старушондетски* и его синтаксических связей в тексте. Перед нами окказионализм с внешней оксюморонностью построения и семантикой соединения, которая осложняется рядом ассоциативных смыслов.

Расширение круга наречий со сравнительно-уподобительным значением в настоящее время характерно не только для художественной речи, но и для языка СМИ, в котором особенно активны производные с суффиксом *-о*; см., например:

*Наши рубильники... свет вырубают **всерно** (АиФ, 2003, № 34); По эту сторону границы там и сям **бегемотно** темнела боевая техника («Знамя», 1996, № 7).*

Актуализация таких наречий с присущим им расхождением формальной и семантической производности³ свидетельствует об усилении в современном русском языке роли «чересступенчатого словообразования» и одновременно – об углублении тенденции к повышению семантической емкости наречий, постоянно коррелирующих не только с именами прилагательными, но и с существительными, регулярно выступающими в качестве образа сравнения.

Параллельно в художественной речи сохраняется продуктивность качественных наречий с суффиксом *-о*, вступающих в предложении в двойные синтаксические связи и называющих не столько признак действия (состояния), сколько признак предмета (лица). См., например:

*Так сидит старшекласница меж подружек,
бледна
чем полна **большеглазо** – не расскажет она
(А. Вознесенский);*

*Блесни **белозубо** со сцены
(Е. Евтушенко);
«Лейтенант!» – кто-то крикнет,
щекой припадая **шершаво**...
(О. Николаева);*

[Инвалид]
*Трогает **слепо** шершавый забор и поет
(А. Арканова).*

Такое метонимическое употребление наречий было широко распространено в русской поэзии и прозе начала XX в. (см., например, произведения

³ Е.А. Земская, *Современный русский язык. Словообразование*, Москва 1973.

И. Бунина, Е. Замятина, И. Шмелева и др.), затем активность подобных образований несколько снизилась, в настоящее время их число в поэтических текстах вновь заметно растет.

Потенциальные наречия этого типа, а также наречия на *-о* со значением сравнения образуются в современной речи от основ имен прилагательных разных лексико-грамматических разрядов, в том числе относительных, в результате преодолевается «лакунарность общезыковой системы»⁴ и усиливается семантическая асимметрия наречия и прилагательного; см., например:

*Надоело жить **очерково***
(А. Вознесенский);

*Когда я встретил Вл. Соколова,
он шел порывисто, **высоколобо**...*
(Е. Евтушенко);

*Легкошаго, **ноябристо***
Я иду к тебе по мыслям
(Н. Делаланд);

*На прогулке встречая
мы тебе улыбнемся **невзросло***
(С. Стратановский).

Активизировавшиеся в современной речи наречия со сравнительно-уподобительным значением «подобно кому/чему-либо», «так, как свойственно кому/чему-либо» регулярно проникают в современные поэтические тексты и служат образцом для новообразований, при этом уподобительное значение может осложняться отождествительным, орудийным, несобственно сравнительным («в качестве») значением; см., например:

***клавиатурно** выражаясь
алеаторно говоря
уходит ребрами дрожа язь
ту-тур-ля-ля, ту-тур-ля-ля.*
(Е. Сунцова).

«Центром объединения всех производящих основ качественных и качественно-обстоятельственных наречий»⁵ по-прежнему остается словообразовательная модель *по...-ому/ему*, которая сохраняет эту позицию с конца XIX века. Из разговорной речи и жаргонов в художественную речь в настоящее время активно вторгаются наречия типа *по-быстрому*, *по-честному*, развивающие значения способа действия. См., например:

⁴ Л.А. Савелова, указ. соч., с. 83.

⁵ О.П. Ермакова, *Изменения в системе словообразования наречий*, [в:] *Глагол, наречие, предлоги и союзы в русском литературном языке XIX века*, Москва 1964, с. 224.

*А не то, наверное. заново
Жить придется **по-страшному**
в декорациях прежних*
(С. Стратановский);

*Выходи, а то будет **по-плохому***
(Е. Фанайлова).

Продуктивность таких наречий отражает углубляющийся процесс семантической дифференциации суффиксальных наречий на *-о* (как правило, качественных) и наречий префиксально-суффиксальных, близких им по значению; ср.: *быстро* – *по-быстрому*, *страшно* – *по-страшному*, *честно* – *по-честному*. Развитие образований по модели *по...-ому/ему* свидетельствует о тенденции к последовательному разграничению значений качественной характеристики, образа действия и способа действия, о стремлении к их нюансировке.

В современной поэтической речи встречаются как потенциальные, так и окказиональные наречия. Последние часто характеризуются чересступенчатым образованием – «пропуском» непосредственно производящего прилагательного, которое отсутствует в языке; см., например:

*И я вижу **непрощательно**
пепел множества людей...*
(Е. Евтушенко);

*Как пахнет смерть? Как страх свободы слова,
пред-выстрельно,
пред-ядно,
пред-свинцово...*
(Е. Евтушенко);

*Тихово
верхнево*
(А. Монастырский).

Для современного русского словообразования характерно интенсивное образование сложений разных типов. Эта тенденция проявляется и в современной художественной речи, где многие наречия-инновации представляют собой сложения или сращения.

*...Ничем не поводит, не дрогнет крылом,
Но смотрит **спокойно-хитро***
(Е. Шварц);

*У нас так **дачно-прозрачно...***
(Н. Азарова);

*Наш хахаль **парадно-похоронно** одет
(Фигль-Мигль);*

*Марина Мнишек с обложки... смотрела... **жемчужно-ласково**.
(В. Орлов).*

Среди сложных наречий особо выделяются наречия, образованные телескопией:

*Зато по четвергам нам **мангрустно**
(А. Логвинова);*

***Тебережно** дыханьем по венам ищу слабое место
(М. Котов);*

*Не мог бы ты со мной еще **немгубо**,
немруко и немного здесь побыть
(А. Логвинова).*

Рост числа телескопических (или контаминированных) наречий – сигнал расширения деривационного потенциала этого способа словообразования в современной речи в целом.

Другим активным процессом, характерным для языка современной поэзии, является интенсивное образование новых предикативных наречий, в другой трактовке – слов категории состояния), обозначающих пассивные неволевые состояния и эмоции; см., например:

*Ты не шей, в сарафане здесь было б **зимно**
(Л. Щиголь);*

*Еще темно и так **сонливо**,
что говорить невозможно
(А. Кабанов);*

***Пепельно** и на душе – **богодельно**
(А. Кабанов);
Что-то **дамоклово** в воздухе слева
(И. Сид).*

Состав предикативов состояния пополняется:

– за счет семантической трансформации качественных по значению слов в стальные: *Инспектор терял бдительность. Было **коричнево***. (У. Гамаюн);

– за счет суффиксального словопроизводства: *Так **муслимно** на душе, хоть иди в супермаркет* (В. Костельман); *Мне стыдно, **кромешно**, страшно...* (А. Кабанов).

При этом в современной поэтической речи все чаще возникают контексты, в которых нейтрализуются различия между качественными наречиями

и предикативами состояния и возможны разные интерпретации адвербиальных образований; см., например:

*в воронках ночь по локоть
барочно арочно строчно и очень камерно
все пили заживо за жизнь*
(Н. Азарова);

Ср. также: *мощен маяк
нещадно
больш
окаянно
маяково
ново
поветренно*
(Н. Азарова).

Факты такой нейтрализации – дополнительный аргумент, подтверждающий особое синтаксическое употребление слов со значением состояния в составе именно наречий. Бурное развитие этого класса слов характерно в настоящее время и для разговорной речи, и для языка СМИ. Таким образом, активно пополняются средства выражения разных аспектов инволютивных эмоций.

Как уже отмечалось, к наречиям-инновациям можно отнести не только наречия-новообразования, но и наречия, которые в современной поэтической речи резко расширяют или меняют сочетаемость и в результате приобретают новое значение; см., например:

*В черном гнусном теле
Навзрыд они (мухи) летели*
(Е. Шварц);

*...И сравниваешь,
И захлеб цветешь*
(В. Ширали);

Неслыханным приходит время жить
(А. Прокопьев).

«Явную тенденцию к расширению объема значения, проявляемую в свободной сочетаемости, обнаруживают наречия со значением интенсивности»⁶. Этот процесс соотносится с общим ростом числа наречий степени и меры в современной речи. Их состав регулярно пополняется за счет привлечения жаргонных и просторечных слов и, как мы видим, за счет семантической деривации и словопроизводства; см., например:

⁶ Л.В. Зубова, *Современная русская поэзия в контексте языка*, Москва 2000, с. 179.

*Но я любил – пуская **чуть-чутьно**
пускай хоть краешком души*
(Е. Евтушенко).

Итак, в современной художественной речи отражаются тенденции развития адвербиальной системы, характерные для русского языка в целом. Это прежде всего пополнение класса предикативов состояния, углубление семантической дифференциации наречий разных моделей, высокая продуктивность сложных наречий и наречий со сравнительно-уподобительным значением. Наречия-инновации регулярно используются в современных поэтических текстах как способ обновления образных средств и компрессии развернутых обозначений. Особую активность проявляют отадекватные образования, которые мотивируются разными разрядами прилагательных. Круг производящих основ при этом расширяется, одновременно усиливается и семантическая асимметрия наречий и прилагательного.

Литература

- Ермакова О.П., *Изменения в системе словообразования наречий*, [в:] *Глагол, наречие, предлоги и союзы в русском литературном языке XIX века*, Москва 1964.
- Земская Е.А., *Современный русский язык. Словообразование*, Москва 1973.
- Зубова Л.В., *Современная русская поэзия в контексте языка*, Москва 2000.
- Пеньковский А.Б., *Очерки по русской семантике*, Москва 2004.
- Савелова Л.А., *Аспекты прагмасемантического описания системы русского наречия*, Архангельск 2009.

Наречия – инновации в современной художественной речи

Резюме

В статье рассматриваются тенденции употребления наречий в современной русской художественной речи, особое внимание уделяется наречиям-инновациям – потенциальным и окказиональным словам, создаваемым разными способами. Эти наречия отражают общее направление развития адвербиальной системы современного русского языка и служат способом пополнения и обновления образных средств в художественных текстах.

Innowacje przysłówkowe we współczesnym języku rosyjskim

Streszczenie

W artykule przeanalizowano pewne tendencje przejawiające się w użyciu przysłówków we współczesnym rosyjskim języku literackim. Skoncentrowano się głównie na ich nowatorskim charakterze, potencjale i okolicznościach powstawania. Formacje te odzwierciedlają bowiem określony kierunek rozwoju systemu przysłówkowego współczesnej rosyjszczyzny, a równocześnie uzupełniają i uaktualniają zasób środków wyrazu w tekstach literatury pięknej.

Słowa kluczowe: przysłówki, innowacja, derywacja, modernistyczna poezja rosyjska, porównanie, kontaminacja, kategoria stanu

Adverbs – an innovation in the modern literary language

Abstract

The topic of this article is the tendency to use adverbs in modern Russian art speech. Special attention is paid to adverb-innovations: to the potential and occasional words created in different ways. These adverbs reflect the general direction of the adverb system development in modern Russian and serve as the means of replenishing and updating the figurative devices in art texts.

Key words: adverb, innovation, derivation, modern Russian poetry, comparison, contamination, category of state

Наталья Николина
Московский Педагогический университет
Кафедра русского языка
кандидат филологических наук

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis

Studia Russologica V (2012)

Joanna Rybarczyk-Dyjewska

Wschodniosłowiańska stomatologia ludowa

Współcześnie wszędzie spotykamy się ze zjawiskiem kultu ciała. W mediach ciało ludzkie ukazywane jest jako rzecz, coś, czemu należy oddawać cześć. Atrakcyjność fizyczna, która dawniej była atutem, dzisiaj wydaje się być obowiązkiem. Piękny i zdrowy wygląd coraz częściej utożsamiany jest z miłym i wzbudzającym zaufanie człowiekiem. Jednym z elementów pozytywnego wizerunku, jaki gwarantuje dobre samopoczucie i pewność siebie jest ładny uśmiech. Niestety, niewiele osób może pochwalić się mlecznobiałymi, niebudzącymi żadnych zastrzeżeń zębami. Schorzenia zębów i dziąseł dotykają osoby w każdym wieku. Dlatego dbałość o uzębienie – ważna nie tylko ze względów estetycznych, ale także zdrowotnych – jest aktualnie powszechna. Troska o stan jamy ustnej towarzyszyła ludziom również w dawnych czasach, kiedy stomatologia nie była jeszcze rozwinięta, a ewentualne leczenie najczęściej ograniczało się do zabiegów o charakterze magicznym¹.

Celem niniejszego artykułu jest przybliżenie kilku kwestii związanych ze wschodniosłowiańską stomatologią ludową: profilaktyką i sposobami leczenia zębów. Jako materiał do poniższych rozważań wykorzystuję słowniki etnolingwistyczne (*Славянские древности. Этнолингвистический словарь в 5 томах; Дом Сварога. Русский языческий проект: Словарь; Etnologiczny atlas ciała ludzkiego i chorób; Kultura magiczna. Omen, przesąd, znaczenie*), źródła etnograficzne dotyczące słowiańskiej medycyny ludowej (*Lecznictwo ludu polskiego; Przyczynek do lecznictwa ludowego; Zarysy lecznictwa ludowego na Rusi południowej*) oraz zbiory wschodniosłowiańskich tekstów magicznych (*Русские заговоры и заклинания. Материалы фольклорных экспедиций 1953–1993 гг.; Великорусские заклинания; Заговоры, заклинания, обереги и другие виды народного врачевания, основанные на вере в силу слова; Сборник малороссийских заклинаний; Замовы, уклад, систэм. тэкстаў, уступ. арт. і камент. Г.А. Барташэвіч; Замовы, уклад: У.А. Васілевч, Л.М. Салавей*)².

¹ Nie mniej jednak kulturze ludowej nie jest obce postrzeganie zębów przez pryzmat estetyki. Lud polski bowiem (np. Lasowiaczy) za ładne u kobiet uważał zęby drobne. Człowiek z zębami rzadkimi, a szczególnie ze szparą między siekaczami, uważany był za zalotnego: A. Paluch, *Etnologiczny atlas ciała ludzkiego i chorób*, Wrocław 1995, s. 127 [dalej AE].

² *Славянские древности. Этнолингвистический словарь в 5 томах*, под общей ред. Н.И. Толстого, т. 1–4, Москва 1995–2009 [dalej CC]; *Дом Сварога. Русский языческий*

Ząbkowanie

Według słowiańskiego przekonania ludowego zęby pozostawały w ścisłym związku z pojęciem siły życiowej, podobnie jak włosy czy paznokcie. Dlatego też powszechna była troska o to, aby dzieciom zęby stałe pojawiały się w sposób możliwie najmniej uciążliwy oraz, aby rosły zdrowe i mocne. O dobrą kondycję zębów swoich dzieci kobiety zabiegały jeszcze przed ich narodzeniem, w okresie ciąży. Przyszłe matki zobowiązane były stosować się do wyznaczonych nakazów i zakazów, których nieprzestrzeganie mogło mieć negatywne skutki dla rozwijającego się w ich łonie dziecka. Ciężarnej nie wolno było np. wyrzucać zęba, gdyż – jak wierzono – dziecko będzie odczuwało nieprzerwany ból własnych zębów, zakazane było jedzenie mięsa z owczej głowy, co mogło doprowadzić do tego, że zęby staną się czarne. Po przyjściu dziecka na świat kodeks odpowiednich zachowań obowiązywał także ludzi z najbliższego otoczenia noworodka. Pojawienie się zdrowych i mocnych zębów gwarantowało przyłożenie do policzka maleństwa kawałka upieczonego w dzień narodzin chleba. Ponadto w dniu chrztu rodzice i chrzestni nie powinni jeść, pić, ani palić. Wskazane było również, aby podczas rozmowy o nowonarodzonym nigdy (aż do czasu ząbkowania) nie wspominać o jego zębach³.

Wyrzynanie się pierwszych zębów u dzieci następuje w okresie niemowlęcym, który trwa zwykle do pierwszego roku życia. Nie jest to czas łatwy ani dla dziecka ani dla rodziców czy ewentualnego rodzeństwa. Pojawienie się pierwszych zębów, jak wszystko, co początkowe, jest procesem bolesnym i nacechowanym znaczeniowo. Wiąże się z nim sporo przestróg, obserwacji i prognoz. Za dobrą wróżbę uważano sytuację, kiedy dziecko zaczynało ząbkować przed ukończeniem pierwszego roku życia i gdy ząbkowanie rozpoczynało się od zębów dolnych. Dawało to pewność, że niemowlak rośnie prawidłowo, ku górze. Jeżeli pierwszy wyrósł ząbek u góry, świadczyło to o związku dziecka z upiorami i wróżyło trudności w jego wychowywaniu. Złym znakiem było również przyjście dziecka na świat z zębami – przesądzało to o jego krótkim życiu oraz o tym, iż po śmierci stanie się ono upiorem, strzygoniem. Wierzono także, że dziecko, które urodziło się z dwoma rzędami zębów,

проект: *Словарь* (<http://pagan.ru/?cmd=main&dir=/>) [dalej DC]; AE; P. Kowalski, *Kultura magiczna. Omen, przesąd, znaczenie*, Warszawa 2007 [dalej KM]; H. Biegeleisen, *Lecznictwo ludu polskiego*, „Prace Komisji Etnograficznej Polskiej Akademii Umiejętności”, nr 12, Kraków 1929 [dalej LLP]; F. Werenko, *Przyczynek do lecnictwa ludowego*, [w:] *Материалы Антропологично-Артеологичне і Етнографичне wydane staraniem Komisji Antropologicznej Akademii Umiejętności w Krakowie*, t. 1, Kraków 1896, s. 99–228 [dalej PLL]; J. Talko-Hryncewicz, *Zarys lecnictwa ludowego na Rusi południowej*, Kraków 1893 [dalej ZLL]; *Русские заговоры и заклинания. Материалы фольклорных экспедиций 1953–1993 гг.*, под ред. проф. В.П. Аникина, Москва 1998 [dalej P33]; Л.Н. Майков, *Великорусские заклинания*, послесл., примеч. и подгот. текста А.К. Байбурина, издание 2-е, исправл. и доп., Санкт-Петербург 1994 [dalej B3]; А. Ветухов, *Заговоры, заклинания, обереги и другие виды народного врачевания, основанные на вере в силу слова (Из истории мысли)*, вып. I–II, Варшава 1907 [dalej 330]; *Сборник малороссийских заклинаний*, составил П.С. Ефименко, Москва 1874 [dalej M3]; *Замовы*, уклад., сістэм. тэкстаў, уступ. арт. і камент.: Г.А. Барташэвіч, Мінск 2000 [dalej B32000]; *Замовы*, уклад.: У.А. Васілевч, Л.М. Салавей; уступ. арт.: Л.М. Салавей, Мінск 2009 [dalej B32009].

³ В.В. Усачева, *Зубы*, [w:] CC, t. 2, s. 359–362.

będzie co prawda mądre i silne, lecz po śmierci stanie się wampirem⁴. J. Talko-Hrynczewicz – badacz dawnej kultury ukraińskiej – o trudnym dla dziecka i domowników czasie ząbkowanie pisze „najprzeróżniejsze symptomata chorób, jeżeli tylko wiek dzieci temu odpowiada, przypisuje lud jeżeli nie glistom, to zazwyczaj ząbkowaniu, a leczenie tych chorób zasadza na ułatwieniu przerywania się ząbków. W tym celu matka nie powinna zaglądać często dziecku do ust podczas wyrzynania się ząbków, bo to utrudnia ten proces. Powszechne było także kilkakrotne w ciągu dnia smarowanie dziąseł krwią upuszczoną z grzebyka kurzego, mózgiem zajęczym, miodem, monetą. Ulgę też miały przynieść kąpiele w chmielu, jak również bardziej magiczne (sympatyczne) sposoby pomocy dziecku, tj. przewiązywanie rączki czerwona wstążką”⁵. Z kolei F. Wereńko notuje, iż na terenach pogranicza polsko-białoruskiego popularne było wieszanie na dziecięcej szyi zębów zwierzęcych (wilka lub zająca), kamienia z żołądka raka, czy woreczka z proszkiem ze startej głowy myszy. Ponadto, aby zęby pojawiły się lekko i szybko, matka wrzucała dziecku do kąpielii proso. Autor zapisał także, że „radzą, aby przy dużym ślinieniu się dziecka wytrzeć mu jamę ustną kocim ogonem”⁶.

Oczekiwanie na pierwszy ząb u nowego członka rodziny było czasem niecierpliwości, a jego pojawienie się zwykle stanowiło ważne wydarzenie. Matka dziecka wykorzystywała pierwszy ząb w procedurach magicznych służących temu, aby kolejne zęby były zdrowe, mocne i ładne. Z tym zamiarem smarowała go mlekiem z piersi, stuknęła po nim srebrną monetą lub kawałkiem żelaza. Z kolei obcym ludziom nie wolno było patrzeć na nowy ząbek, aby go nie urzec⁷.

Utrata mlecznych zębów

W kulturze ludowej momentem równie ważnym jak ukazanie się pierwszych zębów była ich utrata, oznaczająca, że mały człowiek osiągnął kolejny etap w rozwoju. O dziecku w wieku poniżej pięciu lat przyjęto mówić „у него еще зубы не сменились”, natomiast, kiedy mówiono „у него уже давно сменились зубы”, myślno nie o maleństwie, ale już o chłopcu lub dziewczynce. Zmiana zębów mlecznych na stałe była również obwarowana licznymi magicznymi nakazami i zakazami, których respektowanie zapewniało pomyślność tego procesu. Stąd też – jak podkreślają etnografowie – zwykle zachowywano pierwszy utracony przez dziecko ząb (pilnowano, aby nie zaginął) i np. zawieszano go na zdrowym drzewie, by również

⁴ AE, s. 127–128. Śląskie przesady związane z ząbkowaniem pokazują, że dla tamtejszego (XIX-wiecznego) ludu dużą wartość przedstawiała zdolność uczenia się. Toteż, jeśli dziecku ząbki wyrzywały się dopiero po ukończeniu roku, obawiano się, że będzie ono miało wielkie trudności w nauce i winno się starać o taki zawód, który nie wymaga pracy głową: D. Simonides, *Od kolebki do grobu. Śląskie wierzenia, zwyczaje i obrzędy rodzinne w XIX wieku*, Opole 1988, s. 65.

⁵ ZLL, s. 112–113.

⁶ PLL, s. 133.

⁷ В.В. Усачева, *Зубы*, [w:] CC, t. 2, s. 361. Na Śląsku od końca XIX w. znana jest także tradycja kupowania (najczęściej przez ojca) prezentów w dniu pojawienia się pierwszego ząbka. Dziecko otrzymywało buciki a matka – nową suknię: D. Simonides, *Od kolebki do grobu...*, s. 65.

zęby były zdrowe lub wrzucano do rzeki, po to, aby kolejne zęby pojawiły się tak szybko jak płynie w niej woda⁸.

Wśród Słowian wschodnich najpopularniejszym zabiegiem magicznym zapewniającym dziecku zdrowe i ładne zęby stało zwrócenie się z prośbą do zwierząt lub duchów domowych. Formule słownej najczęściej towarzyszyło rzucenie zęba na podłogę (często w okolice pieca) lub na strych. Z analizowanych źródeł wynika, że najczęściej zwracano się do myszy, która według wierzeń ludowych znajduje się w jakimś szczególnym związku z ludzkimi zębami. Powszechnie było przekonanie, że jeśli myszy zjedzą niesprzątnięte resztki kolacji, to gospodarza zaczną boleć zęby. I odwrotnie – na ból zęba stosowano chleb lub ser nadgryziony przez myszy⁹. Mysze „wręczano” (wskazuje na to zwrot ekspresywny **masz/ на**) ząb mleczny i proszono ją, aby dała ząb stały: *Когда у ребенка зуб упадет, надо было мышонку бросать, чтобы крепкий зуб принес: На тебе, мышка, камневый зуб, а дай мне костяной* [P33, №545]; *Если у кого выпадет зуб, то для того, чтобы новый зуб был крепче выпавшего, выпавший зуб бросают через голову, на чердак, со словами Мышка, мышка, на тебе зуб костяной, а мене дай залызный* [МЗ, №25]; *Калі выпаў зуб, каб вырас новы, добры зуб, кажуць: Мышка, мышка, на табе залатой, а мене дай прастой. Пакруціць стары зуб 3 разы вакол галавы і кінуць за печ* [БЗ2009, №1876].

Niektóre teksty, adresowane do myszy, uzasadniają konieczność posiadania przez dziecko stałych zębów. Będzie ono ich potrzebować do jedzenia twardych pokarmów: *Мышка, мышка, на тебе зубок трепяной, а дай мне костяной. Тебе кашку исть, а мне костки грызть* [P33, №541]; *Мышка, на табе зуб лубяны, а мене дай касцяны. Табе луб грысці, а мене хлеб есці* [БЗ2009, №1897].

W białoruskim zbiorze znajduje się także (stosowany nie tylko w przypadku utraty zęba mlecznego, ale również ekstrakcji) zwrot do byka: *Калі выпадае зуб. Калі вырвецца зуб, яго трэба кінуць на печ і сказаць: Быська¹⁰-лабыська, на табе лубяны, а дай мне касцяны* [БЗ2009, №1875].

Z podobną prośbą zwracano się także do opiekuna domostwa – ducha domowego¹¹: *Домового зазывали, когда зуб выпадает. Нужно взять выпавший*

⁸ В.В. Усачева, *Зубы*, [w:] СС, т. 2, s. 361; ZLL, s. 112.

⁹ Polski etnograf na Lubelszczyźnie zapisał „przeciw bolącym zębom chleb nadgryziony przez mysz: a jak mysa by wygryzła dziurkę w chlebie, nie odkrajaj, bo zamby cie nie bedy bolały. Nie odkrajaowało się po mysie. Zjadło się wszystko. Takie było”: J. Adamowski, *Lubelskie przekazy o zachowaniach magicznych*, „Etnolingwistyka”, nr 13, pod red. J. Bartmińskiego, Lublin 2001, s. 251. W jednym z rosyjskich tekstów leczniczych obecny jest komentarz: *Повторяется над объединенным мышью куском хлеба три раза. Потом этот кусок надо съесть* [P33, №1456]. J. Talko-Hryncewicz także notuje „jeśli jeść coś, co było nadgryzione przez myszy to zęby będą zdrowe i mocne”: ZLL, s. 350–351.

¹⁰ Бостись, бостися – „Наш бысько почал бостися”: *Словарь русских народных говоров*, выпуск 3 (Блажнишка-Бяшутка), гл. ред. Ф.П. Филин, Ленинград 1968, s. 127; Бысенька – уменьш.-ласк. к бык: тамże, s. 349.

¹¹ Duch domowy, opiekun domu i jego mieszkańców (Домовой) to postać występująca pod różnymi nazwami wszędzie tam, gdzie żyją ludzie. Do niego zwracano się z prośbami o zapewnienie dostatku, radości, pomyślności w życiu rodzinnym. Wierzono, że taki duch (najczęściej wyobrażano go sobie jako postać podobną do gospodarza) wraz ze swoją rodziną mieszka w każdym domu (zwykle za piecem, w piwnicy, na strychu, lub pod progiem) po

зуб в руки, сесть перед печкой и сказать: *Дедушка домовой! На тебе репяной, а мне дай костяной* [P33, №526].

Leczenie zębów

Ból, choroby zębów oraz dziąseł były niewątpliwie jedną z najczęstszych i najbardziej uciążliwych dolegliwości, jakie trapiły lud w dawnych czasach. Dlatego też – jak podkreśla badaczka wschodniosłowiańskich magicznych tekstów leczniczych – zaklęcia od bólu zębów stanowią jedną z najliczniejszych (obok przekazów od uroku i krwotoku) grup¹².

Słowianie wschodni mniemali, iż najczęstszym powodem bólu zębów były obecne w nich drobne robaczki, które podjadały ząb i powodowały jego wyniszczenie¹³. A. Wietuchow zauważa, że celem wszystkich „zaklęć zębowych” jest unicestwienie istoty, która zagnieżdżyła się w zębie i męczy człowieka. Istota ta – początkowo nieokreślona – z czasem przyjmowała postać robaka wiercącego w zębie. Pogląd taki znany był także w kręgach ludzi wykształconych i znajdujących się na wyższym poziomie kulturowym, co miało pewne uzasadnienie logiczne: podczas leczenia zęba usuwa się nerw, który ma postać „żyłki” podobnej do cienkiego robaka. Stąd leczenie dolegliwości jamy ustnej polegało przede wszystkim na pozbyciu się tego wroga różnymi sposobami: komunikatami słownymi, poprzez zastosowanie wybranych roślin, wody itd.¹⁴. Na obecne w zębie robaki, które były domniemanymi sprawcami bólu wskazują również teksty, zanotowane przez W.P. Anikina wchodzące w skład przekazów „od bólu zębów”: *червь ты, червь, зубнатый червь, не точи, не верти* [P33, №1455]. Mieszkańcy terenów dawnej Rusi południowej przyczynę bólu zębów upatrywali także w nadmiernym spożywaniu słodyczy. Ponadto dość powszechne na tych terenach było przeświadczenie, iż ból zębów pojawia się jako konsekwencja przeziębienia (fluksji)¹⁵. Oprócz tego zarówno lud polski, jak i ruski, wierzył, iż bólu zębów można nabawić się także poprzez ugryzienie nitki podczas szycia ubrania dla nieboszczyka, czy też otwieranie ust w obecności ropuchy¹⁶.

Bołące zęby usuwano w ostateczności, przedtem starano się uśmierzyć ból różnymi sposobami – stosowanymi zewnętrznie środkami pochodzenia roślinnego oraz formułami magicznymi. Przekazy etnograficzne pokazują, że powszechnym

to, aby opiekować się domownikami: O.A. Черепанова, *Мифологическая лексика русского Севера*, Ленинград 1983, s. 23–24. O duchu domowym (домовик, доможил, сусед, дворовик, хозяйнушко) zobacz szerzej w pracy A. Juđina: A.B. Юдин, *Русская народная духовная культура*, Москва 1999, s. 78–80 oraz *Домовой*, [w:] ДС (<http://pagan.ru/slowar/d/domovoj15.php>).

¹² Т.А. Агапкина, *Восточнославянские лечебные заговоры в сравнительном освещении. Сюжетика и образ мира*, Москва 2010, s. 454.

¹³ PLL, s. 154; ZLL, s. 351.

¹⁴ 330, s. 253–254. Motyw robaków psujących zęby jest bardzo stary i znany w wielu tradycjach. Od dawna obecny jest również w tekstach słowiańskich: Т.А. Агапкина, *Восточнославянские лечебные заговоры...*, s. 482–483.

¹⁵ ZLL, s. 351.

¹⁶ LLP, s. 158.

sposobem wspomagającym leczenie było przykładanie¹⁷ do zęba lub policzka cebuli i innych produktów: Наговаривали на лук, на жёвку и прикладывали к зубу или к щеке [P33, №1409]; Наговаривают на хлеб, на соль, на мясо и лук, положить их на больной зуб [P33, №1440]; Наговаривали на соль і клалі на зубы [B32009, №1939]; Наговариваемую соль кладут на окно, чтобы на нее падали лучи месяца; после заговора кладут соль на больной зуб [330, s. 260]; „kładą w ucho kawałek świeżej niesolonej słoniny; kawałek kamfory na wacie z tej strony, po której ząb boli; stronę twarzy, po której ząb boli nacierają maścią składającą się z popiołu spalonego jaskółczego gniazda, oliwy, miodu i białka z jaja kurzego” [ZLL, s. 356].

Jako sposób leczenia lub też zapobiegania¹⁸ bólowi zębów W.P. Anikin zanotował także gryzienie (czegokolwiek) w czasie burzy: Когда первый гром гремит, чтобы зубы не болели, надо кусать все, что есть под рукой: кака деревяшка или что – хоть палец [P33, №1464].

Jednak zdecydowanie najczęstszym sposobem leczenia dolegliwości zębów czy dziąseł było stosowanie specjalnie do tego przeznaczonych formuł magicznych, o których H. Biegeleisen pisze „z nieprzebranego zasobu środków mistycznych mających na celu uzdrowienie chorych, wybijają się na czoło lecznictwa ludowego zamawiania, praktykowane przez czarowników lub znachorki. Ten sposób leczenia, zwany teurgicznym, właściwy mieszkańcom wszystkich ziem i wieków, wykazuje dziwną zgodność u ludów różniących się językiem, zwyczajami, religią, pochodzeniem, rasą, odgrodzonych od siebie dziesiątkami wieków i tysiącami mil nieprzebytych przestrzeni”¹⁹.

Za czas pomyślny dla zamawiania bolących zębów uważano „młody księżyc”, czyli okres po jego nowiu, kiedy go przybywa: От зубной боли на молодой месяц

¹⁷ Wśród pozostałych Słowian popularne było przykładanie na bolący ząb kamieni z mysich gniazd oraz zębów zwierząt drapieżnych lub pochodzących z jakichś sprzętów gospodarskich (np. znalezionych na miedzy grabi). Chorego zęba dotykano także ręką, którą uprzednio uzdrowiacz zadusił kreta, a do smarowania wykorzystywano krew zabitego kreta: В.В. Усачева, *Зубная боль*, [w:] CC, t. 2, s. 356–359.

¹⁸ Medycyna ludowa stanowiąc – jak pisał K. Moszyński – „istny węzeł gordyjski” jest częścią większego systemu, w którym skupia się cały światopogląd człowieka: wiedza, wierzenia, postawa wobec zjawisk przyrodzonych i nadprzyrodzonych. Medycyna ludowa obejmuje również zwyczaje wróżenia o nadejściu choroby i o stanie zdrowia chorego. Więcej o medycynie ludowej zob.: A. Paluch, *Suchoty: przyczynek do ludowego pojęcia o chorobie, etiologii, i terapii*, [w:] *Pożegnanie paradygmatu? Etnologia wobec współczesności, Studia poświęcone pamięci profesora J. Burszty*, pod red. W.J. Burszty i J. Damrosza, Warszawa 1994, s. 192–201; W. Piątkowski, *Lecznictwo niemedyczne w Polsce w XX wieku*, Ossolineum 1988 oraz *Naturalne sposoby leczenia*, Ossolineum 1984; Т.А. Агапкина, В.В. Усачева, *Болезнь человека*, [w:] CC, t. 1, s. 225–227; В.В. Усачева, *Медицина народная*, [w:] CC, t. 3, s. 215–218. Dla medycyny ludowej charakterystyczne jest to, że te same środki mogą być wykorzystywane jako lekarstwo i jednocześnie środek zapobiegawczy. Nie inaczej było w przypadku chorób zębów – identyczne zaklęcia stosowano zarówno „od bólu zębów”, jak i profilaktycznie. Nie mniej jednak wśród badanych materiałów odnajdujemy przekazy, które wyraźnie wskazują na funkcję zabiegu magicznego – ochronną lub odczyniającą: „aby zapobiec bólowi zębów trzeba pamiętać, aby zawsze rozbierając się, zrzucić obuwie naprzód z lewej nogi” [ZLL, s. 350–51]; Заговор предостерегательный: *Тобе, месяцю, сповни, мене на здоровью. Тобе, месяцю, насветитися, мене по свету надивитися, добре находитися!* [M3, №2].

¹⁹ LLP, s. 35.

становись и передумай... [P33, №1402]; Зубы раньше лечили на новый месяц. Выйти на новый месяц и сказать [P33, №1405]; Говорится трижды во время новолуния, прижав больной зуб указательным пальцем [B3, №78]; Шепчут, обращаясь к молодому месяцу [M3, №14]. Źródła etnograficzne pokazują, iż pora ta nie była wybierana przypadkowo. Wśród ludu bowiem spośród trzech postaci księżycza szczególnym zaufaniem i sympatią darzony był właśnie młody, czyli nowy księżyc, wstępujący od nowiu ku pełni. Wraz z pojawieniem się na niebie młodego księżycza (oprócz zabiegów leczniczych) korzystne było inicjowanie także innych działań. Twierdzono, że wtedy najlepiej rozpocząć siew, sadzać kurę na jajkach, sadzić rośliny okopowe. Sam nów, nie uważany zresztą za księżyc, posiadał raczej niedobrą sławę: podczas nowiu nie skutkuje żadne leczenie, przeciwnie – niedomaganie będzie się odnawiać. Również i pełnia sprzyja chorobom, tym bardziej, że wtedy czarownice latają na Łysą Górę, co stanowi dodatkowe niebezpieczeństwo²⁰.

J. Talko-Hryncewicz w swojej pracy przywołuje opinię ludu ruskiego o ścisłym związku bólu zębów ze zmianami faz księżycza. Konsekwencją tych przekonań było stosowanie „oprócz licznych leków empirycznych, nacierań, płukań, wielu środków mistycznych, w których zamawiający zwraca się do księżycza w nowiu”²¹. Należy przypuszczać, iż zmienność faz księżycza stanowiła dla ludu wzorzec działań leczniczych. Była ona precedensem przemiany człowieka chorego w zdrowego.

Słowiańskie wierzenia ludowe mówią także, że w czasie, kiedy księżyc nie jest widoczny z ziemi (nów), to znajduje się w zaświatach, w świecie umarłych. Jest on więc pośrednikiem między światem żywych i umarłych²²: *Месяц, на том-то свете был?* [P33, №1420]; *Батюшка млад месяц, ходишь ты высоко, видишь ты далеко* [P33, №1413]; *Месяц ты, месяц, месяц ты ясный (золотой), ходишь высоко, светишь далеко* [P33, №1406]. Zatem obecność księżycza w tekstach leczniczych jest w pełni uzasadniona. W analizowanym materiale księżyc podlega personifikacji. Nadaje się mu imię, zwraca się do niego pieszczotliwie: *Месячек Владимир* [P33, №1424]; *Misiaciu Wołodumyre* [ZLL, №42]; *Месяц, месяц, голубой батюшка* [P33,

²⁰ S. Czernik, *Trzy zorze dziewicze. Wśród zamawiań i zaklęć*, Łódź 1968, s. 67–68; *Полесские заговоры (в записях 1970–1990-х гг.)*, сост., подгот. текстов и комм. Т.А. Агапкиной, Е.Е. Левкиевской, А.Л. Топоркова, Москва 2003, s. 268; M. Eliade, *Traktat o historii religii*, Łódź 1993, s. 155–184; *Księżyc*, [w:] KM, s. 269–270. Przeświadczenie, że czas, kiedy księżyc jest w nowiu to moment pomyślny dla różnego rodzaju zabiegów ogrodniczych, hodowlanych, pielęgnacyjnych jest nadal aktualne. Świadczą o tym – zamieszczane np. w kobiecej prasie oraz Internecie – „poradniki księżycowe”, które zawierają informacje o tym, jakich czynności należy unikać, a jakie są wskazane w danej fazie księżycza. Patrz: <http://poradnik-ksiezycowu.pl>.

²¹ ZLL, s. 351.

²² A. Wietuchow zauważa także, że wiara ludu w związek księżycza ze światem zmarłych znajduje odzwierciedlenie w przywoływanych w tekstach magicznych „zastępcach” księżycza – martwi Adam i Ewa, Kain i Abel: 330, s. 253. Według ludowych podań, po popełnieniu przez Kaina zbrodni, obaj bracia zostali zesłani na księżyc (dlatego są na nim piętna): В.С. Кузнецова, *Фольклорные версии библейских легенд как проявление закона переживания старины: Кайн и Авель, Давид и Голиаф*, „Критика и семиотика” 2008, вып. 12, s. 72–83. Z kolei postaci Adama i Ewy pojawiają się zapewne z powodu silnych wpływów religii chrześcijańskiej, jakim z czasem uległy teksty od bólu zębów (z wyjątkiem rejonu Polesia): *Полесские заговоры...*, s. 268.

№1427]; *Ty misiaciu Adame, mołodyk...* [ZLL, №31]; *Misiaciu maju, czohoś ja tebe rytaju...* [ZLL, №24]; *Маладзік Афанасавіч* [Б32000, №607].

• Porównanie (wzorzec stanu lub cechy)

Najczęstszą werbalną strategią leczenia chorób jamy ustnej jest zastosowanie konstrukcji porównawczej, w której zamawiający wypowiada życzenie, aby chory (z powodu bólu zęba) nie odczuwał dolegliwości, tak jak nie odczuwa ich człowiek martwy lub rzecz. Strategia polega na przywołaniu (wraz z krótką charakterystyką) jakichś obiektów, które mają pożądane przez zamawiającego cechy i przeniesieniu ich (projekcja) na pacjenta. Działanie zasadza się na przekonaniu, iż podobne działa na podobne, czyli mamy tu do czynienia z magią sympatyczną, na której opierała się dawna medycyna. H. Biegeleisen podkreśla: „w przesądach i praktykach ludowych na całej kuli ziemskiej odgrywają znaczącą rolę środki sympatyczne. Umysł pierwotny wychodzi z tej zasady, że co się dzieje z jednym ze złączonych ze sobą przedmiotów, to stanie się i z drugim, w części lub całości. Z czasem rozciąga się wpływ tej magicznej siły (sympatii) na przedmioty nie należące do siebie, zupełnie obce. Środki sympatyczne, stosowane nie tylko w leczeniu, ale także w celu obudzenia miłości lub zaspokojenia nienawiści, odkrycia złodzieja itp. rozpowszechnione są na całej kuli ziemskiej i liczą swe istnienie na tysiące lat”²³.

W tekstach od bólu zębów wśród przywoływanych obiektów – jako wzorców oczekiwanych cech – zdecydowanie najczęściej pojawia się trup²⁴ (bliżej nieokreślony martwy człowiek lub konkretny zmarły, np. Adam), a także postaci sakralne oraz przedmioty nieożywione. Intencja zamawiającego w warstwie słownej nie jest prostym poinformowaniem, a bardzo często dialogiem prowadzonym z księżycem²⁵: „*Месяц, на том-то свете был?*” – „*Был*” – „*Мертвых видел?*” – „*Видел*” –

²³ LLP, s. 25–26. Pojęcie magii sympatycznej wywodzi się z antropologii kulturowej. Wprowadził je J.G. Frazer, który w swojej pracy z r. 1922 pt. *Złota gałąź*, dowodzi, że jest to (wyprzedzający religię i naukę) podstawowy typ magii, która polega na przekonaniu, że podobne działa na podobne, przeciwne na przeciwne, wizerunek na przedmiot lub byt rzeczywisty, słowa na czyn: J.G. Frazer, *Złota gałąź. Studia z magii i religii*, Warszawa 2002, s. 18–49.

²⁴ Motyw „martwych nie bolą zęby” jest znany na całej Słowiańszczyźnie wschodniej. Po raz pierwszy notują go teksty z drugiej połowy XVII w.: *Русские заговоры из рукописных источников XVII – первой половины XIX в.*, сост., подгот. текстов, статьи и комментарии А.Л. Топоркова, Москва 2010, s. 244. Co ciekawe, motyw ten właściwie nie występuje na pozostałej części Słowiańszczyzny. Wyjątek stanowi notowany w tradycji polskiej (rejon Górne Śląska) tekst *Witaj, miesiączku nowy na szczęście i na zdrowie. Byłeś w Rzymie? Był! Widziałeś zmarłego? Widzio! Bolały go zęby? Nie, nie bolały! Deje Boże zęby mnie też nie bolały*: cyt. za: T.A. Агапкина, *Восточнославянские лечебные заговоры...*, s. 459. Podobny przekaz (najprawdopodobniej mamy tu do czynienia z wpływem tradycji wschodniosłowiańskiej) zarejestrował na przełomie lat 80. i 90. J. Adamowski na terenach Lubelszczyzny *Niech nie boló zęby ni głowy. Jak ni bolo umarłego, to niech ciebie ni bolo zdruwego!*: J. Adamowski, *Lubelskie przekazy...*, s. 251.

²⁵ Dla tekstów od bólu zębów charakterystyczne jest to, że zwykle wypowiedane są w pierwszej osobie. Wydaje się więc, że cierpiący człowiek sam zamawiał swoje bolące zęby. Jednak nie jest to do końca jasne, bo – jak podkreślają badacze – problem wykonawcy rytuału jest wciąż otwarty i stanowi jedną z najważniejszych do rozwiązania kwestii pragmatyki zaklęć. Z jednej strony wykonawca to człowiek wolny i sam może próbować oddziaływać na otaczającą go rzeczywistość, z drugiej zaś – liczne przekazy o znachorach przemawiają

„У мёртвых зубы не болят?” – „Нет, не болят”. Так же и у меня, рабы Божьей, Ирины, зубы не болите век по веки... [P33, №1420]; „Месяц, месяц, был на том свете?” – „Был”. „Видал мертвых?” – „Видал” – „Болели у них зубы?” – „Нет”. Ну и у меня – нет [P33, №1417]; Misiaciu taju, czochoś ja tebe pytaju: „czy bolat’ u mertwoho zuby?” – „Ni, ne boliat’, ni ne szczymlat’”, – „Szczob ne boliły u roźdenoho, chreszczenoho, mołytwenoho raba Bożoho N...” [ZLL, №24]; Na nowiu księżyca: Ty kniaź mołodycz, u tebe rih zołotyj, hde ty buw na tim świti, czy ty baczyu mertweciw. Czy bolat’ u nych zuby? Ne bolat’. Niechaj mene raba Bożoho N...ne bolat’ [ZLL, №27]; Маладзік маладой, у цябе рог залатой, ты на свету ходзіш, усіх людзей знаеш. Ці быў ты на тым свеце, бачыў ты (хто памёр – назавеш), ці баляць у яго зубы? – Не баляць – Няхай жа і ў цябе, раба божай, не баляць, не шумяць. Штоб яны не балелі, не шумелі, навек занемелі. Я з словам, а Бог з помаччу і святым духам [B32000, №613]; Шепчуть, обращаясь к молодому месяцу: Месяцю молодой, на тебе хрест золотый! Питатця сын батька „Чы болять зубы у неживого?” – „Не, не болят!” – „Нехай же и у хрещеного, рожденого раба Божого ~ не болят!” [M3, №14].

Bardzo często obolały człowiek w charakterze wzorca pożądanых cech przywoływał konkretne (martwe) postacie biblijne, które nie odczuwają bólu, np. Adama i Ewę, Kaina i Abła, Łazarza²⁶: „Батюшка молод месяц, светишь ты по небу высоко, по земле широко?” – „Свечу я по небу высоко, по земле широко”. – „Не были ты у Адама во дому, не видал ли ты усопшего в гробу?” – „Был я у Адама во дому, видел усопшего в гробу”. – „Не болят ли у его зубы, не щемят ли ему его дёсны?” – „Зубы у него не болят, дёсны у него не щемят”. Так бы у меня, рабы Божьей (имя), зубы не болели, дёсны бы не щимели. Аминь. Аминь. Аминь [P33, №1408]; Молодык молодой, у тэбэ зуб золотой. Адама з Евою відаў? У іх зубы ны болят. Ныхай (імя) ны болят [B32000, №1932]; Стану я р. Б. Н. благословясь, выйду..., посмотрю и погляжу на младъ светелъ месяць. Въ томъ младу месяцу два брата родные: Кавель да Авель. Какъ у нихъ зубы не болятъ и не щипятъ, такъ бы у меня, р. Б. Н., не болели и не щипели [330, s. 257]; Кайн! Кайн! Кайн! Спытай у брата свайго Авеля: не баляць у яго зубы? – Не – Так бы ў раба Божяга (імя) не. Амін. Амін. Амін (наговорвалі на соль і клалі на зубы) [B32009, №1939]; Грядет Царь с небеси, настрету ему чetyредневный Лазарь. Лазарь был мертв, был из мертвых мертв, у мертвого не болят зубы, не ломит щек, не отрастает(т) дикое мясо, так бы у раба Божьего (имя) не болели бы зубы, не ломило бы щек, не отрастало бы дикое мясо, не напускалась бы горящая кровь. Отныне по веку, во веку, во веки веков. Аминь. Наговорить на луковицу, масло [P33, №1445]; Лазарь, как у тебя зубы не болят, так чтоб у рабе Гахи (имя) чтоб не болели [P33, №1446].

za tym, iż magią zajmowali się „profesjonaliści”. Patrz: E.V. Вельмезова, *Чешские заговоры. Исследования и тексты*, Москва 2004, s. 50–51; К.В. Чистов, *Фольклор. Текст. Традиция*, Москва 2005, s. 134–154.

²⁶ W jednej z rosyjskich formuł wzorcem pożądanego stanu nie jest martwe ciało Łazarza, a przeciwnie – jego dobra kondycja fizyczna: Когда был жив святой бог Лазарь, у него зубы не болели, кости не щипели, в голове мозги не болели. Так же бы у рабы Божей зубы не болели, кости не щипели, в голове мозги не болели. Аминь [P33, №1444].

W niektórych tekstach wypowiadający formułę magiczną – jako wzór oczekiwanego stanu – przywołuje inną niż nieodczuwanie bólu cechę martwego. Np. zęby mają nie boleć tak samo jak (spokojnie) leży trup: *Месяц, месяц, где ты был?* – „На том свете” – „Что там видел?” – „Мертвецов”. *Как мертвецы спокойно лежат-спят, так чтобы и зубы у меня болели* [P33, №1416]; *Molodyk, mołodyk, de ty buwaw?* – *Na tamtomu świti* – *Szczo ty tam baczyw?* – *Mertweciw* – *Szczo ony tam roblat?* – *Łeżat* – *Nechaj moi zubki ne bolat*. To powtórzywszy trzy razy zmówić pacierz za dusze zmarłych [ZLL, №5]. Zęby mają również być nieme jak skamieniałe ciało nieżyjącego oraz martwe – wzorem martwego ciała: „*Месяц, месяц... на том свете был?*” – „*Вы мертвых видели?*” – „*Видел*” – „*Что они, закаменели?*” – „*Закаменели*”. *Чтоб у моей рабы Божьей (имя) зубы занемели, занемели, занемели* [P33, №1427]; *Глядя на луну и звезды: Быў на томъ свету?* – *Быў – Мяртовыхъ видиў?* – *Видиў* – *Што жъ яны?* – *Лижать замяртвеўши* – *Штобъ и зубы замяртвели у N* [330, s. 256].

Również sam księżyc mógł stać się wzorem nieodczuwania bólu – nie dokuczta mu ani ból zębów ani dziąseł: *Млад месяц, золоты рога, царь-батюшка,... не болят у тебя зубы, не ноют десны, так и у меня, рабы Божьей, не ноите зубы, не болите десны, днем при солнце, при месяце...* [P33, №1403].

W zbiorze rosyjskich zaklęć odnotowano również przekazy, w których wzorcem pożądanego stanu są obiekty nieożywione (sęk, stół oraz sucha końska brodawka): *Как у дерева сук не болит, не шипит, так и у рабы Божьей (имя) не боли, не шипи – ни на ветху, ни на новцу, ни на перекрой месяцу* [P33, №1461]; *Если болит десна, наговаривать на уходящий месяц: Как медный стол не пухнет, не дует, так и у раба Божьего (имя) челюсть не пухни, не дуй. Этот приговор – крепок и лепок, крепче буланого (булатного?) камня*. Powtórzyć trzy razy, zmieniać обращения k stołu – „srebrnyj”, „złotyj” [P33, №1460]; *От лошади надо взять с передней ноги, выше копыта, сухие такие бородавки (как бородавки), но с той ноги, на котором боку зуб болит. Завернуть это в марлю и положить на зуб, в дупло. Если у женщины зуб болит, то – от кобылы, а у мужчины от жеребца. И наговор такой говорят: Как эта бородавка никогда у лошади не болит, так бы у меня зуб не болел* [P33, №1458].

• Porównanie zaprzeczone

Porównanie zaprzeczone stanowi jedną z uniwersalnych słowiańskich strategii leczniczych²⁷. Zarazem jest to model oddziaływania magicznego, jaki najdobitniej odzwierciedla wiarę w siłę słowa. Unicestwienie wroga czyli choroby (ból) następuje tu bowiem wyłącznie poprzez zastosowanie specjalnie do tego przeznaczonej formuły. Na tekst magiczny składają się zaprzeczone konstrukcje porównawcze zawierające zestawienie przedmiotów, zjawisk, które nie mogą być zebrane w jedno (wystąpić jednocześnie). Niemożność zaistnienia przytaczanych sytuacji staje się wzorcem nieodczuwania przez człowieka bólu. Dolegliwości są tak samo nierealne, jak przedstawiane fakty. Najczęściej przywoływani byli „trzej bracia”, których

²⁷ Znana badaczka folkloru słowiańskiego T.A. Agapkina strategię oddziaływania magicznego występującą we wschodniosłowiańskich zaklęciach dzieli na uniwersalne (znajdują zastosowanie w przypadku wszystkich schorzeń) i typowe dla poszczególnych dolegliwości): T.A. Agapkina, *Восточнославянские лечебные заговоры...*, s. 456.

spotkanie nie jest możliwe. Reprezentują oni bowiem poszczególne elementy trójdzielnej budowy świata i są tym samym związani z trzema różnymi żywiołami: powietrzem, wodą, ziemią oraz trzema sferami – niebem, morzem, ziemią²⁸: *Месяц в небе, медведь в лесу, мертвец в гробу; когда эти три брата сойдутся вместе, тогда пусть болят зубы у раба (имя рек)* [B3, №75]; *Misiać na nebi, katiń na Zemli a woda w mori; jak ti try braty zyjduťsia do kupy, tohdi u joho N...poroždzenoho, chreszczzenoho, mołytwenoho, zabolat' zuby* [ZLL, № 9]; *Есць у полі лён, у лесі клён, а ў вадзе лін. Як гэтым тром дзелцам укучкуня схадзіцца, так зубы раба каб век-вешны ня балелі* [B32009, №602]; Каждый месяц говорить при первом свиданьи месяца. Скоро выйдешь, стань неподвижно, не сходя с места, и говори: *Месяцю князю! Вас три в свете один на небе, другой на земле, а третий в море, камень белый. Як вони все не можуть до купы зойтутьця, так не можут в мене, раба Божого ~, зубы болети!* [M3, №11]. Prezentowany typ zaklęć stosunkowo rzadko występuje w przekazach rosyjskich, częściej notowany jest w tradycji białoruskiej i ukraińskiej, gdzie liczba przytaczanych obiektów dochodzi nawet do pięciu: *Misiać na nebi, czerwiak u derewi, witer u poli, ryba u mori... koły ti czotyry braty zyjduťsia hrich tworyty, tohdi u mene chreszczzenoho, roždzenoho N...zuby budut bolity* [ZLL, №12]; *Господи Иисусе Христе, благослови мене, рабу Божию, се слово говорити и в добрый конец привести первый княжичь месяц не небе Адаввич, другой червяку у дубе, третий медведь у логве, четвертый камень у поле, пятый щука у воде. Коли ти пять братов, до купы изышовиши, будут за одним столом сидити, пити, ести, гуляти, добрыи мысли мати, суды судити, пересуды брати, тоди и в раба Божого ~ зубная кость, жовтая и белая, будет болети, и мому слову ключ и замок. Аминь, Аминь, Аминь (говорить трычи)* [M3, №10].

Do grupy tekstów magicznych odzwierciedlających wyżej omówioną strategię leczenia zębów należy włączyć także poniższy przykład. Wzorcem zaprzeczenia, a więc i zarazem sposobem unicestwienia bólu stał się tutaj fakt, iż księżyc nie może posiadać żony: *Маладзік малады, твой рог залаты, як табе, маладому, век не жаніцца жаны не мець, так маім зубам ніколі не балець* [B32009, №1909].

• Odesłanie²⁹ choroby

W walce z bólem zębów znalazła zastosowanie także inna uniwersalna strategia lecznicza, jaką jest oddalenie choroby. Niepożądane zjawisko, tj. ból odsyłano do jego źródła: *...скорбь и болезнь великая остановиласи и уплотиласи, чтобы не тронуло и не шевелило, и ни в день, и ни в ночь, и ни в какой час, и ни в какую минуту. Возвратись назад, откудава пришло: с лесу пришло – на лес поди, от людей пришло – по людям поди, с ветру пришло – на ветер поди, чтобы ни*

²⁸ Полесские заговоры..., s. 268.

²⁹ Odsyłanie (wszelkich niepożądanych zjawisk) jako uniwersalna strategia oddziaływania na otaczającą rzeczywistość występuje w różnych gatunkach folkloru. W tekstach leczniczych choroby odsyła się do ich źródła lub na tamten (nieludzki, ze znakiem minus) świat. O formułach odsyłania chorób zob.: S.M. Tołstaja, *Magiczne funkcje negacji w tekstach sakralnych*, „Etnolingwistyka”, nr 13, pod red. J. Bartmińskiego, Lublin 2001, s. 117–125; T.H. Свешникова, *Структура восточнороманского заговора в сопоставлении с восточнославянским (формулы отсылки болезни)*, [w:] *Исследования в области балто-славянской духовной культуры. Заговор*, отв. ред. В.В. Иванов, Т.Н. Свешникова, Москва 1993, s. 139–145.

призор и ниотудья не перешла [P33, №1484]; *Со щипоты, со ломоты, со двенадцати родимцев, со двенадцати рек, со двенадцати человек с ветру пришла – на ветер поди, с народу пришла – на народ поди, с лесу пришла – на лес поди, от своего дома пришла – на дом поди! Чур, мои зубы! Чур, мои зубы! Чур, мое белое тело! Чур, моя алая кровь!* [P33, №1441].

• **Przepędzenie**

Formą leczenia rozmaitych dolegliwości jamy ustnej było także ich przepędzanie, co (w rosyjskich tekstach) znachor osiągał poprzez zastosowanie czasownika performatywnego oznaczającego działanie słowem **wymawiam/ выговариваю** oraz imperatywu **wychodź/ выходи**. Zamawiający w swoich działaniach zdawał się też czasem na pomoc boską, czego dowodem jest zastosowana w tekście formuła dystansu³⁰: *Выговариваю тебя, болезнь зубная и дёсная и глотовая, и вымаливаю не сама собою, а Господней думою. Господней милостью и жалостью и Господним повелением. Выходи, болезнь зубная, дёсная, глотовая, из рабы Катерины. Брось болеть по стот час, по мой заговор* [P33, №1469].

Przepędzenie bywało także połączone z grożeniem³¹: *О вы, зубы, зубы! Чаму жъ вы не белы, да руды? Хиба вы што кепско жевали, што хворобы достали. Перестаньце жа вы хворэци, будзеце акъ вельки пань ў гарэци. А коль не перестанеце болеци, то мы будземо васъ железом цегнуци. Идзи жа ты, хвороба, у шыроко поле, ў сухе леса, да ў окрые болота, а хворобы намъ жадной не треба, бо ена пришла отъ чорта, але не зъ небе* [330, s. 255].

• **Prośba do pomocnika**

Sposobem na pozbycie się bólu zębów było także zwracanie się do kilku pomocników. Szczególną moc w tej kwestii przypisywano św. Antypasowi³², którego

³⁰ Tzw. formuły dystansu (формулы самоотречения) są charakterystyczną dla zamawiań figurą retoryczną. S.M. Tołstojowa wiąże ich popularność z komunikacyjnymi właściwościami tekstów sakralnych, a konkretnie z tym, że nadawca tych tekstów, czyli osoba, która wygłasza tekst magiczny, nie uważa się za jego autora, ani nawet za prawdziwego jego wykonawcę: С.М. Толстая, *Формула самоотречения в заговорах*, [w:] *Кирпичики. Фольклористика и культурная антропология сегодня. Сборник статей в честь 65-летия С.Ю. Неклюдова и 40-летия его научной деятельности*, отв. ред. серии С.Ю. Неклюдов, Москва 2008, s. 382–389.

³¹ W tekstach magicznych grożenie stanowi jedną z najskuteczniejszych strategii komunikacyjnych. Zamawiający ucieka się do groźby w sytuacji, kiedy inne środki werbalnego oddziaływania nie przyniosły w leczeniu spodziewanego rezultatu. Dlatego też – jak zauważyła L.N. Winogradowa – groźby zajmują w konstrukcji magicznej szczególnie miejsce. Zwykle występują po prośbie lub rozkazie kierowanym do choroby i traktowane są jako skuteczniejszy sposób działania. O groźbach w zaklęciach słowiańskich zob.: Л.Н. Виноградова, *Формулы угроз и проклятий в славянских заговорах*, [w:] *Заговорный текст. Генезис и структура*, ред. колл.: Л.Г. Невская, Т.Н. Свешникова (отв. ред.), В.Н. Топорова, Москва 2005, s. 425–440.

³² Św. Antypas (wspomnienie 11 IV) był uczniem św. Jana Ewangelisty, biskupem, męczennikiem. Przez Słowian wschodnich uznawany jest za lekarza, szczególnie w przypadku bólu zębów. Pojawia się zarówno w modlitwach, jak i w tekstach magicznych. Patrz: А. Юдин, *Ономастикон русских заговоров. Имена собственные в русском магическом фольклоре*, Москва 1997 (www.ruthenia.ru/folklore/judin1.htm); В.Ф. Райан, *Баня в полночь. Исто-*

proszono o wyleczenie zębów, uwolnienie od bólu: *Антипуй праведный, утишь зубну ломоту, лошь наложи. Спаси, Господи, помилуй рабу Божию (имя). Аминь* [P33, №1448]; *Антип зубной, исцелитель мой, исцели мне зубы, оставь одни зубы* [P33, №1478]; *На моры, на акіяне, на востраве Буяне стаіць саборная апостальская царква, стаіць Маць Прысвятая Багародзіца і прыпадобны Анціпій – зубной ціліцель. Ён просіць і моліць угоднікаў Божых аб рабе Божым (імя). Як бы ў раба Божяга (імя) зубы не балелі. Ва імя Айца і Сына і Святага Духа. Амін. Амін. Амін* [B32009, №1886]; *Swiaty Antypij muczenyku, scely moi kosti ot wehykoj bliźni ot nuni do kińcia wiku. To powtarza się 3 razy, a potem odmawia „Bohorodyce Diwo”* [ZLL, №36]; *Antyp Swiaty, uhodnyk Bożyj prosy Boha od boleści kosterj, zubiw* [ZLL, №39].

Za ludowego dentystę uchodził również św. Antoni³³: *Велькомученыкъ Антонію, сватый зубамъ врачъ и исцилителю, избавъ, Господы, р. Б. одъ зубной болисту* [330, s. 263]; *Святой Антоний, помоги рабе Божьей от зуб* [P33, №1450]; *Святы Антоню, зубовный целителю, поможи мене, молодиче, молодиче! Питаюся старого, чы болят зубы у мертвого? – не, не болят – Щоб же век веком и суд судом и у хрещеного, роженого, раба Божого ~ не болели!* [M3, №19]; *Swiaty Antoni zubowyj ciytel! Pomoży meni. Mołodycze, mołodycze, pytajusia staroho...* [ZLL, №38]; *Поможы св. Антоній* [330, s. 258]. Na terenach Rusi południowej zanotowano również tekst adresowany do wielu świętych jednocześnie: *Swiaty Adame, Swiaty Mykołaju, Swiaty Spasytelu, Swiaty Własij, Swiaty Feodosij, Chrobryj Jahoryj, Swiaty Iwane Predtecza, Swiaty Mytryj, Swiaty Mytrochwane, Swiaty Otcze Andriju i Maty Maria! I posobit' i potyłuje ot usiakoi skorboty, raba Bożoho N... zuby bolitymut'* [ZLL, №33]; *Св. Адамъ, св. Миколай, св. Спаситель, св. Власій, св. Федосій, храбрый Ягорій, св. Иванъ Предтеча, св. Митрій, св. Митрохванъ, св. Отче Андрій и Мату Марія, и пособите и помилуйте одъ усякой болисты, одъ усякой скорботи р. Б. N* [330, s. 275].

O uwolnienie od bólu zwracano się także do samego księżyca: *Месяц ты, месяц, сярэбраныя твае рожкі, залатыя твае ножкі. Зыйдзі ты, месяц, знімі маю зубную боль, занясі боль пад аблокі, мая боль не малая, не цяжкая, а твая сіла магучая. Мне боли не перенасці. Вось зуб, вось два, вось тры – усе твае, вазьмі маю боль* [B32000, №625]; *Месяцъ ты, месяцъ, серебряные рожки, золотые твои ножки. Сойди ты, месяцъ, сними мою зубную боль* [330, s. 259].

рический обзор магии и гаданий в России, Москва 2006, s. 258; *Полный православный богословский энциклопедический словарь*, ред. П.П. Сойкина, Санкт-Петербург 1913, s. 178.

³³ Prawdopodobnie chodzi tu o św. Antoniego Pieczerskiego (założyciela Ławry Kijowsko-Pieczerskiej), którego Słowianie wschodni uważali za zdolnego leczyć różne dolegliwości. Nie był on jednak męczennikiem, a identyfikację dodatkowo utrudnia fakt, że Rosyjska Cerkiew Prawosławna kanonizowała aż 10 Antonich: А. Юдин, *Ономастикон русских...* (www.ruthenia.ru/folklore/judin1.htm). O świętych i ich funkcjach w folklorze zob. także: С.М. Толстая, *Сакральное и магическое в народном культе святых*, [w:] *Folklor – sacrum – religia*, pod red. J. Bartmińskiego i M. Jasińskiej-Wojtkowskiej, Lublin 1995, s. 38–46; Д. Айдачич, *Специализация святых в фольклоре православных славян*, „Вестник Киевского института”, Славянский университет, Киев, 6, 2002, s. 252–260.

- **Umowa³⁴ z pośrednikiem**

Słowianie w dawnych czasach byli bardzo mocno przekonani, że drzewa mają moc przejmowania wielu chorób, w tym również tych związanych z zębami i dziąsłami. Dlatego też w leczeniu ludowym ważne miejsce zajmują zabiegi z wykorzystaniem różnych gatunków drzew. Szczególnie popularne było obustronnie korzystne umawianie się z drzewami: człowiek obiecuje im nie szkodzić, one zaś zabierają od niego choroby³⁵.

W badanych tekstach odnotowano wymianę „usług” z jarzębiną: w zamian za uwolnienie od cierpienia zamawiający obiecuje, że nie będzie jej jadt³⁶: Если болят зубы, наговаривать на рябину: *Рябина, рябина, возьми мою боль, а я тебя не буду есть* [P33, №1470]; *Рабіна, рабіна, вазьми маю зубную балець, я цябе ніколі не буду ець* [B32009, №1871]; *Рабіна-рабіначка, забяры маіх зубоў боль, буду цябе шанаваць, не стану тваё вецце ламаць* [B32009, №1870]. Zanotowano także zwroty do innych drzew – np. kaliny: *Каліна, каліна, не буду цябе ні рукамі ламаць, ні нагамі таптаць, забяры боль зубную* [B32009, №1873] oraz do kory brzozowej: *Корка ты, корка, я тебя сбавлю от вечной муки, а ты меня сбавь от зубной болезни*. Na rozwilke ivy wyщипать зубами корку и сказать три раза [P33, №1467].

- **Zamawianie zębów**

Wśród analizowanych tekstów znalazło się sporo formuł skierowanych do zębów i dziąseł. Człowiek zwraca się do nich z prośbą, aby bolały o określonej porze – najczęściej zimą lub wiosną. Być może celem takiego zabiegu było spowodowanie, aby zęby nie bolały tu i teraz, lecz kiedyś: *Зубы мои, зубы, десны вы, десны, бо-лите у меня каждую вёсну*. Подойти к рябине, грызть ее и приговаривать до

³⁴ Tego typu strategia jest popularna w różnych gatunkach folkloru. Wchodzi ona w skład rozpowszechnionej opozycji semantycznej dawać–brać. Jest to uniwersalny sposób reglamentacji stosunków między człowiekiem, z jednej strony, a siłami przyrody lub elementami tamtego świata z drugiej. Wymiana stanowiąc zrytualizowany przekaz przedmiotów lub usług może przybrać kilka postaci, które dają się wyodrębnić na podstawie pełnionych funkcji, formy oraz znaczenia: А.А. Плотникова, *Давать–брать*, [w:] СС, т. 2, s. 13–14; Т.А. Агапкина, *Обмен*, [w:] СС, т. 3, s. 460–462.

³⁵ Za wschodniosłowiańskiego „lekarza” od dolegliwości związanych z zębami i dziąsłami uchodził dąb. M. Marczevska zauważa, że dąb występuje dość często w tekstach zamawiań od bólu zębów i jest to cecha wspólna starych zamawiań polskich, ruskich i ukraińskich. Na drzewo starano się przenieść ból zębów podobnie jak przenoszono na nie i inne choroby. W charakterze uniwersalnego lekarstwa wykorzystywano również korę dębową: M. Marczevska, *Drzewa w języku i w kulturze*, Kielce 2002, s. 126. O znaczeniu i funkcjach dębu w kulturze tradycyjnej zob. także: LLP, s. 167; Dąb, [w:] *КМ*, s. 76–80; В.Я. Петрухин, *Дуб*, [w:] СС, т. 2, s. 141–147.

³⁶ A nie było to bez znaczenia, gdyż – jak przekonuje jedna z informaterek – każdy, kto je owoce jarzębiny, cierpi z powodu bólu zębów: „Хто любіць ець ягады рабіны, той абавязкова будзе мучыцца зубным болем” [B32009, №1870]. W słowiańskiej medycynie ludowej jarzębinę wykorzystywano zarówno w charakterze amuletu, jak i środka leczniczego. W przypadku wielu chorób – z zamiarem ich przekazania – zalecano przechodzenie przez rozłupane drzewo jarzębiny: А.Л. Топорков, *Рябина*, [w:] *ДС* (<http://pagan.ru/slowar/r/ryabina0.php>).

трех раз [P33, №1471]; *Зубы вы, зубы, десны вы, десны, болите вы зиму и вёсну. Положить в рот калиновую ветку* [P33, №1472].

Wydaje się, że sposobem zwalczania bólu zębów jest także pozbycie się samego obiektu przysparzającego cierpienie, czyli zębów, tak „aby zostały same wargi”: *Болите зубы, выболите зубы, останьтесь одни губы*. Три раза [P33, №1479]; *Болите, болите, зубы, останутся одни губы* [P33, №1480]; *Павыпадайце, усе зубы, каб засталіся адны губы, тады балець не будуць* [B32009, №1850].

Usuwanie zębów

W dawnych społecznościach słowiańskich wyrywaniem zębów trudnili się przede wszystkim kowale³⁷. W funkcji narzędzia dentystrycznego występowały obcegi. Spisane przez J. Talko-Hryniewiczza spostrzeżenia na temat dawnego leczenia dowodzą, iż ludowi znane były także inne sposoby ekstrakcji – bez użycia jakichkolwiek narzędzi. Autor zarejestrował: „Kowale używają i różnych innych sposobów, a pomiędzy innemi chirurg-kowal przywiązuje ząb mocnym szpagatem do kowadła, potem zamawiając dykteryjkami przesuwa nagle rozpalonem żelazem z iskrzącymi żuźłami pacjentowi po sam nos! Głowa rozpaczliwie cofa się w tył i ząb dziurawy zostaje na sznurku, z wielką uciechą otaczających pacjentów i widzów”. Jeszcze inną drogą usunięcia zęba było zastosowanie sekretnego, dostępnego wyłącznie znachorom, olejku, który pozyskiwano w następujący sposób: „parę żabek posiekać drobno, włożyć do oleju (najczęściej używają w tym celu oleju zwanego „lampadnoje masło”) i smażyć aż żabki rozmiękną, poczem znowu wrzucić parę świeżych żabek i znowu gotować w tymże oleju. Olej ten otrzymuje wtenczas tę moc dziwną, że posmarowany nim ząb, chociażby nie wiem jak mocno siedział, wypadnie”³⁸.

Przeprowadzona analiza pokazuje, że niezwykła troska współczesnego człowieka o estetyczny wygląd zębów nie była całkiem obca również i dawnej kulturze ludowej. Na jakość zębów starano się wpływać już w czasie życia płodowego nowego człowieka, a także wtedy, gdy wyrzynały się jego pierwsze zęby oraz gdy tracił je na rzecz uzębienia stałego. Przekazy etnograficzne dowodzą, iż uważna obserwacja zębów, które mają charakter znakowy, dostarcza wielu informacji na temat ich posiadacza. Pozwala mianowicie określić wiek, zdolności, charakter i ewentualny związek młodego człowieka z siłami demonicznymi.

Z kolei teksty „od bólu zębów” stanowiąc jedną z najbardziej rozpowszechnionych grup wschodniosłowiańskich zaklęć leczniczych³⁹ pokazują różnorodność

³⁷ Symboliczna postać kowala w dawnych czasach otaczana była ogromnym szacunkiem. W wielu mitologiach (stworzenie świata, nadanie mu i utrzymanie kształtu) kowal odgrywał ważną rolę. W słowiańskiej kulturze ludowej kowale i owozary zajmowali się leczeniem. Uchodzili za znachorów, czyli tych, którzy wiedzą. Źródła etnograficzne dostarczają wielu informacji o praktykach chirurgicznych kowali: puszczanie krwi, naprawianie złamanych lub zwichniętych rąk i nóg. Umiejętność przerabiania twardego metalu i wykonywania z niego misternych przedmiotów poświadczała ich manualną sprawność. O funkcjach kowala w folklorze zob.: LLP, s. 2, 84; Kowal, [w:] KM, s. 245–249; В.Я. Петрухин, *Кузнец*, [w:] ДС (<http://pagan.ru/slovar/k/kuznec0.php>).

³⁸ ZLL, s. 356–357.

³⁹ Popularność tę można łatwo wyjaśnić tym, iż przez wiele lat formuły magiczne były jedynym dostępnym środkiem leczenia zębów. Zresztą do dzisiaj – zauważa M. Buchowski –

praktyk magicznych, za pomocą których próbowano uwolnić się od dolegliwości odczuwanych w jamie ustnej.

Na procedury magiczne składały się działania (okładanie bolącego zęba) i formuły słowne. Wśród przedstawionych strategii werbalnego oddziaływania magicznego dominują konstrukcje porównawcze. Ich celem jest przeniesienie pożądanых cech z przywołanego w tekście obiektu na cierpiącego pacjenta. W mniemaniu ludu skutecznym sposobem uwolnienia się od bólu zęba było proszenie o pomoc pośredników (najczęściej świętych: Antoniego i Antypasa), przepędzenie lub odesłanie dolegliwości oraz umowa z pośrednikiem i zamawianie zębów. W ostateczności bolące zęby – za pomocą obcęgów lub poprzez zastosowanie bardziej mistycznych środków (jak np. olej z żabek) usuwał kowal.

Wykaz skrótów:

- AE – A. Paluch, *Etnologiczny atlas ciała ludzkiego i chorób*, Wrocław 1995.
- B32000 – *Замовы*, уклад., сістэм. тэкстаў, уступ. арт. і камент.: Г.А. Барташэвіч, Мінск 2000.
- B32009 – *Замовы*, уклад.: У. А. Васілевч, Л. М. Салавей; уступ. арт.: Л.М. Салавей, інск 2009.
- ДС – *Дом Сварога. Русский языческий проект: Словарь* (<http://pagan.ru/?cmd=main&dir=/>).
- КМ – P. Kowalski, *Kultura magiczna. Omen, przesąd, znaczenie*, Warszawa 2007.
- LLP – H. Biegeleisen, *Lecznictwo ludu polskiego*, „Prace Komisji Etnograficznej Polskiej Akademii Umiejętności”, nr 12, Kraków 1929.
- МЗ – *Сборник малороссийских заклинаний*, составил П.С. Ефименко, Москва 1874.
- PLL – F. Wereńko, *Przyczynek do lecnictwa ludowego*, [w:] *Materyały Antropologiczno-Archeologiczne i Etnograficzne wydane staraniem Komisji Antropologicznej Akademii Umiejętności w Krakowie*, t. 1, Kraków 1896, s. 99–228
- P33 – *Русские заговоры и заклинания. Материалы фольклорных экспедиций 1953–1993 гг.*, под ред. проф. В. П. Аникина, Москва 1998.
- СС – *Славянские древности. Этнолингвистический словарь в 5 томах*, под общей ред. Н.И. Толстого, т. 1–4, Москва 1995–2009.
- ВЗ – Л.Н. Майков, *Великорусские заклинания*, послесл., примеч. и подгот. текста А.К. Байбурина, издание 2-е, исправл. и доп., Санкт-Петербург 1994.
- ZLL – J. Talko-Hryniewicz, *Zarysy lecnictwa ludowego na Rusi południowej*, Kraków 1893.
- 330 – А. Ветухов, *Заговоры, заклинания, обереги и другие виды народного врачевания, основанные на вере в силу слова (Из истории мысли)*, вып. I–II, Варшава 1907.

„kwestia ludzkiego zdrowia należy do najbardziej podatnych na myślenie magiczne”. I dlatego właśnie zdrowie stanowi pierwszoplanowy temat poradnictwa magicznego: M. Buchowski, *Magia. Jej funkcje i struktura*, Poznań 1986, s. 108.

Восточнославянская народная стоматология

Целью настоящей работы является описание восточнославянских магических процедур, связанных с зубами. В статье представлены народные верования и предрассудки, способы магического воздействия, применяемые восточными славянами во время прорезывания зубов у детей, смены молочных зубов на коренные, а также в ситуации, когда болят зубы и дёсны.

Ключевые слова: русский заговор, народная медицина, зубы, вербальная магия, народные верования

Eastern folk dentistry

Abstract

The aim of the article is to present Eastern-European magical practices connected with teeth. Folk beliefs and superstitions are presented, as well as the means of magical effect employed by the Eastern Slavs during teething, the change of milk teeth to permanent teeth, and during bouts of tooth and gum ache.

Key words: Russian spell, folk medicine, teeth, verbal magic, folk beliefs

Joanna Rybarczyk-Dyjewska
Unwersytet Jagielloński
Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej
e-mail: joanna.rybarczyk@op.pl
+48 602134108

Евгений Степанов

Фигуры экспрессивного синтаксиса в рассказах Татьяны Толстой

При изучении любого языка, как родного, так и иностранного, основное внимание языковеды уделяют усвоению экспрессивно нейтральной системы языка, поскольку образования, лишённые экспрессивности, обычно принято считать инвариантными в языковой структуре. Однако функционирование языков в живом употреблении невозможно без выражения говорящими своих чувств, переживаний, волеизъявлений. Общение между людьми невозможно без эмоций, а следовательно, без экспрессивных языковых средств. На возникновение экспрессивности как характеристики речи или текста влияют свойства коммуникативной ситуации: намерения говорящего и слушающего, презумпции читателя / слушателя (то есть исходные знания и представления, с которыми он вступает в коммуникацию), а также лингвистический и экстралингвистический (социальный) контекст коммуникативного акта. Общей задачей экспрессивности является выражение или стимуляция субъективного отношения к сказанному. Со стороны говорящего эта задача решается через усиление, выделение, акцентирование высказывания, отступление от речевого стандарта, нормы, через выражение чувств, эмоций и настроений, через оценивание, путём достижения образности и создания эстетического эффекта. Со стороны читателя / слушателя происходит усиление внимания, повышение рефлексии, возникают эмоции и чувства.

Экспрессивность связана с рядом лингвистических категорий столь же сложной и многоуровневой природы, как и она сама: с *эмоциональностью, интенсификацией, оценочностью, персуазивностью* (персуазивность указывает на способность выражения оказывать воздействие на читателя / слушателя), *образностью, изобразительностью*.

Обращение современной лингвистики к проблемам коммуникативного поведения человека, функциональным, когнитивным, аксиологическим, лингвокультурным и некоторым другим сторонам его языковой деятельности, активизация процессов серьёзного изучения вариантных явлений во многом связаны со слабой изученностью вопросов экспрессивного языкознания. Актуальным в связи с этим является вопрос об изучении построений

экспрессивного синтаксиса. Наслаиваясь на обязательное для каждого предложения объективно-модальное значение, экспрессивность, используя свои формально выраженные или не выраженные ресурсы, а также особые конструкции, привносит в смысл предложения то или иное субъективно-модальное значение. Экспрессивность как одно из свойств языковой единицы тесно связана с категорией эмоциональной оценки и в целом с выражением эмоций у человека. Степень экспрессивности, иногда отождествляемая со степенью интенсивности, служит одним из различительных признаков для функциональных разновидностей языка.

Сегодня в русистике общепринятой считается точка зрения, согласно которой синтаксические средства экспрессивности представляют собой типизированные модификации строевых синтаксических единиц и выражаются *изменением обычного порядка слов, использованием эллиптических конструкций, повторов¹, амплификации* (рядов однородных синонимов в порядке нарастания экспрессивности), *бессоюзия и многосоюзия, параллелизма, риторических фигур (анаподотона, анжамбемана, гомеотелевтона, зевгмы, хиазма, эналлаги, эпимоны и др.)*, некоторыми нарушениями синтаксического строя (*апозиопезой – обрывом и анаколумфом*)².

Пониманием экспрессивности в синтаксисе различаются два направления. Одно из них связывает экспрессивность с понятием субъективной модальности. В «Грамматике-80» некоторые конструкции экспрессивного синтаксиса описаны как структуры с субъективно-модальным, или модально-экспрессивным, значением. Субъективная модальность противопоставляется объективной как факультативная, наслаивающаяся на объективную³. А.П. Сквородников выделяет и системно анализирует такие экспрессивные построения: *эллипсис, антиэллипсис, усечение (недоговоренность), позиционно-лексический повтор, парцелляцию*. Единой основой всей системы экспрессивных конструкций он считает противопоставление экономных и избыточных структур⁴. Например, эллиптические и усечённые конструкции как экономные противопоставляются конструкциям с лексическим повтором и антиэллипсисом как избыточным. Характерная для экспрессивных конструкций синтаксическая расчленённость расценивается как отступление от принципов синтагматической прозы, связанное с разрывом синтаксических связей как в словосочетании, так и в предложении⁵. В основе экспрессивных конструкций, образующих открытые ряды, чаще всего лежат *парцелляция, сегментация, лексический повтор с синтаксическим распространением, вопросно-ответные конструкции в монологической речи,*

¹ В.Н. Гридин, *Экспрессивность*, [в:] *Лингвистический энциклопедический словарь*, Москва 1990, с. 591.

² Л. Иванов, *Экспрессивность* [в:] *Кругосвет: Энциклопедия*, РОЛ 2003, <http://www.krugosvet.ru/articles/66/1006642/print.htm>.

³ *Русская грамматика*, Москва 1980, т.2, с. 214–236.

⁴ См. А.П. Сквородников, *Экспрессивные синтаксические конструкции современного русского литературного языка*, Томск 1981.

⁵ См. Г.Н. Акимова, *Новое в синтаксисе современного русского языка*, Москва 1990, с. 87.

номинативные предложения (преимущественно цепочки номинативных предложений), *вставные конструкции, особые случаи словорасположения*.

Экспрессивная изобразительность в русском синтаксисе понимается как художественный приём, свойственный русской литературе, начиная с конца XVIII в.⁶; большое значение, особенно в художественной публицистике XX в., приобретает подтекст. Решение общих вопросов экспрессивного синтаксиса обуславливает необходимость углублённого и всестороннего изучения особенностей выражения экспрессивных значений в разговорной речи и художественных произведениях. В данной работе мы, проанализировав 7 рассказов современной русской писательницы Татьяны Никитичны Толстой из сборника «Ночь»⁷ («Соня», «Любишь – не любишь», «На золотом крыльце сидели...», «Охота на мамонта», «Факир», «Петерс», «Сомнамбула в тумане»), попытались выделить конструкции, для которых в русском языке характерна функция выражения экспрессивных значений. При этом мы выявили конструктивные особенности этих фигур экспрессивного синтаксиса и частотность их использования в идиостиле Т.Н. Толстой.

Всего было проанализировано 140 построений с разными фигурами экспрессивного синтаксиса. Наиболее продуктивными в исследованных рассказах Т. Толстой оказались **параллелизм** (зафиксирован в 102 из 140 экспрессивных построений – 72,8%), **неполнота** и **незавершённость** (в 69 построениях – 49,3%), **повтор** (в 67 построениях – 47,8%), **междометный, усилительный** и **междометно-усилительный зачин** (в 62 построениях – 44,3%), **рубленный синтаксис** (в 53 построениях – 37,8%), **диалогизация** (в 46 построениях – 32,8%). В 36 построениях с диалогизацией зафиксированы конструкции **несобственно-прямой речи** (в 78,3% диалогизированных построений, то есть в 25,7% всех исследованных построений), в 25 – **риторический вопрос** (соответственно 54,3% и 18%).

Параллелизм проявляется в рассказах Т.Н. Толстой в расположении частей сложносочинённых предложений (ССП), бессоюзных сложных предложений (БСП), в использовании многокомпонентных рядов однородных членов (ОЧ). Имеются построения с несколькими разнотипными конструкциями параллелизма. Напр.: а) *Горящие свечи стояли, напоённые по грудь прозрачным яблочным светом, обещанием добра и покоя, розовое, жёлтое пламя качало головой, сияли глаза, шипело шампанское, Фаина пела под гитару, портрет Достоевского на стене отводил глаза; потом гадали, раскрывая Пушкина наугад* [«Петерс», с.292]. Параллелизм построения первых шести бессоюзно связанных интонацией перечисления двусоставных полных предикативных частей, в которых описаны одновременно происходящие действия, дополняется параллелизмом нескольких рядов ОЧ: двумя рядами однородных дополнений в обособленном определении первой части (*светом, обещанием; добра и покоя*), рядом однородных согласованных определений подлежащего второй части (*розовое, жёлтое*). б) *Без конца и края, без границ и заборов, в шуме и шесте, золотой на солнце, светло-зелёный в тени, тысячеярусный – от вереска до верхушек сосен; на юг – колодец с жабами, на север – белые розы и грибы, на*

⁶ См. там же, с. 86.

⁷ См. Т.Н. Толстая, *Ночь: Рассказы*, Москва 2001.

запад – комариный малинник, на востоке – черничник, шмели, обрыв, озеро, мостики [«На золотом крыльце сидели...», с.37]. Этот описательный текст-монтаж, несмотря на величину, является **контекстуально неполным**, поскольку ни разу не названо слово *лес или его синонимы. Первая часть этого БСП, по нашему мнению, является односоставным номинативно-бытийным предложением (ОНБП), которое реально представлено семью однородными определениями (четырьмя несогласованными: *без конца и края, без границ и заборов, в шуме, в шелесте* – и тремя согласованными: *золотой, светло-зелёный, тысячеярусный*) к опущенному здесь главному члену *лес*. Четыре структурно однотипные конструкции после точки с запятой также можно рассматривать как неполные ОНБП с опущенным обстоятельством места *в лесу*. Параллелизм построения этих предикативных единиц проявляется в одинаковом локативном зачине, указывающем на одну из сторон света, одинаковом интонационном оформлении синтаксической неполноты, постпозитивном расположении главных членов – номинативов. В последней части, что является особенно заметным в идиостиле Татьяны Толстой, представлен ряд ОЧ – главных членов ОНБП (*черничник, шмели, обрыв, озеро, мостики*). Особенно характерными для рассказов Т.Н. Толстой являются экспрессивно выраженные конструкции, организованные параллелизмом односоставных (часто нераспространённых номинативных) предложений, поясняющих предыдущие действия и состояния, или длинных цепочек ОЧ. Напр.: *Паша вылезает из подвала и бежит назад: послевоенный трамвайный лязг, длинный вечерний вокзал, гарь, заборы, нищие, корзинки, ветер гонит мятые бумажки по опустевшему перрону* [«На золотом крыльце сидели», с. 40]. Поясняющая часть в этом сложном предложении состоит из 6 ОНБП, 4 из которых нераспространённые (*гарь, заборы, нищие, корзинки*), и одного двусоставного распространённого (последнего). По своей организации данная конструкция является периодом.

В рассказах Т. Толстой **повтор** обычно сочетается с другими экспрессивными выразительными средствами. Элементарные типы повтора, к которым обычно относят соположенные словоформы с усилительным значением, объединяющиеся для выражения дополнительных субъективно-модальных значений (*мало-мало, быстрый-быстрый; Небо да небо вокруг* и под.) редки в рассказах писательницы. Особенностью художественного стиля Т.Н. Толстой являются построения, в которых полный или корневой повтор имеет синтаксические распространители и дистантно расположен по отношению к повторяемому или однокоренному слову. Напр.: а) *Так всё быстро, я даже ужаснуться не успел, я был не готов! Но я же был просто не готов!* [«Сомнамбула в тумане», с.359]. В этом отрывке текста трижды повторяется отрицательная частица *не* в сочетании с личным местоимением *я*, что подчёркивает невозможность называемых действий и состояний. Дважды отрицательный предикат *не готов* завершает соседствующие эмоционально окрашенные восклицательные высказывания. Экспрессию предикатного повтора усиливают также частицы *же* и *просто*. б) *Он взбегаёт на холмы, он сбегает с холмов, чист и светел под светлой луной* [«Сомнамбула в тумане», с. 405]. Экспрессия данного высказывания строится на противоречии постоянства и изменчивости. Противоположные перемещения совершает один и тот же

субъект в однотипном (холмистом) пространстве; этот субъект, как и всё пространство его перемещения, обладает признаком распространять, излучать свет, то есть является носителем света. Повтор здесь сочетается с фигурой параллелизма построения предикативных частей, входящих в состав данного БСП (без учёта обособленного определения во второй части).

Характерным для стиля Татьяны Толстой является повтор побудительных односоставных определённо-личных нераспространённых восклицательных предложений в конструкциях **несобственно-прямой речи**. Напр.: а) *Старый Петерс толкнул оконную раму – зазвенело синее стекло, вспыхнули тысячи жёлтых птиц, и голая золотая весна закричала, смеясь: **догоняй, догоняй!*** [«Петерс», с. 309]. б) *Владимир читал журнал “Катера и яхты”, жевал, крошки застревали в обеих бородах; Зоя враждебно молчала, глядела ему в лоб, посылая телепатические флюиды: **женись, женись, женись, женись, женись!*** [«Охота на мамонта», с. 242].

Междометно-усилительный зачин, в составе которого имеется междометие или/и усилительная частица, как фигура экспрессивного синтаксиса диктует экспрессию всему последующему высказыванию или даже микротексту. Напр.: а) ***Эй**, проснись, дядя Паша! Вероника-то скоро умрёт!* [«На золотом крыльце сидели», с. 43]. Это побудительное односоставное определённо-личное восклицательное предложение с междометным зачином, осложнённое обращением, выражает сфокусированную на субъект экспрессию более конкретно, чем междометие само по себе. б) ***Господи, как** страшен и враждебен мир, **как** сжалась посреди площади на ночном ветру бесприютная, неумелая душа!* [«Любишь – не любишь», с. 32]. Междометие и повторяющаяся усилительная частица делают это предложение экспрессивно выраженным. в) – ***А ну марш** из-под ног! – **Ура**, сегодня купаться будем!* [«Любишь – не любишь», с. 27]. Обе реплики этого диалогического единства содержат междометные зачины и являются односоставными восклицательными предложениями. г) ***Ой, умора!** У Сони – поклонники!* [«Соня», с. 10]. Первое предложение тут нечленимое междометное. Экспрессия выражена интонационно, лексически и синтаксически. Второе – восклицательное ОНБП. Основное средство выражения экспрессии здесь скрытое – **энантисемия**. Утвердительное по форме предложение реально является полноотрицательным (*У Сони нет поклонников!). д) ***Да** за что **же?! Позвольте?!** Но судьба уже повернулась спиной, смеётся с другими, и крепка её железная спина, – не достучишься. Хочешь – бейся в истерике, катяйся по полу, молоти ногами, хочешь – затаись и тихо зверей, накапливай в зубах порции холодного яду* [«Факир», с. 272–273]. Подобные построения экспрессивного синтаксиса иногда называют **текстом-монтажом**⁸. Междометно-усилительный зачин в таких построениях обычно контрастирует с большими синтаксическими построениями и является экспрессивным фокусом всего высказывания.

Междометно-усилительный зачин в рассказах Т. Толстой выполняет также рефлексивную функцию, выражая оценку событию, деятелю, факту и т.д.

⁸ См. С.Н. Ершова, *Фигуры экспрессивного синтаксиса в жанре «Дневник» (на материале «Грасского дневника» Г.Н.Кузнецовой)*, [в:] *Русистика и современность. Языковедение*, Выпуск 3, Rzeszów 2003, с. 241–242.

Рефлексия выражается не только зачинами. В **рамочных построениях** междометно-усилительные зачины, как правило, дают установку на экспрессивное восприятие микротекста, роль же оценочной конструкции выполняют **финальные высказывания**. Напр.: а) *Фу ты, до чего там было тепло, до чего нарядно, а как славно пахло! Сейчас бы Лору сюда, да денег побольше, да вон в тот угол под жёлтым абажуром, где салфетки кульком, где мягкие кресла! Покой измученной, полубезумной душе!* [«Сомнамбула в тумане», с. 393]. Междометие *фу ты!* и частицы *до чего*, как выполняют лишь функцию экспрессивных выразителей. О позитивной оценке описанной ситуации узнаём лишь из контекста (ведь может быть *фу до чего / как* хорошо и *фу до чего / как* плохо). Окончательную оценку автор даёт в финальном высказывании (**только здесь человек успокаивается*). Следовательно, финальная конструкция в таких рамочных построениях служит для оценки. б) *И вот пусть-ка такая вот беспечная трепетунья, вон хоть та, проделает ежедневный Галин путь, пусть провалится по брюхо в мучительную глину, в вязкий докембрий окраин, да повертится, выкарабкаваясь – вот это будет фуээ!* [«Факир», с. 277]. Частицы в зачине лишь вводят слушателя / читателя в состояние экспрессии. Рефлексия выражена в заключительном высказывании.

Вне рамочных построений реже, чем междометно-усилительный зачин, используется **междометно-усилительная финаль**. Напр.: *Свою фотографию – каштановые кудри, брови коромыслом, взгляд строгий – Зоя сунула Владимиру в бумажник: ползет за проездным или расплатиться, увидит её, такую красивую, и вскрикнет: ах, что же это я не женюсь?* [«Охота на мамонта», с. 242]. Рефлексия выражена финальной конструкцией **полупрямой речи**, содержащей междометие (*ах!*) и усилительную частицу (*же*).

Важную роль в организации экспрессивной выразительности текста играет **диалогизация** повествования. Диалогизация авторского монолога облегчает восприятие текста читателями, сообщает динамизм развитию мыслей автора и с наибольшей точностью придаёт интенсивность переживаемым чувствам⁹. В проанализированных рассказах Т. Толстой фигура диалогизации чаще всего выражается с помощью конструкций **несобственно-прямой речи** (зафиксировано 36 случаев) и **вопросительно-риторическими** предложениями (зафиксировано 25 случаев).

Обычно несобственно-прямая речь в рассказах Т. Толстой используется для выражения невысказанных мыслей персонажей. Эти конструкции характерны для текста-рассуждения либо для текста-повествования с элементами рассуждения. Напр.: а) *Учёные в белых халатах, с честными, образованными лицами, кандидаты наук, берут его, голубчика, за бока – позвольте, батенька, беспокоить, – и голубь понимает, голубь не возражает, безо всяких ко-ко протягивает им свою красную кожаную ногу – прошу, товарищи!* [«Охота на мамонта», с. 248]. Две конструкции несобственно-прямой речи (воображаемые опорная и ответная реплики) представлены в этом предложении в виде вставных конструкций. б) *Филин тонко улыбнулся, повёл бровями – дескать, может, да, внизу брал, а может, и нет. Всё-то вам надо знать* [«Факир», с. 258]. В этом примере в виде несобственно-прямой речи представлена лишь

⁹ См. там же, с. 244.

воображаемая ответная реплика, вводимая модальной частицей *дескать*. Сама несобственно-прямая речь реализуется тут в конструкциях, характерных для построений экспрессивного синтаксиса. *Может, да, внизу брал, а может, и нет*. – Сложное предложение, части которого – нечленимые слова-предложения *да* и *нет* – осложнены повторяющейся вводной конструкцией со значением вероятности. *Да* синхронизировано неполным двусоставным предложением с опущенным подлежащим. *Всё-то вам надо знать* – односоставное безличное предложение с экспрессивной инверсией прямого дополнения, усиленной частицей *-то*. в) *Осенью Зоя купила Владимиру тапки. Клеёнчатые, уютные, они ждали его в прихожей, разинув рты: сунь ножку, Вова! Здесь ты дома, здесь ты у тихой пристани! Оставайся с нами! Куда ты всё убегаешь, дурашка?* [«Охота на мамонта», с. 241]. Т. Толстая представляет несобственно-прямую речь в этом построении как воображаемые реплики одухотворяемых фигурой олицетворения тапок, недифференцированно произносимые каждым из них. Все реплики несобственно-прямой речи здесь эмоциональны, на что указывают восклицательные знаки. Из экспрессивных синтаксических средств в репликах представлены обращения (*Вова; дурашка*), повтор (*здесь, здесь*), односоставные определённо-личные побудительные предложения. г) *Просто издевательство! Как будто он никуда от Зои не собирался! А если правда не собирался? Тогда – давай женись. Любить без гарантий Зоя не хотела* [«Охота на мамонта», с. 244]. Трудно однозначно определить количество собеседников, участвующих в данном диалоге. К конструкциям несобственно прямой речи тут можно отнести четыре высказывания. Первое – нечленимое предложение, второе – с фигурой энантиосемии, третье – неполное с опущенным подлежащим, четвёртое – побудительное односоставное определённо-личное. Все – эмоционально окрашены.

Фигура диалогизации реализуется также риторическими конструкциями в составе построений несобственно-прямой речи. Напр.: а) *Не отдать ли меня во французскую группу? Там и гуляют, и кормят, и играют в лото. Конечно отдать! Ура! Но вечером француженка возвращает маме паршивую овцу* [«Любишь – не любишь», с. 28]. После риторического вопроса следует рассуждение, которое можно интерпретировать как реплику собеседника в диалоге, несобственно-прямую речь. Ответная реплика – восклицательная. Рефлексия на окончательное решение – нечленимое междометное предложение *Ура!* б) *Было ли у неё счастье? О да! Это – да! Уж что-что, а счастье у неё было* [«Соңя», с. 9]. Риторический вопрос обычно не предполагает ответа. Но его экспрессия влечёт за собой внутреннее рассуждение в форме экспрессивных ответных реплик, каждая последующая из которых повторяет предыдущую с анафорическими элементами, имеющими в роли базовых слова риторического вопроса.

Неполнота и незавершённость высказывания как фигуры экспрессивного синтаксиса функционируют для активизации самостоятельной мысленной деятельности читателя / слушателя. Реципиент должен домыслить то, на что указывает автор. Напр.: а) *Так ведь нет, следов не оставлял; всёшеньки-всё держал в своей коммуналке. Даже бритву и ту! Хотя что он там ей брил, бородастый?* [«Охота на мамонта», с. 236]. *Так ведь нет* – нечленимое

предложение с усилительным зачином. Далее следуют 3 неполных предложения: два с пропущенным подлежащим (*он*), а третье – с полностью пропущенной грамматической основой (*он держал*). В нём же экспрессия усилена частицей *даже* в зачине и анафорой *ту* в конце. Это контекстуально неполные предложения. б) *Глянешь из окна – окружная дорога, бездна тьмы, прочерчиваемая сдвоенными алыми огоньками, жёлтые жуки чьих-то фар... Вон проехало что-то большое, кивнуло огнями на колдобине...* [«Факир», с. 266–267]. Ряд ОНБП, выступающих в роли пояснения к первому обобщённо-личному односоставному в составе БСП, и двусоставное с однородными сказуемыми читатель должен продолжить своими впечатлениями от пребывания на ночной дороге. в) *Ты хочешь, чтобы у меня был хвост?.. Ну как это: всё равно?* [«Сомнамбула в тумане», с. 351]. В данном случае ответной репликой на вопрос мог быть жест, вызвавший у говорящего ещё большую экспрессию, отражённую риторическим вопросом. Фигура незавершённости первого высказывания оказывается фигурой **зияния** для всей анализируемой конструкции.

Одной из наиболее выразительных фигур экспрессивного синтаксиса является **“рубленный” синтаксис**, который выражается в разрыве синтаксических связей в словосочетании и предложении, нарушениях синтаксической цельности, сильном интонировании элементов текста и отражает процессы расчленения синтагматической цепи в разговорной речи, процессы стилистических перемещений. Обычно “рубленный” синтаксис выступает в комбинации с несколькими другими фигурами экспрессивного синтаксиса. В рассказах Т. Толстой “рубленный” синтаксис применяется, как правило, тогда, когда автор или герой находятся в состоянии психического возбуждения, перемещая акценты внимания с одного объекта на другой, когда размеренно текущее событие прерывается неожиданным действием и нарушает установившееся равновесие между человеком и миром. Напр.: а) *Замер зал, буйствует рояль, мелькают клавиши, словно взбесившаяся пастила, – бегом, бегом, всё на одном месте, всё круче; свивается сладостный смерч, сердце не выдержит, оторвётся, трепещет на последней нитке, и вдруг: кхэ. Кхэ-ррр-кхм. Кху-кху-кху. Кашлянул кто-то. И хорошо так, крепенько кашлянул* [«Сомнамбула в тумане», с. 353]. Воздействие возвышенной силы музыки прерывается прозаическим кашлем. Мастерски изображает эту ситуацию писательница, прерывая конструкцию с фигурами синтаксического параллелизма звукоподражанием, представленным как несобственно-прямая речь. б) *Дядя Паша уже знает, ждёт, распахнул заветную дверь в пещеру Аладдина. О комната! О детские сны! О дядя Паша – царь Соломон! Рог Изобилия держишь ты в могучих руках! Караван верблюдов призрачными шагами прошествовал через твой дом и потерял в летних сумерках свою багдадскую поклажу!* [«На золотом крыльце сидели...», с. 45]. Предложение с фигурой параллелизма прерывается тремя параллельными восклицательными вокативными предложениями, которые образуют вместе с последующими двумя повествовательными эмоционально окрашенными (восклицательными) предложениями конструкцию несобственно-прямой речи. в) *Булькнуло, ёкнуло, порскнуло, ахнуло – лучше гляди! – сзади, наверху, вниз головой, пропало, нету!* [«Сомнамбула в тумане», с. 370]. Почти каждое слово в этой конструкции является неполным двусоставным

предложением (**что-то* булькнуло, **что-то* ёкнуло, **что-то* порскнуло, **что-то* ахнуло, **оно* находится сзади, **оно* находится наверху, **оно* висит вниз головой, **оно* пропало). Разделяющим конструкцию на первую и вторую части является побудительное односоставное определённо-личное предложение (*лучше гляди!*), логическая развязка – нечленимое отрицательное предложение (*нету!*). г) *Что же ты такое, жизнь? Безмолвный театр китайских теней, цепь снов, лавка жулика? Или дар безответной любви – это и всё, что мне предназначено? А счастье-то? Какое счастье? Неблагодарный, ты жив, ты плачешь, что любишь, рвёшься и падаешь, и тебе этого мало? Как?.. Мало?! Ах, так, да? А больше ничего и нет* [«Петерс», с. 305]. Текст-рассуждение, в котором присутствует фигура диалогизации, риторические вопросы, энантиосемия, параллелизм, нечленимое и неполные предложения, парцелляция. Психическое состояние героя ярко отражено в синтаксисе его рассуждения. д) *А у них на окружной... боже мой, какая там сейчас густая, маслянисто-морозная тьма...* [«Факир», с. 266]. ОНБП с однородными определениями разорвано междометно-усилительной вставкой с анафорическим локализатором (*боже мой, какая...; на окружной – там*). е) *А этот приходит сам, подходит на близкое расстояние, пасётся, щиплет травку, чешет бок о стену, дремлет на солнышке, изображает ручного. Позволяет себя доить! А загон-то открыт, открыт с четырёх сторон! Да боже мой, ведь и загона-то нет! Ведь уйдёт, уйдёт же, господи! Изгородь нужна, частокол, верёвки, канаты!* [«Охота на мамонта», с. 248]. Конструкция с фигурой параллелизма прерывается мыслями женщины о незащищённости своего счастья, которое внезапно может рухнуть. Эти мысли пугают, сбивают ровное их развитие, делая прерывистыми и наполненными экспрессией.

Одной из составляющих фигуры «рубленого» синтаксиса является **парцелляция** – намеренное синтаксическое и интонационное расчленение предложения на несколько высказываний. Парцелляция повышает коммуникативные и функциональные возможности всей экспрессивной конструкции по сравнению с её исходным синтетическим вариантом. Как процесс, протекающий на синтаксическом уровне языка, парцелляция внутренне противоречива. Парцеллят приобретает явные признаки самостоятельного предложения, однако эта самостоятельность условна, так как парцеллят сохраняет свою зависимость от целого. Такая особенность данного приёма придаёт тексту дополнительную экспрессию. Напр.: а) *Сон приходил, приглашал в свои лазы и коридоры, назначал встречи на потайных лестницах, запирали двери и перестраивал знакомые дома, пугая чуланами, бабами, чумными бубонами. Чёрными бубнами, быстро вёл по тёмным переходам и вталкивал в душную комнату, где за столом, лохматый и усмехающийся, сидел, крутя пальцами, знаток многих нехороших вещей* [«Петерс», с. 291]. На стыке парцеллята с предыдущей частью высказывания автор использует приём параномазии, подчёркивая при этом ирреальность описываемого. б) *Зачесалась рука под ковбойкой – э, да на ней мураши какие-то! Кусаются!.. Ч-чёрт... Он плюнул тяжёлую кокорыжину назад – брызги, – булькнула, накренилась, затонула. Эх... Не так он хотел... Но ведь укусил же кто-то!* [«Сомнамбула в тумане», с. 371]. В данной конструкции с фигурой «рубленого» синтаксиса парцелляция

отделяет сказуемое от подлежащего, подчёркивая этим экспрессивность отделённого действия (представьте себе, что вас неожиданно кусают какие-то насекомые).

Таким образом, фигуры экспрессивного синтаксиса являются неотъемлемой частью художественного стиля Татьяны Толстой. В экспрессивно окрашенных построениях писательница, как правило, использует комбинации разных выразительных синтаксических средств, среди которых наиболее продуктивны следующие:

- разные конструкции синтаксического параллелизма (нанизывание рядов однородных членов предложения, параллелизм частей сложносочинённого и бессоюзного сложного предложений);
- полный и корневой повторы, дистантно расположенные по отношению к повторяемому или однокоренному слову и имеющие синтаксические распространители;
- междометно-усилительный зачин и междометно-усилительная финаль как самостоятельные конструкции либо взаимосвязанные в составе рамочных построений;
- диалогизация авторского монолога при помощи конструкций несобственно-прямой речи, полупрямой речи, вопросительно-риторических предложений, энантиосемичных построений;
- неполнота, незавершённость высказываний и зияние;
- “рубленный” синтаксис в комбинации с разнообразными средствами выражения экспрессии и парцелляция, представленные, как правило, в тексте-монтаже.

Литература

- Акимова Г.Н., *Новое в синтаксисе современного русского языка*, Москва 1990.
- Гридин В.Н., *Экспрессивность*, [в:] *Лингвистический энциклопедический словарь*, Москва 1990, с. 591.
- Ершова С.Н., *Фигуры экспрессивного синтаксиса в жанре «Дневник» (на материале «Грасского дневника» Г.Н. Кузнецовой)*, [в:] *Русистика и современность. Языковедение*, Выпуск 3, Rzeszów 2003, с. 234–248.
- Иванов Л., *Экспрессивность*, [в:] *Кругосвет: Энциклопедия*, РОЛ 2003, <http://www.krugosvet.ru/articles/66/1006642/print.htm>.
- Русская грамматика: В 2-х т.*, под ред. Н.Ю. Шведовой, Москва 1980, т. 2.
- Сковородников А.П., *Экспрессивные синтаксические конструкции современного русского литературного языка*, Томск 1981.
- Толстая Т.Н., *Ночь: Рассказы*, Москва 2001.

Фигуры экспрессивного синтаксиса в рассказах Татьяны Толстой

Резюме

В статье выявлены и проанализированы фигуры экспрессивного синтаксиса, которые чаще всего использует в художественной речи современная русская писательница Татьяна Толстая: синтаксический параллелизм, повтор, междометно-усилительные зачин и финаль, диалогизированный монолог, неполные высказывания, зияние, рубленный синтаксис, парцелляция, текст-монтаж, некоторые другие. Их комбинации оказывают влияние на формирование неповторимого идиостиля Татьяны Толстой.

Ключевые слова: русский язык, фигура экспрессивного синтаксиса, текст-монтаж, идиостиль Татьяны Толстой

Figures of expressive syntax in stories of Tatiana Tolstaya

Abstract

The paper specifies and analyzes the figures of expressive syntax that the contemporary Russian writer Tatyana Tolstaya uses most often in her works of fiction: syntactic parallelism, repetition, interjectional-amplifying starting and ending, dialogised monologue, incomplete utterances, hiatus, chopped syntax, parcellation, text-installation, etc. Combinations of these figures affect the formation of the original idiostyle of Tatiana Tolstaya.

Key words: Russian, figures of expressive syntax, text-installation, idiostyle of Tatiana Tolstaya

Евгений Степанов

Одесский национальный университет имени И.И. Мечникова

Кандидат филологических наук,

доцент кафедры русского языка

e-mail: stepanov.odessa@gmail.com

+38 048 748 88 54

Ольга Трофимова

«...подпискою обязуюсь»: грамматика¹ русского комиссива (на материале документов XVIII века)

Словосочетание, вынесенное в заголовок статьи, сегодня в русской речи отсутствует, но его «осколки» остались в художественных текстах XX века, например: **Обязуюсь в том, что взяла** у больной Киры Петровны Реутовой двадцать рублей до получки [И. Грекова. Перелом (1987)]. Национальный корпус русского языка² не зафиксировал ни одного случая употребления словосочетания, но найдено 100 документов и 118 вхождений глагольной словоформы в цитатах из публицистических, художественных и деловых текстов (расписок, должностной инструкции водителя, заявлений и пр.), как правило, в модели *обязуюсь*³ + инфинитив, например:

Если надо для дела, я обязуюсь играть не столь талантливо, — пообещала Раневская [Дмитрий Щеглов. Последнее лето Папанова (2003) // «Совершенно секретно», 2003.04.03]; В этой расписке был такой пункт: «На время съёмочного процесса обязуюсь воспринимать группу, работающую над фильмом, как свою

¹ Название статьи подсказал тезис А.С. Пушкина «Грамматика не предписывает законов языку, но изъясняет и утверждает его обычаи», на который на с. 65 ссылается В.В. Колесов в своей книге *Жизнь происходит от слова...*

² www.ruscorpora.ru. Общий корпус НКРЯ состоит из 59 486 документов.

³ В Малом академическом словаре русского языка словоформа указана в словарной статье к *обязываться* – несов. к *обязаться* ‘взять на себя какое-л. обязательство’ (*Словарь русского языка: В 4-х т.*, под ред. А.П. Евгеньевой, 3-е изд., стереотип, т. 2, Москва 1986). В *Новом словаре русского языка. Толково-словообразовательном* Т.Ф. Ефремовой приводится следующего толкование: «*Обязываться*, несов. 1) Брать на себя какое-л. обязательство. 2) разг. Становиться кому-л. обязанным отплатить за оказанную услугу, любезность. 3) Страд. к глаг.: *обязывать*». В проекции на эту многозначность интересна первая же цитата, приведенная интернет-энциклопедией «Кругосвет»: «Выборщики, как правило, *обязываются* поддерживать кандидата своей партии, хотя это ..., выраженное на предварительных выборах местными избирателями, *обязывает* делегатов голосовать на общенациональном съезде...» (www.krugosvet.ru/enc/strany_mira/SOEDINENNIE_SHTATI_AMERIKI.html): выборщики выступают как самостоятельные действующие субъекты (значение 1) или же объекты воздействия (значение 2)?

семью **и помогать** всем, кто рядом со мной, познавать своих персонажей] [Федор Павлов-Андреевич. Четыре из восьми (2002) // «Домовой», 2002.04.04]

Фиксация лексемы *подписка* в корпусе иллюстрирует преимущественное употребление её в 1-ом словарном значении 'договор, условие на доставку, присылку печатного издания' – и значительно реже – в значении 'письменное обязательство в чем-л.⁴. Это значение близко к толкованию **«Подписка. Обязательство, утвержденное своеручным подписанием звания, имени и прозвания своего»⁵** – единственному в «Словаре Академии Российской» (первом русском толковом словаре конца XVIII века). Обратим внимание на актуализацию в толкованиях XX и XVIII вв. модальной семы (речевой жанр *обязательства*) и семы процессуальности (однокоренные прилагательное *письменное* и отглагольное существительное *подписание*). Но только в толковании XVIII в., во-первых, актуализируется сема адресанта (*своеручный, свой*), во-вторых, предусматривается некий фиксирующий её на письме формуляр (реквизит «текст», содержащий обязательство, + реквизит «подпись», состоящий из трех компонентов: звание, имя, прозвание) – то есть речь идет о сложившемся в жанровом отношении документе. Значение XVIII века фиксирует в качестве 1-го Словарь 1847 г.⁶. В словаре В.И. Даля *подписка* толкуется внутри словарной статьи с доминантой *подписывать* наряду с другими однокоренными словами. При этом слова *подписыванье, подписанье, подпись* и *подписка*, «у приказных также *подпись*» объединяются в значениях: 1) действие по глаголу, 2) «подпись, все, что подписано внизу чего-либо», 3) «рукоприкладство, своеручное писание имени, прозвания». Но для *подписки* указываются и другие значения: 1) «обязательство или заявленье на бумагу, подписанное давателемъ. *Объявить ему о семъ с подпиской, обязать къ чему, взявъ въ томъ подписку, или требовать расписки, что дѣло ему объявлено*», 2) «*Подписка на журналъ, заявленье о желаніи получать его, со вносомъ платы*», 3) «*Подписка подо что, подъ кого*» – «поддѣлка подписи, рукописи»⁷. Для нас важным является первое из этих значений: речь идет об отдельном документном жанре.

Анализ словарных значений актуализирует свойственное лингвистике XX века восприятие «слова как действия»⁸, заставляя обратить внимание на отражение в русской лексеме *подписка* следов взаимодействия концептов *слово* и *дело*. В.В. Колесов, размышляя о «предпочтениях русского менталитета в традиционном его виде», в частности пишет:

⁴ *Словарь русского языка: В 4-х т.*, т. 3, Москва 1987.

⁵ *Словарь Академии Российской, Части I–VI*, В Санкт-Петербурге, при Императорской Академии Наук, 1800–1822.

⁶ «*Подписка*. 1) Обязательство, утвержденное своеручным подписанием звания, имени и прозвания своего; 2) Подражаніе чужому письму, или кисти; 3) Ложная или фальшивая подпись; 4) Письменное изъявленье желанія получать книги или что иное за определенную плату» (*Словарь церковнославянского и русского языка, составленный Вторым отделением Императорской Академии Наук, томъ III, Санкт-Петербург, 1847*).

⁷ *Толковый словарь живаго великорусскаго языка*. Владимира Даля, томъ третій. С.-Петербургъ, Москва, 1882.

⁸ См. ставшую классической статью Дж. Л. Остина *Слово как действие*.

«2. Мысль расценивается как дело. За мысли можно судить так же, как и за совершенное дело»; «3. Всякое дело, мысль или слово (три ипостаси логоса) окрашены нравственным идеалом»; «9. (...) не отвлеченная “справедливость”, а диалектическое двуединство “право-долг” обеспечивает регулирование человеческого поведения в обществе. (...) Лукавство социальной терминологии привело к замене двуединой формулы “право-долг” новым церковнославянизмом “обязанности” (...); «11. Право говорить должно подкрепляться правом решать, иначе возникает то, что в народе называется “болтовней”. Это своего рода вариация единства “право-долг”, но обращенного уже не к действию, а к речи. (...) **Сказал** – одновременно значит и “сделал, исполнил”»¹⁰.

Таким образом, вынесенное в заголовок словосочетание является одним из способов вербализации связи мысли–слова–дела. В социально-административном дискурсе слово, или речевой акт, зафиксированное на бумаге (= в документе) в формате речевого жанра, становится гарантом дела, «точной» пересечения мира виртуального и мира реального. Как свидетельствуют изучаемые архивные документы, гарантия проецируется не только на будущее (что в типологии речевых поступков передается формулой комиссива, объединяющего, по Дж.Л. Остину, «принятие обязательства» и «заявление о намерении», ибо «оба эти понятия покрывает первичный перформатив “буду”»¹¹), но и на прошлое, как ни странно это может показаться носителю русского языка XXI века.

Считается, что как самостоятельный жанр *подписка* появилась в XVI веке¹². Это мнение А.Н. Качалкина подтверждается и тем фактом, что часть сохра-

⁹ Новизну слова *обязанность* для русского языка XVIII века может подчеркнуть тот факт, что оно не фиксируется исследователями в качестве средства выражения модальности в русском языке предшествующего периода, а, например, функционирование предикатива *должно* прослеживается начиная с XI века (См.: С.С. Ваулина, *Эволюция средств выражения модальности в русском языке*, Ленинград 1988). Этимологические словари отмечают родственные отношения книжного *обязать* (из старославянского) и русского, «народного» *обязать*: «К *вязать*, *узы* (...) Выпадение -в-, как в *обитель*, *обычай* и т.п. Любопытно отметить, что заимствованное *обязать* имеет отвлеченное значение, а русское *обязать* конкретное» (А.Г. Преображенский, *Этимологический словарь русского языка*, т. 1).

¹⁰ В.В. Колесов, «*Жизнь происходит от слова...*», с. 122–128.

¹¹ Дж.Л. Остин, *Слово как действие*, с. 124. Ср. цитату из архивной подписки 1796 г.: «...сею подпискою обязуются в том, что они... вести себя в добром состоянии будут, воровства и других противных законам поступок чинить не станут...» (ГАТО, ф. И-6, оп. 1, д. 25, л. 239).

¹² Изучавший допетровские документы европейской части России московский лингвист А.Н. Качалкин указывает, что «в условиях завершения государственной централизации пересматриваются прежние права на владения, (...) владельцы уточняют свои права на вотчины. По этой причине очень распространилось употребление *выписей*, удостоверяющих существование подлинного текста целого документа, преимущественно *книг*; выписи функционировали как самостоятельные документы (...). Необходимость подтверждать свои права на владения, имущество породила и специальный реквизит документа, продлевающий, усиливающий его верительные качества. Этот реквизит, располагаемый под основным документом, назвался *подписью* или *под-*

нившихся в тюменском архиве¹³ подписок – именно о земельных владениях, своих и чужих, с уточнением их границ, например, опубликованная нами подписка жителей деревни Золотой о пашенной земле 1766 г.¹⁴ или впервые публикуемые ниже скорописные документы¹⁵:

1765^{го} году октября дня Тюмень|ского ведомства Пышминского стана | разны^х деревень обыватели аимянно | деревни Копытовой Иванъ Первуши^н | Василеи Копытовъ Быковой Ива^н | Ростовицынъ Заиковой Василеи | Зуевъ сказали по про^обде деревни | Копытовой разночинца Егора Ко|пытова ево старинную данную | землю свидете^лствовали ипось|видете^лству явилось той земли | кпахоте го^аной пять десятин¹⁶ | аболѣе того nebude^т которая зе^мля | расделена почастя^м: неводномъ | месте новдевя^тна^тцати¹⁷ местахъ | вкои^х места^х непоравному | чи^слу где десятина икде деся^т | сажень имѣиѣ ахотя той | земле наследники Михаило Копы|товъ збрато^м имѣютца токмо | уни^х имѣтца уни^х поособливо^н | данои заПышмоу рекою пахо^тной | земли три^тца^т десяти^н которая | ивпи^сцовои книге записана | задомъ и^х вче^м ипо^лписуе^мся¹⁸ ксеи подписке вместо Јвана Певушина¹⁹ про|шение^м и^х о^тставно^н копеистъ | Федоръ Мосягинъ руку приложи^л²⁰

Как видим, *подпиской* здесь называется текст, основная речевая интенция которого – сообщение о прошлом событии. Юридическую силу ему придают три глагольные формы: *сказали*, *свидетельствовали*, *подписуемся*, которые в типологии иллокутивных целей могут рассматриваться и как комиссивы (ибо свидетельствуют о принятии на себя субъектами речи обязательства соблюдать статус ответственного адресанта, определенный самим фактом обращения к ним представителей власти), и как констативы (репрезентативы,

пиской и приравнивался к самостоятельному документу. (...) Принцип закрепления действия предшествующего документа при помощи подписи или подписки распространенся к концу XVI в. и на частные акты (...). Доказательством функционирования *подписки* как самостоятельного документа является изготовление с неё копий» (А.Н. Качалкин, *Жанры русского документа допетровской эпохи*, с. 78, 79). В историческом архиве Тюмени, первого русского города, годом основания которого считается 1586 год, среди анализируемых нами документов периода правления императрицы Екатерины Второй (1762–1796 гг.) *подписки* сохранились и как самостоятельные документы, и как реквизит формуляра документов других жанров. Настоящая статья написана на материале *подписок-документов*.

¹³ ГУТО «Государственный архив Тюменской области» (далее – ГАТО).

¹⁴ О.В. Трофимова, *Тюменская деловая письменность. 1762–1796 гг.*, с. 347.

¹⁵ При публикации документа сохраняем графику и пунктуацию оригинала, слитное со знаменательным словом написание предлогов, союзов и частиц; конец строки обозначаем чертой «|», а также вводим отсутствующую в оригинале прописную букву во всех именах собственных.

¹⁶ Последние два слова вписаны по подчищенному тексту новым почерком.

¹⁷ Последнее слово вписано по стёртому тем же новым почерком.

¹⁸ Реквизит «подпись» далее – другим почерком.

¹⁹ Далее опущены имена и фамилии 4 человек. – О.Т.

²⁰ ГАТО, ф. И-47, оп. 1, д. 2257, л. 6, 6 об.

оперирующие информацией)²¹. В административной ситуации статусности адресанта использование этих глаголов удовлетворяет условию искренности говорящего; глаголы входят в содержательно-описательную категорию²²; и хотя среди них нет формы «классического перформатива» 1-го лица единственного числа настоящего времени, по функции их следует считать перформативами²³.

Обратим внимание на контактную позицию глагольной формы и отглагольного существительного *подписуемся* – *подписка*, ср. также коррелирующие в документах, не имеющих реквизита «самоназвание», пары *сообщить* – *сообщение*, *допрашиван* – *допрос*, *определен* – *определение* и др.), можно судить только по реквизиту «подпись».

Цель следующего документа – информирование, направленное, в отличие от предыдущего, не в прошлое, а в будущее: «...*подпискою объявили, что... потопления... не будет и спору... произвожено быть не имеет*²⁴». Адресанты принимают на себя обязательство быть ответственными за совпадение правды жизни и правды текста (функцию же нотариуса выполняет капитан Дедюхин – должностное лицо, командированное на место события):

1768²⁰ года јюля 18²⁰ числа всиле при^сланногѡ :/ | ј^сибир^ской губернской канцелярии маия о^м 12²⁰ | числа сего 1768 года указу поблизости живу^тщие бли^з реки Иски крестьяна разныхъ | деревень а имянно Антроповой Григорей | Сычевъ Андриюшиной Гаврило Зырянѡв²⁵ сею по^дпискою о^бъявили что о^твновь строущеися на | речке Јске мельницы крестьянамъ Богдано^выми иДесятковымъ прибылоу втои | речке водою пашенны^м ј поскотинны^м | земля^м исенны^м покоса^м идругимъ | мельницам потопления ивкрестьянъ^ски^х дача^х со^дну сторону пописцовои | кѣнге «191²⁰»²⁶ году состои^т:/ небуде^т испору | о^тни^х крестьянъ никакого какъ ныне такъ | јвпредъ произвожено быть неимеетъ :/ | ксеи по^дписке вместо крестьянъ Григорья Сычева стоварыщи и^х про^бои Тавдинской слободы | по^дячей Јванъ Рыко^с по^дписуюсь²⁷ засвидете^сть/вова^т капитанъ Пахомъ Дедюхинъ²⁸

Анализ находящихся в нашем распоряжении около 100 архивных источников (извлеченных методом случайной выборки), содержащих в реквизите

²¹ И.Н. Борисова, *Русский разговорный диалог: структура и динамика*, с. 158, 160.

²² В.В. Богданов, *Предложение и текст в содержательном аспекте*, с. 157.

²³ См. также: О.В. Трофимова, *Перформативный глагол как критерий жанровой квалификации русского документа XVIII века*.

²⁴ В анализируемых документах сохраняется употребление оборота *иметь + инфинитив* для образования временных конструкций с оттенком модальности. В *Словаре русского языка XVIII века* такое грамматикализованное значение указывается для глагола *имѣть* как 5 и 6 значения (из шести). О частотности подобных конструкций в тюменских документах II половины XVIII века см. в статье: Трофимова, 2006.

²⁵ Далее опущены названия 4 деревень и имена и фамилии 13 крестьян. – О.Т.

²⁶ Т.е. 7191 года по старому стилю, «от сотворения мира», или 1683 года по новому стилю, «от Рождества Христова».

²⁷ Свидетельство далее новым почерком.

²⁸ ГАТО, ф. И-47, оп. 1, д. 3670, л. 5.

«подпись» слово *подписка*, показал, что сочетание *сею подпискою объявил*, что как тексто- и жанрообразующее грамматическое ядро фиксируется еще в 4 источниках (1768–92 гг.); кроме того, регистрируем модели: *в чем подписку дала* (1765 г.), *в чем подписуемся* (1766–90 гг.), *взял на поруки...*, *в том и подписуется* (1781–87 гг.), *дали подписку в том, что* (1766–95 гг.), например:

*1787 году июня 18 дня утюме|нски^x городнически^x дель^x тюменской | емщикъ Никифоръ Вятченинъ | далъ сию **подписку вто^m** что жженой | своєю Татьяной Ивановой о^mныне | впредь **жить буду** добропорядочно | иникаки^x ссоръ идрактъ **иметь небуду** | вчемъ иподписуюсь²⁹ ксей по^oписке | вместо емщика Никифора Вя^mченина | ево прозбою тюменской крестьяниⁿ Осипъ | Костыгинъ руку приложилъ³⁰*

Первая фиксация конструкции *сея подпиской обязуется в том, что* в наших документах относится к 1769 г., однако так как синтаксическая структура её «затемнена», представим сначала («преодолев» приметы скорописи) документ более поздний, но грамматически «прозрачный».

(1) 1779 году октября 24 числа в Тюменской воеводской канцелярии жительствующий Тюменского ведомства деревни Ушаковой крестьянин Иван Алексеев сын Крапивин обязуется сею, **подпискою в том (2) что он** из жительства своего, помянутой деревни Ушаковой, уехать без ведома своей команды не имеет. **(3) Иван Крапивин руку приложил**³¹.

Три предикативные части документа распределены по реквизитам «текст» (1, 2) и «подпись» (3); «текст» представляет собой конструкцию сложноподчиненного предложения с придаточным местоименно-соотносительным (по структуре), изъяснительным (по семантике). При этом синтаксическая связь управления «тянется» к придаточному через «посредника», катафорическое указательное местоимение *в том*, одновременно и от лексики *подписка*³² (ср. примеры выше), и от опорного слова *обязуется* – ср. с цитатой из И. Грековой в начале статьи или с синтаксическим ядром архивной подписки «... *сим обязуемся в том, что... приемыша... принимаем..., да и он сам желание имеет*»³³.

Однако местоименного «посредника», усложняющего синтаксическую структуру текста, следствием чего является его двойная семантическая дублетность (ср.: *подпиской ~ руку приложил; в том = он... уехать не имеет*),

²⁹ Рукоприложение далее новым почерком.

³⁰ ГАТО, ф. И-3, оп. 1, д. 647, л. 125. Опубликовано в: О.В. Трофимова, *Тюменская деловая письменность. 1762–1796 гг.*, с. 352.

³¹ ГАТО, ф. И-47, оп. 1, д. 3509, л. 26 (рукопиложение сделано новым почерком).

³² С учетом особенностей формуляра (и композиции) документа, не исключена «предсказывающая» катафорическая направленность существительного *подписка* в реквизите «текст» на реквизит «подпись», тем более что субъект деонтической модальности, субъект потенциального акционального действия совпадают с адресантом документа (ср. номинативную цепочку *Иван Алексеев сын Крапивин – он – Иван Крапивин*).

³³ ГАТО, ф. И-10, оп. 1, д. 1437, л. 7.

может и не быть. Начало синтаксическому «опрощению» и активному продвижению новой модели в современный русский язык (см. выше примеры из НКРЯ) положили документы XVIII века, например:

«Объявитель сего ис польских пленных конфедератов Иван Шелковской по желанию его принял веру греческого исповедания и под присягою **обязался быть в вечном** ея императорскому величеству самодержицы всероссийской **подданстве...**» (пашпорт 1774 г.); «...**обязуемся не пьянствовать, не воровать** и с воровскими людьми **не знатца**» (договор 1795 г.); «с начала подписания моего контракта **обязуюсь платить** до окончания годового термина...» (копия с контракта 1796 г.)³⁴.

Возвращаясь к подписке 1769 г., «разобьем» её текст на предикативные части, выделим двусоставные и односоставные грамматические основы, **средства связи** и опорное слово*, а также представим схему сложной синтаксической конструкции:

(1) 1769 года августа 9 дня Тюменского ведомства юрт Тураевских бухаретин Назар Досманов в Тюменской воеводской канцелярии сей подпискою обязуется* **в том,**

(2) **что**

(3) по обязательству его за взятые им в Уковском винокуренном заводе деньги двадцать рублей поставить рогож тысячу не состоятелен,

(4) **да и** по нынешнему страдному времени изыскать оных нигде было не можно;

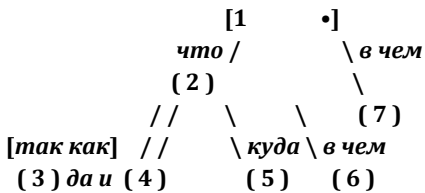
(2) **того для** вместо тех подлежащих к платежу денег поставить должен возкою с вином бочек,

(5) **куда** от того заводу потребуется,

(2) безо всяких моих приносимых отговорок,

(6) **в чем** представляю по себе сообщника за отданные от меня деньги, тех рогож поставщика, поручателем ясашого татарина Кучаша Енитарова,

(7) **в чем** и подписуется³⁵



³⁴ О.В. Трофимова, *Тюменская деловая письменность. 1762–1796 гг.*, с. 328, 61, 180. Ср.: **обязался в том, что** буду (→ быть, по грамматическим законам русского языка) в подданстве...; **обязуемся в том, что** не будем пьянствовать...; **обязуюсь в том, что** буду платить..., а также: ...Иван Алексеев сын Крапивин **обязуется** сею подпискою **в том, (2) что он** из жительства своего, помянутой деревни Ушаковой, уехать без ведома своей команды **не имеет.** (→ не уезжать).

³⁵ ГАТО, ф. И-47, оп. 1, д. 5391, л. 20, 20 об. Реквизит «подпись» выполнена другим почерком: *Ксеи подѣписке вместо бухаретина Назара Досманова ꙗпонемъ поручителя есашнова Кучаше Енитарова прозба ꙗхъ верхотурской неверстаной сынбояꙗской Федоръ Аꙗбучеꙗ руку приложиꙗ.*

Для «перевода» на язык современного исследователя можно, изменив порядок частей, вывести части (3, 4) из интерпозиции внутри части (2) и формализовать причинно-следственные отношения между ними – получаем лексико-синтаксический каркас: *обязуется [в том, что] поставить [должен...] бочек... [так как рогож поставить не в состоянии, да и найти рогожи нельзя], в чем представляет поручителем... Енитарова [в чем] и подписуется.* Значение формы настоящего времени комиссива *обязуется*, вероятно, можно рассматривать как настоящее расширенное: но если точка отсчета определена реквизитом «дата», то временная граница прекращения обязательства не конкретизирована, как и в представленных выше подписках. Это может быть и настоящее постоянное (ср.: «...сей подпискою обязуемся в том, что ... Степан Зимов – человек состояния хорошего и неподозрительный»³⁶) или настоящее намеченного действия³⁷, например: «1796 года марта 13 дня ... Важенин сею подпискою обязуется в том, что живущих у него внучат... увольняет для общего сожития в крепость Святого Петра к сестре их родной... с тем, если их отец потребует к себе, то он, Важенин, должен их своим коштом к нему доставить, в том и подписуется»³⁸.

Подписка 1769 г., как и прочие аналогичные документы, являет пример функционирования «правил наследования модальностей», недостаточно изученных в современной лингвистике³⁹. В документе взаимодействует несколько модальных модификаторов предиката⁴⁰ – лексических и лексико-грамматических показателей внутреннего долга и внешней обязанности, обращенных и в прошлое, и в будущее: *обязуется, обязательство, не состоятелен, подлежащие, должен, поручатель*, подписка 1796 г. – *обязуется и должен*⁴¹. В подписке 1769 г. фиксируем два из компонентов словообразовательного гнезда, полный состав которого в анализируемых тюменских источниках следующий (с указанием количества документов и даты первой фиксации): *обязан* (6; 1762), *обязать* (13; 1766), *обязание* (1; 1762), *обязательство* (5; 1769), *обязаться* (5; 1774), *обязываться* (10; 1777), *обязательный* (3; 1791), *обязатель* (1; 1793), *обязанность* (2; 1795)⁴².

³⁶ ГАТО, ф. И-6, оп. 1, д. 143, л. 1.

³⁷ Русская грамматика, т. 2, с. 632.

³⁸ ГАТО, ф. И-6, оп. 1, д. 25, л. 137, 137 об.

³⁹ А.Н. Баранов, *Лингвистическая экспертиза текста*, с. 37.

⁴⁰ Г.А. Золотова, Н.К. Онипенко, М.Ю. Сидорова, *Коммуникативная грамматика русского языка*, с. 317.

⁴¹ Представляется, что сложные «взаимоотношения» между *должен* и *обязан* в сознании носителей современного русского языка могут быть «приоткрыты» цитатой из рекламы, прозвучавшей на «Радио России» пару лет назад: «Эти лекарства не просто должны, а обязаны быть в вашей домашней аптечке».

⁴² Из этого списка только *обязатель* не представлен в НКРЯ. Частотность прочих иллюстрируют данные о количестве вхождений: *обязан* (-а, -о, -ы) – 13358; *обязать* (инфинитив и личные формы) – 815; *обязывать* (инфинитив и личные формы) – 1366; *обязание* – 12; *обязательство* (в Им.-В. п.) – 955; *обязательный* (в Им.-В. п.) – 2079; *обязанность* (в Им.-В. п.) – 3547. При этом *должен* (-а, -о, -ы) – 206687 вхождений в 52464 текстах (NB! Общий корпус НКРЯ состоит из 59 486 документов).

Обратим внимание: переходный глагол, директив *обязать* ('предписать в обязательном порядке сделать что-то')⁴³ структурирует четкую коммуникативную ситуацию волеизъявления, направленного на внешнего адресата, например, в *объявлении* коменданта Андрея Устьянцова, адресованного жителям Тюмени, от 19 декабря 1773 г.: «...сибирского губернатора Чичерина ордером... велено ...ныне в Тюмени от полиции публиковать, чтоб никто и ни под каким видом, не объявляя в полиции, приезжающих к себе в дома не впускали, не исключая, хотя бы у кого и собственники откуда приехали, и всех жителей **в том обязать подписками**»⁴⁴; см. также: указ Д.И. Чичерина 766 г. «...дать им от оной Тюменской канцелярии билеты, но токмо при том смотреть, чтоб они в российские города проттить не могли, и **в том их обязать подпискою**»⁴⁵), а также цитату из новейшего распоряжения от 23 ноября 2011 г.: «В соответствии с (...) Правилами внутреннего распорядка ТюмГУ **обязываю**: 1. Всех студентов сдавать верхнюю одежду в гардероб...».

Что касается собственно-возвратного глагола, комиссива *обязаться/обязываться*⁴⁶, то в контекстах его употребления мера инициативности и добровольности адресанта в принятии на себя обязательства оказывается спорной, особенно если проанализировать синонимический ряд с доминантой *обязываться*: «приневоливаться, одалживаться, предписываться, принуждаться, заставляться, вынуждаться, обещать, братья, ручаться, сулить, давать обещание, давать слово, сулиться, обещаться, брать на себя обязательство, клясться»⁴⁷. При формальном совпадении в позиции адресанта волеизъявителя и волеисполнителя значимо исследование деонтической модальности (от греч. *deon* – долг, правильность): «Нормативная модальность, модальность долженствования, – характеристика практического действия с точки зрения определенной системы норм»⁴⁸.

Глагол *обязаться/обязываться* уходит из современной речи, но в ней остается активным краткое страдательное причастие *обязан*, «теряющее», правда, в лингвистических исследованиях на фоне *должен*. Так, в докладе «Вид, модальность и отрицание: корпусное исследование» (28.05.2007) Н.Д. Арутюнова приводит только один соответствующий пример: «(29) а. Ты **обязан** за нее *заплатить* б. Ты **не обязан** за нее *платить*», анализируя

⁴³ И.К. Сазонова, *Толково-грамматический словарь русского языка*, с. 280.

⁴⁴ О.В. Трофимова, *Тюменская деловая письменность, 1762–1796 гг.*, с. 211. Зимой 1773–74 гг. город готовился обороняться от «злодейских толп» под руководством Емельяна Пугачева.

⁴⁵ О.В. Трофимова, *Тюменская деловая письменность. 1762–1796 гг.*, с. 490.

⁴⁶ «Малочисленность собственно-возвратных глаголов, надо полагать, объясняется тем, что только в редких случаях одно и то же лицо (предмет) является одновременно и субъектом и объектом действия (...) Другой причиной малочисленности разбираемых форм является то, что они все более и более заменяются сочетаниями глаголов с местоимениями *себя*» (И.П. Мучник, *Грамматические категории глагола и имени в современном русском языке*, с. 49). Действительность же показывает, что подобных примеров – *обязать себя* – в русской речи практически нет.

⁴⁷ http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/254545.

⁴⁸ А. Ивин, А. Никифорович, *Словарь по логике*, 1998 (НЭС, <http://terme.ru>).

который, говорит о «деонтической необходимости⁴⁹ (= ‘моральное обязательство’))» и подчеркивает: «глагол обязательно агентивный»⁵⁰. Нам представляется важным и следующее замечание Н.Д. Арутюновой, свидетельствующее о непроясненности ситуации: «То ли есть что-то в семантике *не надо, не нужно*, что не укладывается в понятие ДЕОНТИЧЕСКАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ...». Вероятно, в этот список можно включить и *обязан*. Ведь если на материале конструкции *обязуюсь + инфинитив* можно говорить о субъектном инфинитиве⁵¹, *обязать + инфинитив* – об объектном инфинитиве, то анализировать субъектно-объектные роли конструкции *обязан + инфинитив* следует на пространстве целого текста с учетом его экстралингвистической составляющей, в том числе документа со всей системой его реквизитов.

Возвращаясь к сочетанию «...подпискою обязуюсь», вынесенному в заголовки статьи, приходим к выводу, что в его истории, неотрывной от истории социальных отношений и формирования документной системы государства, в истории словосочетания, зависимой от становления грамматики русского текста, можно выделить три этапа:

1) этап достаточности самого факта подписания: *сказал* (тем более если твои слова *записаны*, что было обычно в условиях неграмотности адресанта и имело следствием включение в коммуникативный акт свидетелей: писца и поручителя) = *сделал*, т.е. *подписался* = ‘*обязался*’;

2) этап избыточности в выражении ответственности: *подпиской обязался* (≈ *обязательством обязался*);

3) снятие избыточности и специализация значений: *обязался* (с перфектным значением ‘*остаётся обязанным*’) → *обязан*.

Жанр *подписки* сфокусировался преимущественно в *подписке о невыезде*, а в общей системе документных жанров превратился в *расписку*. Жанрообразующим перформативом расписки в реквизите «текст» осталась словоформа *обязуюсь*, «вещественное значение» сосредоточилось в примыкающем субъектном инфинитиве, а финальным реквизитом является подпись адресанта.

⁴⁹ «Деонтическая необходимость – это обязательство. Агнс считает, что обязан совершить некоторое действие, если есть человек или институция, авторитет которого он признает; моральные принципы или социальные установки; моральное обязательство, долг, законопослушное поведение. Показатели деонтической необходимости: *должен, обязан, необходимо, обязательно, неизбежно, непременно, требуется, следует; с отрицанием – неправильно, неконституционно, незаконно, аморально (...)* Обычно необходимость проистекает из какого-то источника или причины: X нужно, чтобы Y (т.е. Y – источник того, что необходимо X). Специфицируя причину, можно различить разные виды деонтических обязательств (rusgram.ru).

⁵⁰ http://lexicograf.ru/files/arut_mod_asp_negation.

⁵¹ *Грамматика современного русского литературного языка*, с. 513; Г.А. Золотова, *Очерк функционального синтаксиса русского языка*, с. 278.

Литература

- Баранов А.Н., *Лингвистическая экспертиза текста*, Москва 2007.
- Богданов В.В., *Предложение и текст в содержательном аспекте*, Санкт-Петербург 2007.
- Борисова И.Н., *Русский разговорный диалог: структура и динамика*, Москва 2007.
- Ваулина С.С., *Эволюция средств выражения модальности в русском языке (XI–XVII вв.)*, Ленинград 1988.
- Грамматика современного русского литературного языка*, Москва 1970.
- Золотова Г.А., *Очерк функционального синтаксиса русского языка*, Москва 1973.
- Золотова Г.А., Онипенко Н.К., Сидорова М.Ю., *Коммуникативная грамматика русского языка*, Москва 1998.
- Качалкин А.Н., *Жанры русского документа допетровской эпохи*, ч. II, Москва 1988.
- Колесов В.В., *«Жизнь происходит от слова...»*, Санкт-Петербург 1999.
- Мучник И.П., *Грамматические категории глагола и имени в современном русском языке*, Москва 1971.
- Остин Дж.Л., *Слово как действие*, [в:] *Новое в зарубежной лингвистике*, Москва 1986, с. 22–130.
- Русская грамматика*, Москва 1980.
- Трофимова О.В., *Тюменская деловая письменность. 1762–1796 гг.: Книга II. Памятники тюменской деловой письменности. Из фондов Государственного архива Тюменской области*, Тюмень 2002.
- Трофимова О.В., *Перформативный глагол как критерий жанровой квалификации русского документа XVIII века*, [в:] *Русский язык: история и современность*, ч. 2, Челябинск 2002, с. 128–133.
- Трофимова О.В., *«Должен» и «имею» как синонимы? (О лексико-синтаксическом выражении долженствования в деловом тексте XVIII века)*, [в:] *Духовная культура русской словесности*, ч. 2, Тюмень 2006, с. 148–154.

Словари

- Ефремова Т.Ф., *Новый словарь русского языка. Толково-словообразовательный* (www.classes.ru).
- Преображенский А.Г., *Этимологический словарь русского языка*, Москва 2010.
- Сазонова И.К., *Толково-грамматический словарь русского языка. Глагол и его причастные формы*, Москва 2002.
- Словарь Академии Российской*, В Санкт-Петербурге, при Императорской Академии Наук, 1800–1822.
- Словарь русского языка XVIII века*, вып. 9, Санкт-Петербург 1997.
- Словарь русского языка: В 4-х т.*, Москва 1985–1988.
- Словарь церковнославянского и русского языка*, составленный Вторым отделением Императорской Академии Наук, томъ III, Санкт-Петербург 1847.
- Толковый словарь живаго великоруссаго языка*. Владимира Даля, томъ третій. С.-Петербургъ, Москва 1882.
- Фасмер М., *Этимологический словарь русского языка*, Москва 1987.

**«... подпискою обязуюсь»: грамматика русского комиссива
(на материале документов XVIII века)**

Резюме

Аннотация: В статье на материале региональных архивных документов XVIII века, сопоставляемых с данными современного Национального корпуса русского языка, рассматривается история и условия функционирования конструкций с глагольным комиссивом *обязуюсь*.

Ключевые слова: иллокутивные цели, комиссив, деонтическая модальность, жанр, документ, история языка.

**«...subscription pledge»: Russian grammar commissives
(based on the 18th century documents)**

Abstract

The article concerns the history and operating conditions of designs with the verbal commissive I undertake, presented on the example of regional archival 18th century documents compared with the data of the modern national case of the Russian language.

Key words: the illocutive acts, commissives, deontic modality, genre, document, language history

Ольга Трофимова
Тюменский государственный университет
доктор филологических наук
e-mail: otrofim@rambler.ru
+7 345 2 453794

Николай Васильев

Русский мат: казнить нельзя помиловать

Пожалуй, нет более злободневного для бытовой «лингвистики» вопроса, чем русский мат. С матом «борются», его пытаются перевоспитать: не приняли в пионеры, исключили из комсомола, отказали в приеме в партию, запретили законодательно; а он все равно живет и здравствует, а порой убеждает и побуждает. Уходят в прошлое такие столпы концептосферы, как *монархия, самодержавие, народность, большевизм, социализм, коммунизм*, – русский мат незыблем в своем тронном величии. При любом режиме, в любом социуме. Он и общенародный, и активный, и исконно-посконно русский, в общем свой в доску. Откуда такая мощь, живучесть и плодovitость – словообразовательная и фразеологическая?

Резонно предположить: раз он существует, «значит это кому-нибудь нужно», как сказал Поэт... Язык чутко реагирует на общественные запросы; и, если в нем что-то закрепляется, значит это важно для всех или многих из нас. В таком случае для чего нужен мат? Попытаемся проанализировать его важнейшие речевые функции, прежде чем вершить суд над этим незаконно-рожденным, непослушным, преступным отпрыском на ниве, где произрастают культурные растения.

1. Мат заполняет некоторые семантические и экспрессивные лакуны в нашем языке, которые в процессе реальной коммуникации не всегда удобно, приемлемо обозначить стыдливymi синонимами, эвфемизмами, обтекаемыми формулами или медицинскими терминами.

2. Мат – сильнодействующее оценочное вербальное средство, и при известных обстоятельствах он оказывается коммуникативно более действенным, чем просторечие или вульгаризмы.

3. Мат позволяет снять эмоциональное напряжение, «выпустить пар» – и, таким образом, в некотором смысле терапевтическое лечебное средство. В общем, ругайтесь на здоровье! Это все же лучше, чем бить посуду или друг друга.

4. Мат в такой же степени отравляет наше общение, – сам является стрессовым фактором, создает эмоциональный дискомфорт для окружающих, как

табачный дым, запах водки, как неопрятность любого рода. Это его оборотная сторона; так змеиный яд может лечить и мертвить. Но некоторых в мате привлекает именно возможность оскорбить других, надерзнуть, унижить кого-то, и тем самым сохранить собственное «реноме», не «унизиться» самому, не дать слабину. Это тоже его роль, и тоже делает его по-своему нужным...

5. Мат шокирует и провоцирует, он «заводит», он настраивает участников коммуникативного акта на определенную, хотя и рискованную, языковую игру, включает разного рода обертоны в разнообразных регистрах поведения; он может привлечь в одной ситуации и оттолкнуть в другой. В его непредсказуемости что-то есть...

6. В интимной жизни, казалось бы наиболее деликатной сфере, мат может усиливать наслаждение, подобно перверсиям, удушениям, истязаниям в духе садо-мазо... Придется признаться, что и это кому-нибудь да нужно.

7. Это сальность и соль языка; последняя одинаково полезна и вредна; одни любят посолонее, другие, наоборот, помнят, что это белая смерть; но эта белая смерть порой ценится на вес золота. Известно, что и эстетическое часто рождается путем «остранения» обыденности, а высшее искусство Слова состоит в обоснованном отступлении от языковых норм, в преодолении узуса. Хрестоматийно использование нашим классиком вульгарного фразеологизма с отрицательной коннотацией в момент высочайшего творческого экстаза: «Ай да Пушкин! Ай да сукин сын!» (Пушкин – П.А. Вяземскому, ок. 7 ноября 1825 г.). А вот другой забавный пример, иллюстрирующий диалектику слова, лингвистическую теорию относительности, – раздраженный любовник говорит во время ссоры своей пылкой, но уже не молодой даме: «Как ты мне надоела, старая б.....!». Почему-то уверен, что женщину, будь она даже трижды порядочной, в этом контексте больше обидит стилистически корректное, но семантически взрывоопасное слово *старый*...

8. Как ни парадоксально, люди, о которых принято говорить, что они «ругаются матом», порой вовсе не ругаются, а спокойно, в деловитой манере обсуждают те или иные технологические вопросы жизни – строители, работники и т.д. Хотелось бы думать, что это «мужской» язык, но, увы, кажется, мат стал гендерно нейтральным. Впрочем, в устах женщин или детей он чаще и впрямь «ругань», этическая неопрятность или невоспитанность. Каждому – свое: что позволено мужчине, например курение, не всеми воспринимается как норма для женщины, хотя мы и против половой дискриминации, особенно в плане пенсионного возраста... Детям указанные грехи более простительны – по их неразумению или желанию казаться взрослыми.

9. Еще удивительней, что за матом придется признать и эстетическую роль – в разговорной и тем более художественной речи. В быту мат может привлекать способностью ярко или неожиданно выразить мысль, обозначить ситуацию, преодолеть кризис событийности. В художественной литературе со времен И.С. Баркова, перепевавшего отчасти французских авторов, развивалась теневая традиция, будоражившая многих писателей и читателей своей эстетической новизной, пародийностью, былинной удалью. Ей отдали дань в юности А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов и другие известные литераторы. Более того, Пушкин полагал, что подлинная свобода слова и мысли в России наступит,

когда напечатают Баркова... Интересно, что «перестройка» в плане цензурного послабления в отношении мата у нас тоже началась с М.С. Горбачева. В 1991 г. тогдашний генсек и президент СССР во время перелета из Фороса в Москву, отвечая на вопросы журналистов о событиях в Крыму, в стране, которую неожиданно вспутчило, эмоционально назвал ГКЧП-истов «мудаками», что тут же пошло в эфир, было тиражировано ведущими газетами. Тем самым он дал карт-бланш использованию не только вульгаризмов (!), но и собственно мата в СМИ, поскольку за этим стоял не просто прецедент, но апробация на самом высоком уровне, после которой любые юридические действия против употребления нецензурных слов, вроде процесса по поводу печатания в латвийской газете «Атмода» поэмы Т. Кибирова «Л.С. Рубинштейну» (1989), наталкивались бы на веские аргументы типа: «В таком случае следует привлечь к административной ответственности и...».

10. Мат может быть средством реалистической характеристики речи, психологии и социального облика персонажа, например современного мужчины или современной женщины (Э. Лимонов, Н. Медведева); он может притягивать своей экспрессивной «взрывчатостью», выразительностью и минимизацией речевой формы, емкостью и пластичностью содержания, грубым антиэстетизмом, перетекающим в эстетическое начало и даже в идеологическое впечатление, как в упомянутом произведении Т. Кибирова. Использование же мата ради привлечения читателя, в качестве «наживки» – дурной тон; это область эстетического безвкусица, бесталанности отдельных писателей и невзыскательности их читателей.

11. Мат является и средством окказиональной каламбурной игры, причем даже с социальным подтекстом, как получившее распространение слово *скоммуниздить*, «концепт» которого основан на идеях обобществления собственности и насильного изъятия чужих ценностей («Грабь награбленное!»).

Хотя мат – полноправный элемент языка, это не означает, что его можно использовать в любой ситуации, что у него неограниченные речевые полномочия. Мы раздеваемся перед сном, в бане, ванной, обнажаемся на пляже или у врача, но не ходим голышом публично, как в первобытном обществе. Употреблять мат всуе нельзя... Нужно уважать душевную чистоту и нравственную гигиену других людей.

Но и «запрещать» мат как элемент русского языка нельзя. Запрещать следует использование мата в общественных местах, в публичных выступлениях, в регламентированных речевых ситуациях. То есть «бороться» не с матом как таковым, а с отсутствием внутренней и публичной культуры человека или с изощренным бравированием этим.

Сами по себе обсценные, нецензурные, вульгарные слова часто не виноваты, что они «плохие»; у некоторых из них аристократическое прошлое, связанное с церковнославянским языком, и невинные, даже морализаторские значения – *блядение*, *блядивый* 'болтливый, лживый, обманчивый', *блядник* 'пустослов', *блядословить* 'лгать, злословить', *блядословие*, *блядство* 'болтливость, пустословие', *блядь* 'обман, заблуждение', *блясти* и др.¹ Таковыми их

¹ *Полный церковный словарь*, составил священник магистр Г. Дьяченко (1898), Москва 1993, с. 48–49.

сделали мы в нашем коллективном сознании путем запретов; один из моих студентов при обсуждении этой темы проницательно заметил, что в ином случае подобные лексемы не смогут выполнять своей роли – и, следовательно, обществу необходимо закреплять такое отношение к соответствующим словам. Другое дело производные от них – выкидыши, уродыши, подкидыши, плохиши, без которых, как известно, не обходится ни одна семья, в том числе языковая.

В «Словарь языка Пушкина» из этических соображений не были включены обсценизмы и вульгаризмы: *говно, жопа, пердеть* и др.² Однако здесь присутствует слово *выблядок* «незаконнорожденный ребенок»³, которое составители словаря посчитали стилистически корректным как факт просторечия, подмеченного писателем. С ним соседствует и образно употребленный Пушкиным в дружеском письме вульгаризм *выдрочить*⁴, который вряд ли следовало бы фиксировать, исходя из целомудренной стратегии словаря. Итак, мы видим, что первый наш писатель, и первый президент на Руси ругаются как последние мужики... Что же говорить о других!

Мат подвергается лексикографической дискриминации, что вряд ли оправданно. И.А. Бодуэн де Куртенэ, научный редактор переизданного в начале XIX в. словаря В.И. Даля, когда-то посчитал это упущением, впервые предоставив нецензурным словам права гражданства в русском языке, «прописав» их в толковом словаре, – но сделал это выборочно, намеренно сдержанно, ограничившись корневыми словами, а не их производными. В отредактированном им словаре фигурируют, например, и такие архаичные термины, как *блядская трава, блядские орехи, блядская строка*, поясняемые латинскими и немецкими аналогами⁵.

Задача толковых словарей – информировать читателя о наличии слова в языке, его значении, стилистической окраске, оценочных и экспрессивных коннотациях, уместности употребления в тех или иных речевых ситуациях, указывать фразеологию с данным словом, иллюстрировать данные словоупотребления. Удовлетворителен ли словарь, в котором русский язык представлен с цензурными ограничениями, без его ярчайших «персонажей»? Это все равно, что исключать из истории отечественной литературы, по разным причинам, имена И.С. Баркова, Ф.М. Достоевского, И.А. Бунина, С.А. Есенина, А.И. Солженицына, что и делалось в свое время. Школьник слышит незнакомое слово – и не может постичь его значение. Иностранец обращается к словарю русского языка и не находит этого же слова, недоумеая. Отсюда коммуникативные неудачи, неадекватность восприятия чужой речи и т.п. Словарная

² М.А. Цявловский, *Комментарии к «Тени Баркова» А.С. Пушкина*, публ. Е.С. Шальмана, подгот. текста и прим. И.А. Пильщикова, «Philologica» 1996, т. 3, № 5/7, с. 199–209.

³ *Словарь языка Пушкина в 4-х томах*, под ред. В.В. Виноградова, т. 1, Москва 1956, с. 413.

⁴ Там же, с. 421.

⁵ В.И. Даль, *Толковый словарь живого великорусского языка: Совмещенная редакция изданий В.И. Даля и И.А. Бодуэна де Куртенэ в современном написании: В 2 т., т. 1*, Москва 2002, с. 136–137.

фиксация, скорее, сняла бы налет пикантной исключительности мата, но отнюдь не сделала бы его легитимным...

Примечательны в этом плане тенденции в новейшей диалектной лексикографии, призванной отразить «народное» языковое сознание и словотворчество. Так, в говорах архангельской области фиксируются лексемы *дуройба*, *напиздить*, *настопиздить*, *отпиздить*, *пиздить*, *спиздить*, *сральник*, *улиздить*, *хуйня* и т.п.⁶

Необходимо различать концепты, табуируемые в нашем сознании, вследствие их интимной физиологичности (в этом ряду окажутся обсценизмы, вульгаризмы, «детские» слова), и обычные понятия, выражающиеся грубыми синонимами (см. выше).

Парадоксально, но во многих толковых словарях, в том числе с претензиями на статус «словаря-сокровищницы» (тезауруса), отсутствует даже слово *жопка*⁷, хотя очевидно, что оно не несет в себе этической и нормативной «перегрузки»⁸; тем не менее по причине нашей стыдливости или следования лексикографической «традиции», мы лишаемся важной в инвентаре русского языка и концептосфере нашего сознания составляющей... Как тут не вспомнить ироническое замечание А.С. Пушкина в «Евгении Онегине»: «Но *панталоны*, *фрак*, *жилет*, / *Всех этих слов на русском нет (...)*!»

Интересен вопрос, является ли «мат» языковой универсалией, т.е. встречается ли он в разных вариациях во всех языках, на какой «внутренней форме» основывается, какие функции выполняет? Насколько нам известно, таких исследований пока нет, а жаль. Это многое прояснило бы в нашем отношении к мату, избавило бы от некоторых заблуждений.

Одно из них связано с этимологизацией мата как корневого образования от лексемы *мать*, так сказать соотносится с «материнской платой»; тогда как в истоке слово *мат* означает, вероятно, 'голос, крик', ср.: *орать благим матом*, т.е. орать дурным голосом, голосить. Столь же неисторично возведение фразеологизма *...твою мать* к обычному прелюбодеянию, – за этой формулой скрыт подтекст в виде подразумеваемого *сукиного сына*, поскольку в архетипических представлениях многих народов собака, хотя и друг человека, но нежелательный родственник...

По признанию одной из моих коллег-лингвистов, ее сознание сопротивляется употреблению собственно обсценизмов (с их двойным запретом – этическим и «языковым»!), но вполне терпимо по отношению к производным от них словам, являющимся синонимами обычных понятий. Для автора данной статьи второе было неожиданным. Как видим, психология восприятия мата представителями разных субкультур пока тоже не изучена.

Разумеется, мы далеки от мысли пропагандировать мат; нашей задачей была лишь попытка беспристрастного анализа его места в языке и речи.

⁶ *Обратный словарь архангельских говоров*, под ред. О.Г. Гецовой, Москва 2006, с. 13, 437, 500 и др.

⁷ *Большой академический словарь русского языка*, под ред. К.С. Горбачевича и А.С. Герда, Москва–Санкт-Петербург 2004, т. 1, с. 3–6; 2006, т. 5.

⁸ С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова, *Толковый словарь русского языка*, 4-е изд., Москва 2003.

Но как не прийти после всех этих размышлений к заключению, что, если бы мата не было, его следовало выдумать, как сказал бы Философ...

Литература

Большой академический словарь русского языка, под ред. К.С. Горбачевича и А.С. Герда, Москва–Санкт-Петербург: Наука, 2004–2011 (т. 1–14, издание продолжается).

Даль В.И., *Толковый словарь живого великорусского языка: Совмещенная редакция изданий В.И. Даля и И.А. Бодуэна де Куртенэ в современном написании: В 2-х т.*, Москва: ОЛМА-ПРЕСС, 2002.

Обратный словарь архангельских говоров, под ред. О.Г. Гецовой, Москва: Наука, 2006.

Ожегов С.И., Шведова Н.Ю., *Толковый словарь русского языка*, 4-е изд., Москва: Азбуковник, 2003.

Полный церковно-славянский словарь (с внесением в него важнейших древнерусских слов и выражений), составил священник магистр Г. Дьяченко (1898), Москва: Издательский отдел Московского патриархата, 1993.

Словарь языка Пушкина: В 4 т., под ред. В.В. Виноградова, Москва: Гос. изд-во иностр. и нац. словарей, 1956–1961.

Цявловский М.А., *Комментарии к «Тени Баркова» А.С. Пушкина*, публ. Е.С. Шальмана, подгот. текста и примеч. И.А. Пильщикова, «Philologica» 1996, т. 3, № 5/7, с. 159–286.

Русский мат: казнить нельзя помиловать

Резюме

В статье анализируются культурологические аспекты бытования так называемой «цензурной лексики» в современном русском языке, выявляются ее речевые функции. Поднимается вопрос о необходимости сопоставительного изучения языков в этом плане.

Ключевые слова: русский язык, мат, обценные слова, вульгаризмы, речевые функции

Russian mat: cannot execute the pardon

Abstract

The paper analyzes the cultural aspects of the existence of the so-called "foul language" in the modern Russian language, and reveals its communicative functions. It also raises the question of the necessity of comparative linguistic studies in this regard.

Key words: Russian language, Russian mat, obscene words, vulgar words, speech functions

Николай Васильев

Мордовский государственный университет имени Н.П.Огарева

e-mail: nikolai_vasiliev@mail.ru

+834-2 471757

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis

Studia Russologica V (2012)

Валентина Закревская

Грамматический потенциал диалектного текста (видовременные глагольные формы в архангельских говорах)

Цель статьи – показать значимость диалектного текста как не вполне еще оцененного источника исследования особенностей устной речи вообще, в частности, закономерностей употребления видовременных форм.

Материалом послужили диалектные записи, сделанные автором в разных районах Архангельской области в периоды с 1980 по 1982 гг. и с 2004 по 2011 гг.

Термин «текст» применительно к диалектной речи, бытующей, как известно, в устной форме, не кажется нам неоправданным, поскольку анализировались возможно более полные записи звучащей речи, часто объединенные темой, представляющие, скорее, скрытый диалог, чем монолог, так как подразумевалась беседа с диалектологом.

Наши наблюдения над употреблением видовременных глагольных форм в диалектной речи выявили в ней следующие особенности: 1) превалирование форм глаголов совершенного вида над формами глаголов несовершенного вида; 2) употребление форм совершенного вида в контекстах, отражающих ситуацию длительности и кратности действия; 3) органичное соседство в диалектном тексте разных видовременных форм; 4) более последовательное и широкое использование средств имперфективации по сравнению с кодифицированным языком. Оставив для отдельного обсуждения последний тезис, сосредоточим наше внимание на первых трех.

Приведем небольшой отрывок из диалектного текста (записано в июле 2005 года от Грязовой Клавдии Васильевны, жительницы с. Архангело Каргопольского р-на, 93-х лет, неграмотной)¹:

У нас по малёгАм – большу дорОгу перейдёш – нарoслИ кустЫ на полoсЫ. Вот малёг и нарoстё, по Этим малёгАм и ходИть мOжно (за грибами).

¹ Примеры подаются в упрощенной транскрипции, принятой для Архангельского областного словаря, под ред. О.Г. Гецовой (вып. 1–12, Москва 1980–2004), а ударные звуки выделены прописными буквами.

Она хОтко бежЫт (соседка), пробежАла – бутто морОшку несёт. Она с пробегом бежЫт, я выКлонилась, а не успЕла (спросить). А бывАт, не морОшка ли фсЯко? ЖЫво оберУт, потОм на обИрках-то мЕлко (ягоды мелкие). ГолубИку сварИш, она розоскЕця, здЕлаця жЫдёнЬка. На Этот лёвАш йешчё наЛить, Эти лёвашЫ на зИму заготовлЕли. РазмОчят, розомнУт – вот и Ягодниця. БруснИку дак ту затАлкивали. Натолкём да... И бес сАхару бывало что жывАли. Изо ржанОй муки, дак коровАй, а иж жЫтней – жЫтники. Хто как испекчИ мОжэт. НапёкАли на фсЕх. Тесто розомнём да розляпайом – вот те рЫбник. Бродьцём (рыболовная снасть) рАньшэ ходИли. В Эту наподайо (рыба).

В данном тексте из 24 глагольных форм 15 – глаголы совершенного вида, причем большая часть (12) – формы будущего времени со значением обычно-сти действия (наглядно-примерным – в другой терминологии) и потенциальным. Это вообще характерная особенность устной речи – в рассказе о прошлом использовать формы будущего совершенного со значением повторяющегося действия. Как известно, в кодифицированном языке семантика повторяемости или длительности действия свойственна глаголам несовершенного вида. То есть в данном случае можно отметить более широкий диапазон форм совершенного вида, которые наряду с привычным для них значением единичности действия «берут на себя» значения другого вида. Подобное употребление может приводить и к необычной, с точки зрения носителя литературного языка, сочетаемости данных форм с показателями кратности и длительности действия: наречиями и именными сочетаниями типа «постоянно», «каждый день» и количественно-именными группами типа «сколько раз», «пять раз». Кроме того, может наблюдаться удвоение форм совершенного вида, что свидетельствует об оттенке тщательности действия².

Рассмотрим ситуацию **длительного** действия, в которой могут употребляться глаголы совершенного вида будущего и прошедшего времени, сочетаясь с:

1) обстоятельствами, указывающими на меру времени, типа «целый день», «всю жизнь» и под.: *Фсю ночь я не уснУла. Весь вЕчёр вЫиграт* (на гармонии). *Она как осердИлась – цЕлой день не пришла кОсу прАвить*. [Ср. в литературном языке (примеры зафиксированы нами в устных СМИ): *Патриарх в течение десяти дней посетил Хабаровский край. Ярость, которая не отпустила все эти годы. Они у нас не поменялись в течение десятка лет*].

2) наречием «долго»: *Я дОлго сегОдня закалЯкалась. Хотела рАно вЫстираця, да и дОлго застирАлась. НамАялся дОлго. УйдУ дОлго. Как-то не заперЛАЗь дОлго – прибегаЙот: где мой топОр?*

В нормированном языке с показателями длительности обычно сочетаются глаголы несовершенного вида в подчеркнуто-длительной разновидности конкретно-процессного типа употребления (*Она долго не двигалась*). Исключения касаются лишь ограничительного способа действия, где возможны сочетания форм совершенного вида с обстоятельствами меры времени

² См. об этом подробнее: В.А. Закревская, *Некоторые особенности употребления приставочных глаголов совершенного вида в диалектной речи*, [в:] *Материалы и исследования по русской диалектологии*, Ин-т рус. языка им. В.В. Виноградова, Москва 2004, с. 148–158.

(долго пролежал, целый месяц проболел, пять минут постоял)³. По нашим наблюдениям и замечаниям М.Я. Гловинской⁴, в произведениях литературы XIX – начала XX в. встречаются сочетания форм прошедшего времени с приставкой *по-* (одноактного способа действия) с наречием *долго*: *Петушков долго, молча поглядел на Онисима, потом приказал ему достать новый сюртук* (И.С. Тургенев). Ср. в языке СМИ: *Великая актриса, которая создала образы, которые долго-долго останутся непревзойденными* (из интервью А. Калягина). *Я вам скажу недолго* (из устного выступления преподавателя).

Характерно для говоров удвоение глагола совершенного вида, показывающее особую тщательность или полноту действия, что тесно связано с ситуацией длительности: *РукомОйка – тОлько начИстиш, она опЯть фся забусЕёт, забусЕёт; клюКвой и песОчком натрУ, натрУ – она бУтто и заблестИт. Ф печЕ поАрЯ, поАрЯ* (семя льна). *Я фсё еМУ сквАшу да сквАшу ф круШке* (молоко). *ЗарЕжот, зарЕжот поЙесниЦю – ногА-то не пойдЁт. НИнушка, солонИну вЫмой, вЫмой не в однОй водЕ да вЫжулькаЙ*. Ср. наш пример из речи носителя литературного языка: *Какие-то вещи глобальные – обиды или еще что-то – я в себе переживаю, а по мелочам иногда вспылю-вспылю-вспылю...*

Формы будущего совершенного в узуальной функции часто употребляются на фоне других действий, выраженных глаголами несовершенного вида; нередко последние выступают в качестве однородных членов к формам будущего совершенного: *ЛюбЮ тЁпло молОкО, кипячЁно тОлько пЬЮ да сквАшу. ИкОта у них сидИт, заревЁт рАзными голОсАми. ОНА нОчью бродИла, побредЁт*. Вероятно, это следы прежнего более свободного функционирования презенса совершенного и несовершенного вида в одном контексте. В этом случае формы совершенного вида, видимо, тоже выражают длительность.

Обратимся к ситуации **повторяющегося** действия. Как известно, в ней могут использоваться глагольные формы обоих видов. Однако если для форм несовершенного вида это типичный контекст, то для форм совершенного вида отмечаются определенные условия, в частности, употребление будущего совершенного в наглядно-примерном значении⁵. Кроме того, обращается внимание на разное содержание самого значения повторяемости для глаголов разных видов. Так, глаголы несовершенного вида передают кратность изолированных действий, а глаголы совершенного вида – «цепочку следующих друг за другом однородных (одинаковых) событий»⁶. Наши наблюдения над диалектной речью показали как справедливость подобных утверждений, так и некоторые сомнения по поводу их абсолютного характера. Приведем примеры:

³ *Русская грамматика*, т.1, Москва 1980, с. 608.

⁴ М.Я. Гловинская, *Активные процессы в грамматике*, [в:] *Современный русский язык: Активные процессы на рубеже XX–XXI веков*, Москва 2008, с. 223–224.

⁵ *Русская грамматика*, с. 608.

⁶ И.Б. Шатуновский, *Повторяемость и вид*, [в:] *Русский язык: исторические судьбы и современность, III Международный конгресс исследователей русского языка*, Москва 2007, с. 202–203.

Три рАзика пришла – с пАрня как рукОй сняло (болезнь). За травОй собирАлася, по два рАза вЫйду. Два рАза уж зАмуш соберёця. вИдно, не судьбА. Эта два рАза отЕлиця. а моя-то одИнова отЕлиця (кошка). СкОлько рас постирАю, постирАю. Вот уж два рАза приЕхала. Люся еЁ не рас вЫкорила. В данных контекстах речь идет именно об изолированных действиях, что в письменной форме языка передается глаголами несовершенного вида. Ср. наши примеры из устных СМИ и разговорной речи: Я привез раз двадцать музыкантов (в Россию из США). За это время я прилетел два раза (в Москву). Тема эта в прошлом году несколько раз стала предметом обсуждения в Совете Федерации. Я уже четыре раза пришла (на консультацию). Пять раз Сталинскую премию получил.

Даже такие несистематические, к сожалению, записи литературной разговорной речи свидетельствуют о том, что отмеченная нами для диалектной речи сочетаемость глаголов совершенного вида может восприниматься как специфическая только с точки зрения письменного языка.

Если сравнивать две ситуации – длительного и кратного действия, то, конечно, в контексте повторяющегося действия формы совершенного вида более частотны, чем в ситуации длительного действия. Тем не менее даже отдельные случаи употребления глаголов совершенного вида в ситуации длительного действия показательны: они характерны и для раннего периода развития языка⁷, и для современного, встречаются как в говорах, так и в устной речи носителей литературного языка, а кроме того отмечаются исследователями современных славянских литературных языков⁸. Сказанное заставляет предположить, что при выражении длительности, а также кратности действия более значим окружающий видовую форму контекст, а не сама видовая форма, которая как бы отходит на второй план. В этом, по мнению М.Я. Гловинской, проявляется аналитизм в видовой системе⁹.

Еще одной особенностью диалектной (а как нам думается, и вообще устной) речи является свободное соседство форм разного времени, наклонения, вида в одном контексте. Это так называемое варьирование видовременных глагольных форм, которое было отмечено исследователями для более ранних этапов развития языка, в частности, оно наблюдалось в памятниках письменности.

Приведем два отрывка из диалектной речи:

Эка суш – не покопАж землИ. КакА клубнИцина окрАсиця – в рот. МалИны мнОго завезАлося, фся посОхла. КрупнА ростё, крупнА. ГрибОф наношУ и Ягот. Жар утишАт,

⁷ О.С. Плотникова, *Проблемы сопоставительного изучения славянского вида в диалектах*, [в:] *Типология вида*, Москва 1998.

⁸ Е.В. Петрухина, *Сопоставительная типология глагольного вида в современных славянских языках*, [в:] *Типология вида*, Москва 1998, с. 356–363; Л.Н. Смирнов, *Об одной особенности функционирования глаголов совершенного вида в словацком языке*, [в:] *Исследования по славянскому языкознанию*, Москва 1971; А.Г. Широкова, *Методы, принципы и условия сопоставительного изучения грамматического строя генетически родственных славянских языков*, [в:] *Сопоставительные исследования грамматики и лексики русского и западнославянских языков*, Москва 1998, с. 28.

⁹ М.Я. Гловинская, указ. соч.

лЕхче головЫ, сорвУ и наложУ (лист лопуха). ПоболИт и отлЕкчит. КосИцей-то (виском) фь скОбу, а бОком-то о порОж (ударилась). ЧесУ йедИного (мгновенно). СлОму-то нЕту. ОкружЫд где – падУ. УбьЮся да лЮдям приволОки надЕлайу. Оло-кА-ти (десны) фсе сьЕлися. РЕско-то мне и не вьСтать.

РАно ТАНюшка ставАт. ВьСтанет, чайкУ попьОт и на робОту. Не сьЕл слАтко и не сносИл бАско (трудно жили). А потОм зауснУла, пОздо звонЮ-то. Я не бУду с Эким мЕстом йесь (с майонезом, постится). Утроси попрОбовала – Очень холОд-найа (простокваша).

В обоих высказываниях сосуществуют и формы настоящего несовершенного со значением обычности действия, и формы будущего совершенного и прошедшего совершенного с таким же значением, и формы будущего сложного (несовершенного) и прошедшего совершенного со значением единичного конкретного действия, и формы инфинитива с потенциальным значением. Тем не менее речь не представляется хаотичной и отрывочной, а воспринимается как живая, динамичная, образная. Тем более что в ней встречаются афористичные выражения, как бы «цементирующие» основной смысл высказывания (в данном тексте это «не съел сладко и не сносил баско»).

Конечно, нашей целью не было подчеркнуть абсолютное равенство между диалектной и разговорной литературной речью. Очевидно, что в диалектной речи много специфичного. Если говорить о глагольных формах, то это, например, сохранение в говорах плюсквамперфекта или так называемых многократных глаголов. Мы намеренно не сосредоточили на них внимание. Нашей задачей было увидеть то общее, что объединяет говоры и разговорную речь носителей литературного языка, а значит, показать, что диалектную речь можно привлекать не только в качестве источника для изучения истории языка или собственно диалектного языка, но и в качестве источника исследования устной речи как таковой, особенно если обратиться к цельному диалектному тексту для анализа достаточно сложного взаимодействия семантики грамматической формы и семантики аспектуальных показателей. Тем более что и исследователи литературного языка, в частности, В.А. Плунгян, апеллируют к понятию текста (или дискурса) при описании аспектуальных показателей, когда на первый план выходит не внутреннее значение видовой граммы, а ее функция в составе текста, ее текстовый статус¹⁰.

Литература

Гловинская М.Я., *Активные процессы в грамматике*, [в:] *Современный русский язык: Активные процессы на рубеже XX–XXI веков*, Москва 2008.

Закревская В.А., *Видовременные глагольные формы в диалектном тексте (на материале архангельских говоров)*, [в:] *Лингвистические идеи В.А. Белошапковой и их воплощение в современной русистике*, Тюмень 2010.

Закревская В.А., *Некоторые особенности употребления приставочных глаголов совершенного вида в диалектной речи*, [в:] *Материалы и исследования по русской диалектологии*, Ин-т рус. языка им. В.В. Виноградова, Москва 2004.

¹⁰ В.А. Плунгян, *К дискурсивному описанию аспектуальных показателей*, [в:] *Типологические обоснования в грамматике*, Москва 2004, с. 390–411.

- Закревская В.А., *Особенности употребления видовременных глагольных форм в архангельских говорах и славянских литературных языках*, [в:] *Славянские языки и культуры в современном мире*, Международный научный симпозиум, Москва 2009.
- Петрухина Е.В., *Сопоставительная типология глагольного вида в современных славянских языках*, [в:] *Типология вида*, Москва 1998.
- Плотникова О.С., *Проблемы сопоставительного изучения славянского вида в диахронии*, [в:] *Типология вида*, Москва 1998.
- Плунгян В.А., *К дискурсивному описанию аспектуальных показателей*, [в:] *Типологические обоснования в грамматике*, Москва 2004.
- Русская грамматика*, т. 1, Москва 1980.
- Смирнов Л.Н., *Об одной особенности функционирования глаголов совершенного вида в словацком языке*, [в:] *Исследования по славянскому языкознанию*, Москва 1971.
- Шатуновский И.Б., *Повторяемость и вид*, [в:] *Русский язык: исторические судьбы и современность, III Международный конгресс исследователей русского языка*, Москва 2007.
- Широкова А.Г., *Методы, принципы и условия сопоставительного изучения грамматического строя генетически родственных славянских языков*, [в:] *Сопоставительные исследования грамматики и лексики русского и западнославянских языков*, Москва 1998.

Грамматический потенциал диалектного текста (видовременные глагольные формы в архангельских говорах)

Резюме

В статье рассматриваются некоторые особенности употребления видовременных глагольных форм в диалектной речи (на материале архангельских говоров) как факт устной формы языка вообще.

Ключевые слова: видовременные формы, функционирование, длительность, повторяемость.

Grammatical potential of the dialect text (aspectual verbal forms in the Arkhangelsk dialects)

Abstract

The article concerns some features of the use of aspectual verbal forms in dialect language (on the material of the Arkhangelsk dialects) as well as the facts of the oral form of language in general.

Key words: aspectual forms, functioning, duration, repeatability

Валентина Закревская
Тюменский государственный университет
кандидат филологических наук,
доцент кафедры русского языка
e-mail: zakrev@yandex.ru
+7 3452 462087

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

*Светлана Фокина***Перформативность как фактор авангардной эстетики
в цикле М.И. Цветаевой *Скифские***

Цикл *Скифские*, написанный в 1923 году, характеризуется явным тяготением художественного мышления М. Цветаевой к авангардной аксиологии. Смена эстетического вектора знаменует преобразование коммуникативных стратегий, обращение к перформативности и суггестии.

В цветаеведении циклу *Скифские* уделено недостаточно внимания. Этот цикл не попал в поле зрения многих исследователей творчества М. Цветаевой (А. Саакянц, В. Швейцер, М. Мейкин, Е. Фарыно, И. Шевеленко, Р. Войтехович и др.), некоторые лишь упоминают о нем (Дж. Таубман¹, Е. Айзенштейн²). Самым значительным явлением в изучении цикла стала статья Л. Зубовой *Цикл Марины Цветаевой „Скифские” – послание Борису Пастернаку*³, в которой доказывается, что это произведение не только обращено к Б. Пастернаку, но и является манифестацией творческого диалога и ощущения духовного родства поэтов.

Цель данной статьи – выявить влияние эстетики и аксиологии русского Авангарда на актуализацию перформативности в лирической системе М. Цветаевой на материале цикла *Скифские*.

Наиболее рельефно тенденция освоения авангардной эстетики у М. Цветаевой проявилась именно в 1920-е годы. В данный период своеобразии поэтического дискурса М. Цветаевой определяет идея, что «язык надо взломать и найти в нем формы выражения, соответствующие глубинной структуре»⁴.

По наблюдению Н. Осиповой, в произведениях М. Цветаевой «еще в России [...] появились некоторые черты авангардной поэтики (эксперименты с языком, возврат к дорациональному мышлению, ориентированному

¹ Дж. Таубман, «Живя стихами...»: *Лирический дневник Марины Цветаевой*, Москва 2000, с. 217–218.

² Е.О. Айзенштейн, *Борису Пастернаку — навстречу! Марина Цветаева*, Санкт-Петербург 2000, с. 382.

³ Л.В. Зубова, *Цикл Марины Цветаевой «Скифские» – послание Борису Пастернаку*, <http://www.ipmce.su/~tsvet/WIN/zubova/skif.html>.

⁴ О. Ревзина, *Число и количество в поэтическом мире М. Цветаевой*, [в:] *Лотмановский сборник*, Москва 1995, т. 1, с. 630.

на поэтику лубка, примитива, фольклора...)»⁵. В статье Е. Фарыно *Два слова о Цветаевой и авангарде*⁶ освещается специфика творчества М. Цветаевой в контексте эстетики и поэтики Авангарда и вычлняются доминантные мифологемы, определяющие такую преемственность. Особенно акцентируется наличие в поэзии М. Цветаевой перформативного элемента, воспроизведение акта метаморфоз, стремление к мифологизации своей персониферы. По мнению польского ученого, «пере- и развоплощающие акты и техники у Цветаевой [...] действительны в силу предельной интенсификации желаний, их неистовости и неотвратимости [...] (т.е. сохраняют всю свою первозданную мощь перформатива)»⁷.

Название цикла *Скифские* – знак преемственности авангардных тенденций в творчестве поэтессы. Л. Зубова отмечает: «Скифия в русской культуре начала XX века стала метафорическим образом России как дикого поля, что наиболее ярко выражено в поэме А. Блока «Скифы». [...] Особенно продуктивным скифский миф оказался в самосознании, поэтике и творческом поведении футуристов...»⁸.

М. Цветаева далеко не первая, кто, разрабатывая тему Скифии, обратил внимание на соответствие пассионарности и неуспокоенности духа кочевническому образу жизни скифов и их стремлению к неограниченной свободе. По замечанию Е. Бобринской: «Номадизм, не только как историческая форма быта скифских племен, но и как особое состояние духа, устремленного к неизвестному, пребывающего в вечном движении и странствии, был постоянным компонентом скифской темы»⁹. При этом в культуре русского Авангарда «скифство» осознавалось «не как тема и даже не как парадигма, а как общая стихия творчества»¹⁰. М. Цветаева создает свою модель мира, куда входят «основные параметры скифского мифа – воинственный и жертвенный дух, духовный максимализм, порой доходящий до экстремизма; стихия, смывающая все культурные ограничения во имя нового творческого очищения»¹¹.

Цикл *Скифские* состоит из трех стихотворений. Каждое стихотворение цикла характеризуется наличием заклинательной функции, что повышает статус субъекта высказывания. «Репрезентация субъекта в речевой деятельности» – акцентирует Е. Горло – «напрямую связана с феноменом перформативности» как свойством «высказывания или целого текста производить

⁵ Н.О. Осипова, *«Поэма воздуха» М.И. Цветаевой в контексте художественно-эстетических исканий русского авангарда*, [в:] *«Поэт предельной правды чувства»*. Материалы первых международных цветаевских чтений, под общ. ред. А.И. Разживина, Елабуга 2002, с. 29.

⁶ Е. Фарыно, *Два слова о Цветаевой и авангарде*, <http://www.m-m.sotcom.ru/6-7/faryno.htm>.

⁷ Там же, <http://www.m-m.sotcom.ru/6-7/faryno.htm>.

⁸ Л.В. Зубова, указ. соч.

⁹ Е. Бобринская, *Русский авангард: истоки и метаморфозы*, Москва 2003, с. 49.

¹⁰ В.В. Фещенко, *Внутренний опыт революции в русской поэтике*, [в:] *Семиотика и Авангард: Антология*, под общ. ред. Ю.С. Степанова, Москва 2006, с. 312.

¹¹ Там же, с. 315.

действие»¹². Главная тема цикла – поэтический дар и особая иноприродность поэта. Для М. Цветаевой характерно постоянно обращаться к ряду знаковых в ее творчестве тем, к которым, несомненно, относится тема поэта и поэтического дара.

Первое стихотворение цикла задает тему Скифии. Скифия выступает эквивалентом духовной родины лирического «я», имплицитно подразумеваемая Россию. Главная характеристика мира Скифии в истолковании поэтессы – стремительность, наделяющая и лирическое «я» сопричастностью движению:

Из недр и ветвь – рысями!
Из недр и на ветр – свистами!

Гусиным пером писаны?
Да это ж стрела скифская!

Крутого крыла грифова
Последняя зга – Скифия!¹³

Идея быстроты претворена в образе скифской стрелы, который можно интерпретировать не только как знак пронзенности или послания, но и как аллюзию поэтического дара. Легенда о скифских стрелах, изложенная в *Истории* Геродота, имплицитно вводится в цикл, внося мотив сопричастности дикой хаотической природе – сущности Скифии, дающей импульс к творчеству.

Амбивалентность, присущая поэтическому дару в цветаевской трактовке, вполне согласуется и с символикой стрел Аполлона – солнечных лучей, которые «могут быть не только благодатными, но и испепеляющими все живое»¹⁴. М. Цветаева часто связывает творчество с очищающей стихией огня, что аллюзийно отсылает к образной системе пушкинского *Пророка*. В цикле *Стихи к Блоку* (1916) солнечные лучи как атрибут поэта отождествляются со струнами: «*Шли от него лучи – / Жаркие струны по снегу!*», а в цикле *Ахматовой* (1916) создается образ женщины-поэта, в структуре которого объединяются муза, плакальщица и колдунья, чей голос приравнивается к стрелам:

О, Муза плача, прекраснейшая из муз!
О, ты, шальное исчадие ночи белой!
Ты черную насылаешь метель на Русь,
И вопли твои вонзаются в нас, как стрелы.¹⁵

¹² Е.А. Горло, *Поэтический дискурс: перформативность, интенциональность, медийность*, Ростов-на-Дону 2007, с. 47.

¹³ М.И. Цветаева, *Стихотворения. Переводы*, [в:] М.И. Цветаева, *Собрание сочинений*: В 7 т., сост., подгот. текста и коммент. Л. Мнухина, Москва 1997, т. 2, с. 164.

¹⁴ В. Куклев, *Стрела*, [в:] *Энциклопедия символов, знаков, эмблем*, Москва 2001, с. 469.

¹⁵ М.И. Цветаева, *Стихотворения*, [в:] М.И. Цветаева, *Собрание сочинений*, указ. соч., т. 1, кн. 1, с. 303.

Поэтический дар в цикле *Скифские* соотносится с идеей избранности поэта и обжигающим, ранищим преображением. Образ стрелы, реализуя идею стремительности, указывает на отточенность поэтического слова и возможность преодолевать любые расстояния и запреты. Стрела символизирует полет, устремленность в высь, что в авторском мифе М. Цветаевой знаменует экзистенцию поэта:

Сосед, не спеши! Нечего
Спешить, коли верст – тысячи.
Разменной стрелой встречною
Когда-нибудь там – сплешемся!¹⁶

Коммуникативный партнер, к которому обращается лирическая героиня, имплицитно подразумевает личность Б. Пастернака:

И спи, молодой, смутный мой
Сириец, стрелу смертную
Леилами – и – лютнями
Глуша...¹⁷

Но обращение может подразумевать и поэта вообще, как сопричастного некой высшей силе. Более того, вероятно, замысел М. Цветаевой состоял в том, чтобы совместить эти различные ипостаси и дать установку на разнообразные и в то же время взаимодополняющие интерпретации стихотворения.

Учитывая, что через два дня после окончания цикла М. Цветаевой было написано стихотворение *Лютня*, в ассоциативное поле цикла *Скифские* включается образ Давида, играющего на лютне и этим отгоняющего от царя Саула злых духов:

Лютня! Ослушница! Каждый раз,
Струнную честь затрагивая:
«Перед Саулом-Царем кичась –
Не заиграться б с аггелами!»¹⁸

Для М. Цветаевой Давид, наравне с Орфеем – еще один вариант художественного осмысления сущности поэта. И Орфей, и Давид отличаются способностью завораживать. Этот аспект мифа позволяет ввести в подтекст цикла идею целительности поэтического слова и одновременно околдовывания слушателя и самого поэта. Схожую мысль М. Цветаева выразит в письме Б. Пастернаку 1927 года: «Лирика [...] служила мне верой и правдой, спасая

¹⁶ М.И. Цветаева, *Стихотворения. Переводы*, [в:] М.И. Цветаева, *Собрание сочинений* указ. соч., т. 2, с. 164.

¹⁷ Там же, с. 165.

¹⁸ Там же, с. 167.

меня, вывозя меня и заводя каждый раз по-своему, по-моему»¹⁹. Именно поэтический дар становится не только гибелью, но и спасением поэта. Скифия в стихотворении выступает символом величия, вечности и мерой разлуки:

Великая – и – тихая
Меж мной и тобой – Скифия...²⁰

Разделенность Скифией может означать обреченность поэта на одиночество. Кто бы ни становился спутником поэта, между ними всегда будет стоять *Скифия*. Генетическая связь лирического «я» с миром Скифии наделяет коммуникативных партнеров особым слухом и способностью претворять в творчестве стремительность и полет:

Не ушам смертного –
(Единожды в век слышимый)
Эпический бег – Скифии!²¹

Второе стихотворение цикла имеет отдельное название *Колыбельная*, что задает установку суггестивного воздействия на сознание коммуникативного партнера и реципиента в целом:

Как по синей по степи
Да из звездного ковша
Да на лоб тебе да...
– Спи,
Синь подушками глуша.²²

«Синь» связывается с небосклоном, степью, морем и имплицитно со Скифией. Мотив сна, центрирующий лирический сюжет стихотворения, отсылает к образу спящего собеседника. Сон становится возможностью перехода в Иномирие, приобщения к неведомой одухотворяющей силе. А. Колачковска отмечает, что «для авангардистского сознания характерным является разрыв с действительностью и погружение в трансцендентальное пространство, попытка воссоединиться с космическим универсумом»²³. В стихотворении именно сон – переход в измененное состояние сознания и то же время защита от часто мучительной избранности поэта. *Колыбельная* строится как заклинание,

¹⁹ М.И. Цветаева, *Письма*, [в:] М.И. Цветаева, *Собрание сочинений* указ. соч., т. 6, кн. 1, с. 273.

²⁰ М.И. Цветаева, *Стихотворения. Переводы*, [в:] М.И. Цветаева, *Собрание сочинений* указ. соч., т. 2, с. 164.

²¹ Там же, с. 165.

²² Там же.

²³ А. Колачковска, *Поэма конца Василиска Гнедова: К проблеме угла в искусстве русского Авангарда (Семиотический анализ)*, „Przegląd Rusycystyczny” 2004, № 4 (108), с. 32.

где лирическое «я» присваивает роль чародейки и Берегини-спасительницы, отвращающей заклятие.

В варьирующемся на протяжении всего стихотворения рефрене представлен авангардный принцип словотворчества. Следует отметить, что «основной приметой русского поэтического авангарда явилось “слово – новшество”»²⁴. Принцип создания нового поэтического языка был обусловлен идеей, что «... новые формы – не самоцель, лишь этап движения к новому миру, к новому содержанию»²⁵. Словотворчество позволяло сочетать элементы «зауми», равноправное введение в текст неологизмов и архаизмов, активное использование игры слов. Эта тенденция в культуре Серебряного века проявилась и в творчестве М. Цветаевой. Она создает неологизм, который должен выразить невыразимое – передать многозначную сущность поэтического дара, превращающего поэта в сновидца:

Дыши да не дунь,
Гляди да не глянь.
Волынь-криволунь
Хвалынь-колывань.²⁶

Как утверждает Ю. Гирин, «образ, слово, звук предстают в своей перво-сущности, в явленной творимости и принципиальной незавершенности как элементы вселенского вершения»²⁷. Неологизм «Хвалынь» помещается поэссой в контекст описания особого состояния, сближающего поэтическое вдохновение с трансом. «Хвалынь» для М. Цветаевой, видимо, символ соблазна творчеством и Иномирья – духовной родины поэтов в цветаевском мифе: «Волынь-криволунь / Хвалынь-колывань» – «Волынь-перелынь / Хвалынь-завирань» – «Волынь-перезвонь / Хвалынь-целовань».

Использование неологизма в рефренной организации стихотворения задает перформативную направленность и установку на поиск наиболее адекватного смысла, передающего архетипическую основу понятия. Внимание фокусируется на моделировании некой психической реальности, в которой разрушаются или заменяются традиционные причинно-следственные связи. Доминантой, центрирующей лирический сюжет стихотворения, становится образ-символ, определяющий возникновение различных ассоциативных сцеплений. В цветаевском цикле слово-символ «Хвалынь» выступает как своего рода заклинательная формула, соответствуя околдовыванию и одновременному снятию чар.

²⁴ О. Клинг, *Три волны Авангарда* [в:] *Арион*, Выпуск 3, Москва 2001, <http://magazines.russ.ru/arion/2001/3/kling-pr.html>.

²⁵ В.В. Фещенко, указ. соч., с. 314.

²⁶ М.И. Цветаева, *Стихотворения. Переводы*, [в:] М.И. Цветаева, *Собрание сочинений*, указ. соч., т. 2, с. 165.

²⁷ Ю.Н. Гирин, *К построению авангардистской картины мира*, [в:] *Вестник Российского гуманитарного научного фонда*, вып. 3, Москва 2005, с. 124.

С другой стороны «Хвалынь» соотносится с древнерусским обозначением Каспийского моря, носившего название Хвалынского. Итак, «Хвалынь» становится указанием Скифии и моря:

Как из моря из Каспий-
ского – синего плаща,
Стрела свистнула да...
(спи,
Смерть подушками глуша)...²⁸

Скифия – направление, откуда пущена стрела, имеющая амбивалентную символику смерти и поэтического дара. Море позволяет имплицитно обыгрывать значение имени Марина. Подобный подтекст подчеркивает наличие автокоммуникативного элемента в тексте стихотворения. Возможность автокоммуникации предполагает раздвоенность сознания лирического «я». В этом случае колыбельная воспринимается как самоустановка, позволяющая войти в измененное состояние сознания. Лирическая героиня – поэт, слышащий наставления своего божественного «вожатого» и выполняющий функцию транслятора.

Третье стихотворение цикла – молитва богине Иштар, строится на рефренном способе организации. Как отмечает М. Гаспаров, для лирики М. Цветаевой характерно «рефренное словосочетание как композиционная опора, к которой сходятся все темы всех частей стихотворения»²⁹. Рефренная организация стихотворения – излюбленный цветаевский прием, позволяет не только переосмыслить и углублять доминантный образ, но и имитировать оккультный статус молитвы, обращенной к Иштар.

Выбор М. Цветаевой богини Иштар не случаен. Иштар – «богиня плодородия и плотской любви; богиня войны и распри; астральное божество (олицетворение планеты Венеры). [...] В иконографии Иштар иногда изображается со стрелами за спиной»³⁰. Итак, Иштар богиня любви и в этом уподобляется Афродите, но ее отличает то, что она богиня-воительница.

В 1921 году М. Цветаевой был создан цикл *Хвала Афродите*, где лирическое «я» отрекалось от пагубной власти богини любви, взамен утверждая свое духовное перерождение:

– Содружества заоблачный отвес
Не променяю на юдоль любви³¹.

²⁸ М.И. Цветаева, *Стихотворения. Переводы*, [в:] М.И. Цветаева, *Собрание сочинений*, указ. соч., т. 2, с. 165.

²⁹ М.Л. Гаспаров, *Марина Цветаева: От поэтики быта к поэтике слова*, [в:] *Избранные статьи*, Москва 1995, с. 315.

³⁰ В.К. Афанасьева, И.М. Дьяконов, *Иштар*, [в:] *Мифология. Большой энциклопедический словарь*, гл. ред. Е.М. Мелетинский, Москва 1998, с. 263.

³¹ М.И. Цветаева, *Стихотворения. Переводы*, [в:] М.И. Цветаева, *Собрание сочинений*, указ. соч., т. 2, с. 62.

Теперь же поэтесса находит мифологический образ, сходный с Афродитой, но в то же время отличающийся от нее большей неистовостью и воинственностью. Наделение Иштар функцией покровительницы характеризует и лирическую героиню. В контексте цикла *Скифские* просьба охранить подразумевает избавление от одержимости страстью для принадлежности заоблачному содружеству «Братьев, сестер» и сопричастности Иномирью, открывающему новые грани бытия, познания и возможности поэтического дара:

От стрел и от чар,
От гнезд и от нор,
Богиня Иштар,
Храни мой шатер:
Братьев, сестер³².

Подтверждение подобной трактовки мы находим в записных книжках М. Цветаевой за 1923 год, где есть размышление о платонической любви, соответствующей идее заоблачного содружества: «Не одни объятия связываю <ают>. И, если я себе (Вам?) отказываю в них, то для того лишь, чтобы лучше и глубже и пуще – по-иному! Обнять. [...]. «Платоническая любовь»? – да из лютых лютейшая!»³³.

В поэтическом мире М. Цветаевой к этому времени выражена идея утраты лирическим «я» молодости и сопричастность старости и мудрости (*Молодость* (1921), *Хвала Афродите* (1921), *Земные приметы* (1922), *Сивилла* (1922) и др.):

Вырванная из грудных глубин –
Молодость моя! – Иди к другим!³⁴

Лирическая героиня в цикле предстает жрицей Иштар, девой-воительницей, утверждающей право земной любви для юных и смерть для тех, кого коснулась старость:

Чтоб не жил – кто стар,
Чтоб нежил – кто юн!
Богиня Иштар,
Стреми мой табун
В тридевять лун!³⁵

³² Там же, т. 2, с. 166.

³³ М.И. Цветаева, *Автобиографическая проза. Воспоминания. Дневниковая проза*, [в:] *Избранные сочинения*: В 2-х т., Москва 1998, т. 2, *Статьи. Эссе*, с. 276.

³⁴ М.И. Цветаева, *Стихотворения. Переводы*, [в:] М.И. Цветаева, *Собрание сочинений*, указ. соч., т. 2, с. 65.

³⁵ Там же, с. 167.

С другой стороны, она просит заступничества у Иштар, что означает утверждение своей отданности творчеству: «Храни мой колчан...», «Храни мой костер», «Храни мой котел / (Зарев и смол!)».

Лирическая героиня вновь отказывается от жизни и земной любви взамен творчества и пути в Иномирье, обозначенное в стихотворении как «три-девять лун».

В цикле *Скифские* представлен новый тип художественной системы М. Цветаевой, основанный на сближении с эстетикой русского Авангарда 1920-х годов.

Каждое стихотворение цикла разворачивается как новая стадия перформативного диалога, способствующего как переживанию вместе с коммуникативным партнером магического обряда, так и самопознанию. Смена коммуникативных стратегий и фиксация различных «точек зрения» стимулируют переходы в разные модусы сознания.

Поэтическое слово, наделенное перформативной функцией, способствует преодолению расстояния между лирическим «я» и адресатом. Заклинательный характер, присущий всему циклу, определяет особый статус лирической героини – чародейки-поэта. Околдовывание песенным даром направлено на коммуникативного партнера, на преодоление судьбы и изменение собственной сущности. Коммуникативная стратегия, обретая многомерность, расценивается как автокоммуникация и как обращенность к собеседнику.

Взаимное переплетение образов Скифии, скифской стрелы, Давида, сновидца, богини Иштар, чародейки, девы-воительницы, гости из Иномирья, женщины-поэта способствует смыслопорождающей процедуре, позволяющей обозначить архетипическую сущность Скифии и поэтического дара. Множество самоотождествлений выявляет главную сущность лирической героини, духовной родиной которой подразумевается Скифия. *Идея скифского духа*, соответствующего иноприродности поэта, является главным консолидирующим началом цикла.

В данной статье на материале цикла *Скифские* намечен возможный вариант решения проблемы перформативности лирики М. Цветаевой 20-х годов в контексте эстетической парадигмы русского Авангарда.

Литература

- Айзенштейн Е.О., *Борису Пастернаку – навстречу! Марина Цветаева*, Санкт-Петербург 2000, 382 с.
- Афанасьева В.К., Дьяконов И.М., *Иштар*, [в:] *Мифология. Большой энциклопедический словарь* / гл. ред. Е.М. Мелетинский, Москва 1998.
- Бобринская Е., *Русский авангард: истоки и метаморфозы*, Москва 2003.
- Гаспаров М.Л., *Марина Цветаева: От поэтики быта к поэтике слова*, [в:] *Избранные статьи*, Москва 1995, с. 307–315.
- Гирин Ю.Н., *К построению авангардистской картины мира*, [в:] *Вестник Российского гуманитарного научного фонда*, вып. 3, Москва 2005, с. 122–132.
- Горло Е.А., *Поэтический дискурс: перформативность, интенциональность, медийность*, Ростов-на-Дону 2007.

- Зубова Л.В., *Цикл Марины Цветаевой «Скифские» – послание Борису Пастернаку*, <http://www.ipmce.su/~tsvet/WIN/zubova/skif.html>.
- Колачковская А., *Поэма конца Василиска Гнедова: К проблеме угла в искусстве русского Авангарда (Семиотический анализ)*, „Przegląd Rusycystyczny” 2004, № 4 (108), с. 30–40.
- Клинг О., *Три волны Авангарда*, [в:] *Арион*, Выпуск 3, Москва 2001, <http://magazines.russ.ru/arion/2001/3/kling-pr.html>.
- Куклев В., *Стрела*, [в:] *Энциклопедия символов, знаков, эмблем*, Москва 2001, с. 469.
- Осипова Н.О., *«Поэма воздуха» М.И. Цветаевой в контексте художественно-эстетических исканий русского авангарда*, [в:] *«Поэт предельной правды чувства»: Материалы первых международных цветаевских чтений*, под общ. ред. А.И. Разживина, Елабуга 2002, с. 28–38.
- Ревзина О., *Число и количество в поэтическом мире М. Цветаевой*, [в:] *Лотмановский сборник*, Москва 1995, т. 1, с. 619–641.
- Таубман Дж., *«Живя стихами...»: Лирический дневник Марины Цветаевой*, Москва 2000, с. 217–218.
- Фарыно Е., *Два слова о Цветаевой и авангарде*, <http://www.m-m.sotcom.ru/6-7/faryno.htm>.
- Фещенко В.В., *Внутренний опыт революции в русской поэтике*, [в:] *Семиотика и Авангард: Антология*, Под общ. ред. Ю. С. Степанова, Москва 2006, с. 286–345.
- Цветаева М.И., *Стихотворения*, [в:] Цветаева М. И., *Собрание сочинений*: В 7 т., Сост., подгот. текста и коммент. Л. Мнухина, т. 1, кн. 1, Москва 1997.
- Цветаева М.И., *Стихотворения. Переводы*, [в:] Цветаева М. И., *Собрание сочинений*: В 7 т., Сост., подгот. текста и коммент. Л. Мнухина, т. 2, Москва 1997.
- Цветаева М.И., *Письма*, [в:] Цветаева М.И., *Собрание сочинений*: В 7 т., Сост., подгот. текста и коммент. Л. Мнухина, Москва 1998, т. 6, кн. 1, 336 с.
- Цветаева М.И., *Автобиографическая проза. Воспоминания. Дневниковая проза*, [в:] *Избранные сочинения*: В 2 т., т. 2, Москва 1998.

Перформативность как фактор авангардной эстетики в цикле М.И. Цветаевой *Скифские*

Резюме

В статье на материале цикла «Скифские» анализируются проявление преформативности и модификации коммуникативных стратегий М. Цветаевой 1920-х годов в аспекте авангардной аксиологии.

Ключевые слова: перформативность, коммуникативные стратегии, автокоммуникация, авангардная эстетика, заклинательный характер текста, многоликость лирического «я»

Performativity as a factor in avant-garde aesthetics in the cycle of M. I. Tsvetaeva Scythian

Abstract

In the article, on the material of the cycle «Скифские» ("Scythian"), application of the performative is analyzed, as well as the modification of communicative strategies by M. Tsvetaeva (1920s) in the aspect of avant-garde axiology.

Key words: performative, communicative strategies, autocommunication, avant-garde aesthetics, invocation character of text, multiplicity of faces of the lyrical subject.

Светлана Фокина

Одесский национальный университет имени И. И. Мечникова

Кандидат филологических наук

Доцент кафедры мировой литературы

e-mail: svetlana_fokina@ukr.net

+38-097-40-54-990

Anna Greb

Urok i wzruszenie a zadowolenie duszy. Poglądy estetyczne Michaiła Murawjowa

Dyskusje poświęcone estetyce od lat prowadziły do ciągłych zmian obszaru jej zainteresowań, w których próbowano odpowiedzieć na pytanie o prawdę estetyczną. Wielokrotnie, od czasów starożytnych, estetycy starali się zdefiniować naukę o pięknie i uchwycić istotę tej subtelnej materii, jaką jest dzieło sztuki. Proces ten przebiegał w oparciu o ciągłe uznawanie dzieła sztuki za centrum estetyki bądź przenoszenia uwagi widza na akt twórczy, w wyniku którego powstają przedmioty estetycznie wartościowe. W efekcie tych częstych zmian wykształciły się liczne pojęcia, przy pomocy których starano się dookreślić perspektywę, z której widz obcował z dziełem sztuki. Od XVIII wieku w słowniku estetyki zaistniały takie pojęcia jak: estetyczne doświadczenie, estetyczne postrzeganie, estetyczne przeżywanie lub przeżycie estetyczne. Fenomenowi tej wielorakości pojęć poświęcił swoją pracę, pod tytułem *Ästhetische Theorie*, Theodor Adorno. Teoretyk zauważa mianowicie, że wszystko, czemu można by przypisać przymiotnik *estetyczne*, musi zaistnieć w rzeczywistości sztuki, gdyż tylko w taki sposób może być dostrzeżone i jako estetyczne postrzegane. Fakt ten niesie ze sobą konsekwencje dla widza, gdyż, jak podkreśla Adorno, kontakt z dziełem powinien polegać na całkowitym poddaniu się dziełu, jego logice, jego sile wyrazu oraz na przyzwoleniu na całkowite, bezwarunkowe wpływanie dzieła na odbiorcę¹.

W poglądach niemieckiego estetyka widoczna jest kontynuacja podstawowego znaczenia estetyki, jakie jej twórca, Aleksander Gottlieb Baumgarten, starał się jej nadać. W połowie XVIII wieku traktowano estetykę nie jako teorię sztuk pięknych, lecz jako naukę o zmysłowym pojmowaniu sztuki. Dzieła sztuki zostały więc uznane za zjawiska, które nie wystarczy widzieć czy słyszeć, ale trzeba je przede wszystkim rozumieć. Estetyczne postrzeganie rozwijało się i nie pozostało na poziomie najprostszego schematu bodziec – reakcja. Na przestrzeni wieków sukcesywnie przedstawiciele kolejnych epok dokładali swoje teorie i przemyślenia, aby zbliżyć się jak

¹ T. Adorno, *Ästhetische Theorie. Gesammelte Schriften*, Bd. 7, Suhrkamp Frankfurt/Main 1970, s. 409.

najbardziej do sformułowania definicji postrzegania, doświadczania i przeżywania przedmiotów estetycznie wartościowych.

Doświadczenie estetyczne, z którego wyodrębnić można przeżycie estetyczne, jest rezultatem skomplikowanego procesu, bazującego na zmysłowych oraz emocjonalnych wrażeniach i wspomnieniach podmiotu percypującego. Współcześni estetycy, na przykład Erika Fischer-Lichte, do wymienionych elementów dołączają również refleksje, sądy, spełnione lub niespełnione oczekiwania, jakich doznał widz w ciągu swojego życiowego obcowania z przedmiotami pięknymi. Wszystkie te wrażenia permanentnie wpływają na odbiorcę i są w stanie doprowadzić do trwałej zmiany jego stanu psychicznego, czyli wywołać u niego właściwe przeżycie estetyczne. W dzisiejszych czasach pojawiło się stwierdzenie, że przeżycie estetyczne może mieć charakter podprogowy², co prowadzi do doznawania przeżyć estetycznych, będących całkowicie niezależnymi od świadomości widza. Jest to niewątpliwie dalszy rozwój myśli Artura Schopenhauera, mówiącego o zatrzymaniu biegu świadomości w czasie obcowania z przedmiotami pięknymi, czyli kontemplacji³.

Taka droga rozwoju zjawiska przeżycia estetycznego doprowadziła do wyodrębnienia dwóch, semantycznie bardzo zbliżonych, pojęć funkcjonujących w obrębie jego analizy. Są to, wspomniane wyżej, doświadczenie estetyczne oraz przeżywanie estetyczne. Przeżywanie estetyczne definiuje się jako zetknięcie podmiotu z rzeczywistością bez znamion refleksji i interpretacji, co wyraźnie nawiązuje do fazy wstępnej, czyli emocji wstępnej, o której mówi Roman Ingarden w swoich pismach estetycznych. Doświadczenie estetyczne odpowiada złożonemu procesowi nawiązywania się więzi między podmiotem a przedmiotem prowadzącym w konsekwencji do doświadczenia przeżycia estetycznego *sensu stricto*.

Obok wspomnianych terminów dotyczących struktury i natury przeżycia estetycznego, estetyka wyróżnia od czasów Immanuela Kanta również pojęcia uroku i wzruszenia⁴. Kategorie uroku i wzruszenia, o których Kant pisze w *Krytyce władzy sądzenia*, należy postrzegać jako poruszenie zmysłów i oddziaływanie na serce i duszę podmiotu podczas relacji z przedmiotem pięknym. Urok posiada zdolność przyciągnięcia uwagi widza i skupienia jej często tylko na jednym aspekcie dzieła, z którego pochodzi. Jednak jego obecność zakłóca tworzenie się sądu smaku, poprzez domaganie się pierwszeństwa w percepcji. Fakt ten wskazuje również na ważną, podkreślaną już przez Arystotelesa w *Etyce Eudemejskiej*, cechę przedmiotu uznawanego za estetyczny. Taki przedmiot, emanujący urokiem poszczególnych swych elementów, nie jest estetyczny w swej całości, lecz jest sumą uznawanych za estetyczne cech przedmiotu. Dlatego jest to niezwykle ważne, aby oddzielić urok od estetycznych cech przedmiotu, gdyż, jak pisze Kant, piękne może być to, co bez

² E. Fischer-Lichte, *Ästhetische Erfahrung als Schwellenerfahrung*, [w:] Küpper/Menke, *Dimensionen ästhetischer Erfahrung*, s. 139, [w:] K.P. Liessmann, *Ästhetische Empfindungen*, Wien 2009, s. 17.

³ W. Tatarkiewicz, *Dzieje sześciu pojęć*, Warszawa 2006, s. 385.

⁴ Należy nadmienić, że kategorie uroku oraz wzruszenia są znane od czasów Arystotelesa i Platona, ale dopiero filozof z Królewca powiązał je z przeżyciem estetycznym i do tego w znaczeniu pejoratywnym. Kant chciał podkreślić, że wszelkie sądy smaku powstają bezinteresownie, dlatego jakiegokolwiek odczucia i afekty utrudniają ich powstawanie.

pośredniczenia żadnych pojęć powszechnie się podoba. Jest to definicja piękna wynikająca z drugiego sądu smaku o przeżyciu estetycznym⁵.

Drugą formą odczuwania piękna jest wzruszenie, które także towarzyszy obcowaniu z przedmiotem pięknym. Czy jest to dzieło sztuki, czy dzieło natury, każde z nich może wzruszać i przez to stawać się obiektem, któremu odbiorca poświęca swoją uwagę, co w konsekwencji może doprowadzić do zaistnienia przeżycia estetycznego.

W estetyce okresu przed Kantem powszechny był sąd, że nie istnieje sztuka bez uroku i nie istnieje oddziaływanie sztuki bez wzruszenia. Tę kwestię poruszał w dziele *Theorie der schönen Künste* Johann Georg Sulzer. Uważał on, że dzieło sztuki, które powstało pod wpływem pasji i uroku wzorca, wywołuje zachwyty. Aby jednak ta specyficzna więź między obiektem a odbiorcą zaistniała, konieczne są dwie rzeczy: przedmiot, któremu nie brak uroku oraz twórca, który posiada wrażliwą duszę. W kwestii wzruszenia Sulzer zajmował mniej pozytywne stanowisko. Twierdził on, że wszystko, co wywołuje namiętne odczucia, uznawane jest od razu za wzruszające. Sulzer traktował taki sposób wywoływania namiętności i wzruszenia za typowy zabieg twórców, aby zyskać uznanie w oczach odbiorców⁶. Stanowisko Sulzera nie było tak radykalne w osądzie kategorii uroku i wzruszenia, jakie reprezentował Kant. Jego krytyka była, jak już zostało wspomniane wcześniej, podyktowana nadaniem prawa pierwszeństwa sądowi smaku. Zdaniem Kanta, każdy, kto jest pod wpływem emocji, nie jest w stanie formułować ani logicznych, ani tym bardziej estetycznych sądów. Jego zmysły są oślepiające, a wszelkie okazywanie emocji, na jakie mógł sobie pozwolić na przykład starożytny mówca, w dobie autonomicznej sztuki jest niedopuszczalne. Mniej ostrych sformułowań używał Schopenhauer, dla którego sztuka pełniła funkcję medium, umożliwiającego widzowi prześledzenie dynamiki procesu twórczego artysty i bez koncentracji na własnym ciele z pomocą piękna oddaniu się kontemplacji. Schopenhauerowi, w odróżnieniu od Kanta, urok i wzruszenie nie przeszkadzają w sądach smaku, lecz w czystym poznaniu.

Mimo, że tak wielu filozofowie jak Kant i Schopenhauer właściwie odrzucili urok i wzruszenie w sztuce, uważając je raczej za ograniczenie w sądeniu o pięknie oraz kontemplacji, to jednak bez obu tych kategorii sztuka nie byłaby w stanie docierać do szerszego grona widzów. Na fakt wykorzystania wzruszenia, jako swoistej XVIII – wiecznej reklamy, zwracał uwagę Sulzer oraz Gotthold Ephraim Lessing. Zdaniem autora dzieła *Hamburgische Dramaturgie*, wzruszenie jest estetycznym wyznacznikiem sztuki teatralnej, oddziałującej na tę część publiczności, która nie poszukuje pokarmu dla duszy, tylko zwykłych ludzkich emocji. Tym stwierdzeniem wystąpił Lessing także przeciw panującemu pogładowi, że doświadczanie tragizmu należy się tylko szlachetnie urodzonym.

Kwestiom estetycznym poświęcone były także traktaty teoretyków rosyjskich, którzy na początku XIX wieku dopiero zaczynali odkrywać naukę o pięknie. Za właściwy jej początek przyjmuje się artykuł Piotra Nowikowa. Jego autor wspomina w swoim artykule *Об эстетическом воспитании*, że estetyka jako nauka znajduje

⁵ Por.: I. Kant, *Krytyka władzy sądenia*, przełożył oraz przedmową i przypisami opatrzył J. Gałęcki, Warszawa 2004, s. 87.

⁶ J.G. Sulzer, *Theorie der schönen Künsten*, Bd. 2, s. 990, [w:] K.P. Liessmann, *Ästhetische Empfindungen...*, s. 41.

się dopiero w początkowej fazie rozwoju. Do roku 1780 stanowiła ona tylko zbiór twierdzeń poświęconych kategorii smaku⁷, które odnosiły się głównie do poezji, retoryki i malarstwa. Na tej podstawie Nowikow uznał, że należy wszelkie oddzielne definicje smaku i piękna ujednoczyć i rozpatryć z punktu widzenia filozofii. W ten sposób chciał doprowadzić do stworzenia ogólnych reguł piękna.

Teoretyk podkreślał również możliwość pedagogicznego wykorzystania nowej dyscypliny. Estetyka, jako nowoodkryta nauka, nie posiadała jeszcze wykształconego systemu środków i metod badawczych. Stanowiła więc dla pierwszych jej propagatorów szansę odkrycia nowych dróg rozwoju myśli oraz dawała możliwość komentowania już istniejących idei i uzupełniania ich o zupełnie nowe. Współcześni badacze rosyjscy w swych opracowaniach tego okresu (np. P.W. Sobolew, Z.A. Kamienski⁸) wspominają o istnieniu pewnych środków wyrazu pozwalających na formułowanie pierwszych ocen estetycznych.

Zachwyt i euforia, jaką w początkach swojego rozwoju wzbudziła estetyka w dziewiętnastowiecznej Rosji, doprowadził do uznania jej za najważniejszą z dziedzin nauki. Największym zainteresowaniem młodych rosyjskich estetyków cieszyły się tematy takie jak: historyczny rozwój nauki, o naturze piękna, o pięknie fizycznym, o pięknie umysłu, o idealnym pięknie, o wzniosłości, o moralności estetycznej, o smaku, o powstaniu i istocie poezji.

Rosyjscy teoretycy (Aleksiej Mierzłakow, Piotr Giorgijewski, Iwan Wojcechowicz, Michaił Murawjow) poruszali w swych pracach większość ważkich tematów tamtego okresu. Podobnie jak na Zachodzie Europy interesowała ich przede wszystkim kwestia istoty piękna, a także przeżycia estetycznego. Skupili się na kwestii oddzielenia piękna filozoficznego od piękna sztuki, czyli rozróżnieniu wewnętrznych lub zewnętrznych cech obiektu. Za podstawę do polemiki z systemami filozoficznymi Europy Zachodniej uznawali powszechnie przytaczaną definicję istoty piękna jako kategorii ontologicznej. Wiele uwagi poświęcali wyszczególnieniu cech przedmiotów dziś zwanych estetycznymi, określeniu ich wartości i zdolności oddziaływania na widza. W odróżnieniu od prac teoretyków niemieckich, francuskich czy też angielskich kluczowym, i chyba najważniejszym pojęciem, nad którym pochylali się w swych pracach rosyjscy badacze, było pojęcie siły estetycznej, któremu wiele miejsca poświęcili między innymi A. Mierzłakow, P. Giorgijewski, a także I. Wojcechowicz. Rozumienie tego pojęcia było nieco odmienne od zachodniego, niemniej jednak to właśnie ono stało się podstawą rozwoju estetycznej myśli rosyjskiej początku XIX wieku. Jej dalsza ewolucja warunkowana była często dostępnością pism teoretycznych tłumaczonych z innych języków lub, jak i w wielu innych krajach, sytuacją kulturalno-społeczną. Wiele prac teoretycznych tego okresu zostało poświęconych estetyce filozoficznej, co wymagało od badaczy doskonałej znajomości filozofii. W tym zakresie rosyjscy teoretycy nie ustępowali wiedzą swoim

⁷ П.В. Соколов, *Очерки русской эстетики первой половины XIX века. Курс лекций*, ч. 1, Ленинград 1972, s. 12.

⁸ Рог.: З.А. Каменский, *Русская эстетика первой трети XIX века. Классицизм*, [w:] *Русские эстетические трактаты первой трети XIX века в двух томах*, Составление, вступительная статья и примечания З.А. Каменского, Москва 1974; П.В. Соколов, *Очерки русской эстетики...*

kolegom z Europy Zachodniej, chociaż nie zawsze potrafili odpowiednio zinterpretować teorie filozoficzne lub tłumaczyli je korzystnie dla swoich rozważań.

Do dalszych tematów poruszanych w pracach teoretycznych należy zagadnienie sztuki, jej budowanie związku z artystą oraz z widzem, a także jej wartość w porównaniu do nauki. Tą tematyką zajmowali się głównie młodzi, mniej doświadczeni teoretycy. Związany z tym zagadnieniem problem geniuszu, talentu czy duszy stawał się często impulsem do napisania pojedynczych artykułów lub krótkich prac prezentowanych przez, między innymi takich twórców jak: Trofim Rogow, M. Murawjow, P. Nowikow czy Wasilij Grigorowicz.

Żaden z wymienionych wyżej twórców nie skupił się w swoich przemysleniach tylko na kategorii uroku i wzruszenia. Nie oznacza to, że temat ten był zupełnie pomijany na gruncie rosyjskim. Na uwagę zasługuje przede wszystkim praca M. Murawjowa, poświęcona zadowoleniu duszy. Murawjow (1757–1807) jest chyba najbardziej niedocenianym teoretykiem początku XIX wieku. Mimo piastowanego stanowiska na Uniwersytecie Moskiewskim nie można zebrać o jego osobie wielu informacji. Jego traktaty i pisma także nie zaliczają się do tych najbardziej poczytnych i nie często są wymieniane w spisach bibliograficznych, równie rzadko były publikowane. Jedynie dzięki pełnemu wydaniu prac Murawjowa z 1820 roku opublikowanemu przez Akademię Rosyjską w Sankt Petersburgu możliwe jest prześledzenie myśli, poglądów i teorii estetycznych tego badacza. W zbiorze *Полное собрание сочинений Михаила Никитича Муравьева*, pojawiły się rozdziały: *Zadowolenie i smutek*; *Miłość do samego siebie*; *Umiłowanie przyjemności*; *Władza nad samym sobą*; *Szczęśliwość*; *Wewnętrzna świadomość*, *Drugie źródło zrozumienia*, *zespolenia idei* oraz *Pisma estetyczne*.

Rozpoczynając rozważania nad pierwszym z zagadnień, Murawjow zauważa, że w życiu ludzkim przeplatają się i zadowolenie, i smutek. Stanowią one dwa skrajne wierzchołki sinusoidy bytu. Człowiek stara się osiągnąć pierwsze i uciec od drugiego:

Между начальными и общими понятиями *удовольствие* и *скорьбь* суть два весьма важные. Всю жизнь нашу препроводим мы снискивая первое и убегая второго⁹.

Natura znalazła sposób, by zbliżyć ludzi do tego, co dla nich korzystne, a także możliwość obrony ich bytu przed tym, co szkodliwe. Wszystkie nieprzyjemne odczucia zalicza teoretyk do zagrażających człowiekowi. Bywa jednak, że jedna i ta sama rzecz może zaliczać się do grupy pozytywnie bądź negatywnie oddziałujących elementów. Jako przykład daje Murawjow ogień, który jest w stanie dostarczyć zadowolenia, lecz zbytne zbliżanie się do niego grozi zagładą. Autor wydaje się, więc podkreślać przenośne znaczenie sytuacji:

Огонь в некотором отдалении приносит удовольствие; непосредственное к нему приближение скорьбь и погибель¹⁰.

⁹ *Полное собрание сочинений Михаила Никитича Муравьева*, ч. 3-я, Санкт Петербург 1820, s. 28.

¹⁰ Tamże, s. 28.

Do pośrednich w swym działaniu czynników zalicza rosyjski badacz ból, który przez swoją fizyczność jest sygnałem ostrzegawczym dla duszy przed zbliżającym się zagrożeniem.

Nie może nie dziwić zdecydowanie odmienne niż u innych wspomnianych już teoretyków podejście do zagadnień natury filozoficzno-eschatologicznej. Murawjow, w odróżnieniu od swoich kolegów-badaczy, duży nacisk kładzie na problem przenikania się świata realnego ze światem doznań estetycznych. Zdaniem Murawjowa człowiek wykazuje skłonność ku dążeniu do przyjemności, a także dysponuje siłą odciągającą go od smutku.

W dalszej części rozważań autor zastanawia się nad przyczynami zadowolenia. Jego zdaniem, zadowolenie duszy jest najdoskonalszą jej postacią. Za początek zadowolenia uznaje Murawjow złożoną strukturę stanu ducha. Składają się na nią: nowość (новость), harmonia poszczególnych części, piękno, majestat oraz umiarkowane kształtowanie się zdolności człowieka. Uczucie zadowolenia jest wewnętrzną dyspozycją duszy ludzkiej pozwalającą rozpoznać brzydotę, monotonię, brak harmonii czy nikczemność:

Причины удовольствия суть по большей части: новость, соразмерность частей, красота, величественность, умеренное упражнение наших способностей. Внутреннее чувствование уверяет каждого, сколь неприятно беспрестанное повторение тех же самых предметов, несоразмерность, безобразия, подлость, совершенной недостаток упражнения¹¹.

Powyższy opis zadowolenia jest przez teoretyka przedstawiony w dość niejasny sposób. Mimo to wydaje się kryć w nim interesujące spojrzenie na zagadnienie przeżycia estetycznego. Nazwane zdolności duszy podmiotu są charakterystyczne dla przytoczonych, np. przez Mierzlakowa czy Gieorgijewskiego definicji przeżycia estetycznego określanego też mianem siły estetycznej. Jest więc możliwe, że pod pojęciem zadowolenia, jako specyficznego stanu świadomości, ukrył Murawjow zupełnie inne zjawisko estetyczne. Niestety, niejasność i skrótowość myśli dopuszczają wielorakość interpretacji.

W dalszej części swojego wywodu skupia się Murawjow na problematyce piękna. Estetyk wyróżnia piękno fizyczne, którego przykładami są naturalne zjawiska przyrody oraz sztuki piękne. Autor wspomina także o pięknie moralnym, przejawiającym się w obyczajach, zachowaniu, uczuciach i słowach ludzkich. Obydwa rodzaje składają się na całościowy obraz pojęcia piękna. Istotę piękna odnajduje badacz tylko w szlachetnej duszy. Murawjow podkreśla więc, że jasny i wolny umysł zasługuje na większy szacunek niż piękny duch, ale mimo to właśnie dusza jest najwyższym stopniem doskonałości.

Podobnie jak rodzaje piękna dzieli teoretyk również przedmioty mogące wprawić widza w stan zadowolenia. Obiekty są, zdaniem Murawjowa, obdarzone pięknem fizycznym oraz moralnym. Budzą one w człowieku uczucia przywiązania, przyjemności, sympatii, zdziwienia, szacunku i pragnienia:

¹¹ Tamże, s. 29.

По свойству удовольствия предметы, одаренные красотою физическою или нравственною, внушают в нас и ощущения приятные, привязанность, почтение, удивление, желание¹².

Z kolei przedmioty nieharmonijne, inaczej brzydkie, autor używa nawet określenia odrażające (безобразные), wywołują u widza stany złości, odczucie wstrętu, nienawiści, pogardy¹³. W konsekwencji nie może podobać się podmiotowi percypującemu nic, co wykazuje braki i niedostatki w formie, złe zachowanie czy głupota. Tym samym poprzez swoje rozważania Murawjow wkomponowuje się w całościowy obraz estetycznej myśli rosyjskiej początku XIX wieku. Podobnie jak Mierzlakow, zdaniem którego tylko określone przedmioty mogą wywołać przeżycie estetyczne i analogicznie do twierdzeń Gieorgijewskiego, sądzącego, że zadowolenia dostarczyć mogą tylko dzieła sztuki, Murawjow wyraźnie wskazuje na przedmioty piękne jako posiadające zdolność wprawiania widza w stan zachwyту. Ta koncepcja znajduje swą kontynuację także we współczesnej estetyce. Szeroko dyskutowana doprowadziła do powstania wielu stanowisk.

W dalszej części swojej pracy Murawjow zauważa, że zadowolenie łatwiej osiągają ludzie o jasnym i bogatym umyśle oraz otwartym sercu. Nie jest im to pomocne w opisie przedmiotów estetycznych, gdyż tym zajmują się nauka i sztuka. Dlatego też, zdaniem teoretyka, sztukę należy nazwać piękną, ponieważ w swoich dziełach daje wyraz piękna naturalnego oraz tego tworzonoego ręką ludzką. O takich dziełach można sądzić tylko zgodnie z wewnętrznym odczuciem zwanym smakiem estetycznym.

Gwałtowna żądza (насильственная страсть)¹⁴ jest tematem dalszych prze-myśleń teoretyka. Ludzie, jak pisze estetyk, dzielą się na dwie zasadnicze grupy, z których pierwsza to ci, którzy nie są zdolni do działania i nie posiadają żadnej siły duchowej. Nie potrafią oni wznieść się ponad szarą rzeczywistość ani osiągnąć dobra. Druga grupa to ludzie obdarzeni silnymi żądzami, posiadający zdolności twórcze, ale mogący poprzez ten dar natury sprowadzić nieszczęście na siebie i innych. Jedynym sposobem pohamowania szaleństwa żądzy jest uchwycenie jej i opanowanie poprzez siły rozumu. Nie jest to, zdaniem Murawjowa, zbyt proste, ponieważ niezaprzeczalną właściwością silnych odczuć jest to, że opanowują one w krótkim czasie i serce, i umysł. Oddziaływanie ich widoczne jest w sferze psychicznej i fizycznej człowieka, a także prowadzi może do zaburzonego silnym porywem wyobraźni odbioru otaczającej rzeczywistości oraz wewnętrznego obrazu świata:

Свойство сильных страстей есть то, что они похищают вдруг все владычество у разума. Кровь, легко воспламеняемая, увлекает порывами воображение, и все внешние предметы представляются в ложном свете страсти¹⁵.

Dlatego, zdaniem Murawjowa, dowódcy wojsk muszą zawsze umieć zachować chłodny osąd sytuacji, aby móc przekonać żołnierzy o braku niebezpieczeństwa. Odwaga nie jest często w stanie zapanować nad zapalczewością, która opanowuje

¹² Tamże, s. 30.

¹³ Por.: tamże.

¹⁴ Por.: tamże, s. 39.

¹⁵ Tamże, s. 41.

ludzi i stanowi niepotrzebne zagrożenie dla ich egzystencji. Zarówno tej rzeczywistej, jak i wewnętrznej. Pomocna w takim momencie, co podkreśla teoretyk, jest dusza zdolna przywrócić, co dziwne, zdroworozsądkowy osąd sytuacji. To, wydawałoby się sprzeczne w swym założeniu, stwierdzenie, wyjaśnia Murawjow w kolejnym fragmencie pracy, a mianowicie twierdzi on, że występują takie formy rozsądku, które same opanowują się poprzez nieszczęście i zaciętość, hamując tym samym swoje możliwości postrzegania.

Murawjow zauważa również, że pragnienie duszy ludzkiej, jeśli nie bazuje na sprawiedliwości i przychylności, nigdy nie dostarczy trwałego szczęścia. A przecież nic nie budzi w człowieku większego szacunku dla własnej osoby niż świadomość spokoju w szczęściu i nieszczęściu. Jest ona, zgodnie z myślą rosyjskiego teoretyka, oznaką panowania nad samym sobą.

Rozdział *Внутреннее сознание, второй источник понятий* wyraźnie rozpoczyna nowy tok rozważań Murawjowa. Poświęca je autor wewnętrznemu odczuwaniu, złożoności idei oraz pismom estetycznym. Zdaniem teoretyka, proces odbioru wrażeń przebiega dzięki wykorzystaniu przez obserwatora wszystkich zmysłów. Tą drogą dostarczane są do umysłu bodźce pochodzące z otaczającej rzeczywistości. Są to wrażenia czysto atawistyczne, które badacz określa jako uczucia najniższego stopnia rozumu (нижающая степень разума¹⁶), nie należą one jednak do jedyne go sposobu tworzenia się wrażeń. Zdecydowanie ważniejszy jest, jak pisze rosyjski badacz, proces powstania świadomości wrażeń, zależny od psychicznej kondycji podmiotu w danej sytuacji:

Внутри нас самых и независимо от внешних чувств, происходят понятия, соответственные состоянию нашему¹⁷.

Dzięki tej zdolności człowiek postrzega własne rozmyślania, uświadamia sobie swoje pragnienie poszukiwania prawdy, doznania zadowolenia lub smutku, a także jest w stanie odróżnić uczucia pozytywne bądź negatywne wobec poszczególnych przedmiotów. Taki stan duszy osoby obserwatora lub tylko jego samoświadomości oddziałuje na różne sposoby: kreując pojęcia bądź przyjmując formę konkretnych odczuć. Dalszy wywód Murawjowa jest niejasny. Wydaje się, że autor starał się wyrazić głębię istoty przeżycia estetycznego. Niestety pojawiają się w tekście pewne skróty myślowe uniemożliwiające zrozumienie myśli przewodniej.

Teoretyk zauważa, że najprawdopodobniej w duszy podmiotu wszystkie bodźce dostarczane przez rzeczywistość łączą się poprzez swoje pokrewieństwo, wyraźne stają się też różnice między nimi. Ta synteza i analiza prowadzi do wytworzenia wewnętrznego porządku, na który składają się wszelkie zdobyte przez człowieka doświadczenia, dawno zapisane umiejętności, a także marzenia. Zjawisko to bazuje w dużej mierze na ogólnych doświadczeniach i przyzwyczajeniach płynących z normalnego trybu życia. Jeśli podmiot percypujący oddaje się głębokim rozmyśleniom, znajduje się pod wpływem silnych doznań, wtedy jego świadomość staje się kolebką

¹⁶ Tamże, s. 104.

¹⁷ Tamże.

wewnętrznych uczuć. Człowiek wydaje się być nieobecny, zamknięty w sobie, patrząc, nie widzi niczego, nie uczestniczy w rzeczywistości¹⁸.

Ten niezwykle ciekawy opis przeżycia estetycznego wnosi ogromny wkład w rozwój tego pojęcia w estetyce rosyjskiej. Teoretyk skupił się na strukturze przeżycia, sugerując, jak wynikałoby z analizy tekstów źródłowych, że cały proces uniesienia i zachwyty odbywa się w sposób spontaniczny i nie jest kontrolowany przez podmiot. Jako miejsce powstania przeżycia estetycznego należy upatrywać świadomość, co wskazywałoby na częściowo racjonalny charakter zjawiska. Wyłączenie rozumu z postrzegania otoczenia i skupienie go tylko na odczuwaniu jest również głównym założeniem teorii Schopenhauera. Początkiem tej myśli były rozważania Kanta, można zatem również w przypadku tez Murawjowa doszukiwać się nawiązań do prac myśliciela z Królewca.

Murawjow nie konkretyzuje w tej części swojego wywodu bodźców, które są w stanie wywołać przeżycie estetyczne. Nie jest także do końca jasne, czy ewentualne bodźce to przedmioty bądź obiekty natury, jak również, czy stan nagłego uniesienia jest samoistny lub wywołany konkretną cechą jakiejś rzeczy. Takim ważnym i nowym elementem wewnętrznej świadomości jest odczucie moralne. Dzięki tej samej sile, która pozwala wybrać człowiekowi to, co piękne, a odrzucić to, co nieprzyjemne, podmiot percypujący może również wartościować obiekty. W tym procesie, zdaniem teoretyka, kluczową rolę odgrywa rozum.

Analizując ten krótki opis, można odnieść wrażenie, że jest on fragmentem większej całości. Z tekstów Murawjowa niestety nie wynika, czy teoretyk w ogóle poświęcił się pracy nad dalszymi aspektami przeżycia estetycznego, jak uczynił to choćby Mierzlakow. To dość jednowymiarowe spojrzenie na przeżycie estetyczne nie jest pozbawione wartości w całym procesie rozwoju rosyjskiej myśli estetycznej początku XIX wieku.

W dalszych rozważaniach poddaje Murawjow analizie problem złożoności idei. Zdaniem teoretyka niewłaściwe rozumienie idei może prowadzić do ich bezcelowego namnożenia. W efekcie tego odbiorca nie jest w stanie ogarnąć większej ilości naraz, a tym bardziej właściwie zinterpretować ich wzajemnych zależności. Jak pisze Murawjow, do takiej sytuacji dochodzi często. Jest ona bowiem zależna od dyspozycji intelektualnych podmiotu. Obecność idei w każdym człowieku daje jej możliwość udoskonalenia się i najczęściej nie daje się opisać słowami. Idea, w tym wypadku indywidualna myśl, staje się z czasem odpowiedzialna za postrzeganie i interpretację przedmiotów i otaczającej rzeczywistości. Prawdziwość tych sądów jest zależna od stanu duszy osoby oraz od wykształcenia i stopnia jej wiedzy, co dysponuje do wyrażania opinii na temat poszczególnych obiektów i zjawisk:

Не всегда изъясняемо словами, совершается оно беспрестанно внутри нас и становится нашим собственным образом ощущать и видеть вещи. Истина сих случайных рассуждений бывает относительна к положению нашему и степени знания, которое имеет о вещах судимых нами¹⁹.

¹⁸ Por.: tamże, s. 105.

¹⁹ Tamże, s. 107.

Znaczący wpływ na sądy wydawane przez podmiot percypujący ma niewiedza w danym zakresie, aktualność stwierdzeń należących do uznanych autorytetów, a także niedojrzałość poglądów. Wszystkie te aspekty warunkują ocenę we współczesnej estetyce nazywaną oceną estetyczną. Konsekwencją tego faktu jest to, że powstałe uczucie estetyczne potrzebuje rozumowej weryfikacji. Murawjow zaznacza w swoim wywodzie, że brak odpowiedniego stanu wiedzy może prowadzić do błędnych osądów lub skomplikowania samej idei. Możliwe jest przy tym jednak zachowanie zdrowego rozsądku, co wydaje się niezmiernie trudne, gdyż emocje łatwo opanowują rozum, mając go przeróżnymi walorami percypowanego obiektu, mimo że dana rzecz może wcale nie wykazywać żadnych cech będących w stanie doprowadzić widza do głębszej kontemplacji przedmiotu, a tym samym do przeżycia estetycznego²⁰.

Godnym zauważenia jest również fakt, iż każdy człowiek różnie postrzega różne zjawiska i wyraża o nich odmienne sądy:

[...] потому что все люди об одних и тех же самых вещах с равными средствами и обстоятельствами произносят одинакия рассуждения²¹.

Zadajmy więc pytanie: co będzie, jeśli podmiot stara się złączyć ze sobą dwie nieprzystające do siebie idee? Na to pytanie opowiada rosyjski badacz stwierdzeniem, że w takim wypadku można zaobserwować brak racjonalnej weryfikacji zaistniałej sytuacji. Uczucia, które powstają w takim momencie, poddają się władzy rozstrojonej wyobraźni. Z kolei obecność tylko jednej idei implikuje powstanie kolejnej na podstawie rozumowo ustalonego porządku. Tak, jak ma to miejsce w przyrodzie.

Murawjow w swych rozważaniach zbliżył się do poglądów, które również zajmowały uwagę zachodnich estetyków. Wskazuje to na zbieżność toku przemyśleń, podobieństwo odczuć i może również świadczyć o prawdziwości lub trafności stawianych pytań.

Na podstawie przedstawionych rozważań, wywodzących się z dwóch różnych kręgów kulturowych, można stwierdzić, że w estetycznych teoriach XVIII i początku XIX wieku za postrzeganie piękna, jego przeżywanie odpowiedzialny był zmysł smaku. Jak każdy zmysł naturalny, właściwy człowiekowi, można go rozwijać poprzez kształcenie i rozwijanie własnej zdolności obcowania z pięknem, poddawania się sile działania sztuki. Narzędziem, którym posługuje się przedmiot percepcji jest często urok jego poszczególnych elementów oraz zdolność wywołania głębszych uczuć i doznań, do których można zaliczyć wzruszenie. Tak więc mimo że emocje mogą zakłócić logiczny proces tworzenia sądu estetycznego, to jednak bez nich nie ma możliwości dostrzeżenia walorów obiektu, który podmiot chce poddać osądowi.

Literatura

Adorno T., *Ästhetische Theorie. Gesammelte Schriften*, Bd. 7, Suhrkamp Frankfurt/Main 1970.
Liessmann K.P., *Ästhetische Empfindungen*, Facultas Verlags- und Buchhandels AG, Wien 2009.
Tatarkiewicz W., *Dzieje sześciu pojęć*, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.

²⁰ Por.: tamże, s. 108.

²¹ Tamże, s. 109.

Kant I., *Krytyka władzy sądzienia*, przełożył oraz przedmową i przypisami opatrzył J. Gałęcki, Biblioteka klasyków filozofii PWN, Warszawa 2004.

Соболев П.В., *Очерки русской эстетики первой половины XIX века. Курс лекций*, ч 1, Ленинград 1972.

Каменский З.А., *Русская эстетика первой трети XIX века. Классицизм*, [w:] *Русские эстетические трактаты первой трети XIX века в двух томах*, составление, вступительная статья и примечания З.А. Каменского, т. I, Издательство «Искусство», Москва 1974.

Полное собрание сочинений Михаила Никитича Муравьева, ч. 3., Санкт-Петербург 1820.

Очарование и чувствительность как основа душевной удовлетворенности. Эстетические взгляды Михаила Муравьева

Резюме

В статье представляются две эстетические категории – очарование и чувствительность. Их развитие и структура показываются на основании работ западноевропейских философов, а также русских теоретиков начала XIX века, особенно Михаила Муравьева. Очарование и чувствительность берут свое начало в эстетическом переживании и в, связанной с ним, категории вкуса.

Ключевые слова: очарование, чувствительность, эстетическое переживание, душевная удовлетворенность, восприятие красоты

Charm and emotion and satisfaction of the soul. The aesthetic views of Mikhail Muraviev

Abstract

This article is an attempt to present the impact of two aesthetic categories, charm and emotion, on the formation of the concept of aesthetic experience, on the basis of, inter alia, the work of Mikhail Muraviev. According to Muraviev, satisfaction of the soul is the most perfect character. Satisfaction takes its origin from the complex structure of the state of mind and becomes its disposition, allowing for the recognition of beauty.

Key words: charm, emotion, aesthetic experience, satisfaction of the soul, perception of beauty, beauty

Anna Greb
Absolwent Studiów Doktoranckich
Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie
e-mail: agrelak@interia.pl

Ольга Лагунова

Русскоязычный писатель в России последней трети XX века: стратегии рефлексии феномена

Возможность рефлексии материала в поколенческом аспекте была ясно заявлена в известных работах Б.Л. Комановского, монографиях Р.Г. Бикмухаметова «Орбиты взаимодействия» и А.В. Пошатаевой *Литературы народов Севера (Истоки. Становление. Развитие)*, а также авторами словаря *Литературы народов России: XX век*. Специалисты справедливо утверждают, что «необходима разработка специфических этнолитературоведческих методов», что «этнолитературоведение может способствовать развитию и современному становлению младописьменных литератур»¹. Этнофилологический подход к художественному произведению предполагает системное выявление и изучение всех эстетических элементов и решений, которые выражают акцентированную автором личную идентичность с определенной моделью ценностного устройства мира, проверенной и подтвержденной жизнью реального народа, обозначенной в тексте в качестве «своего» и отграниченного от иной («чужой») ценностной модели.

Вопрос о русскоязычности творчества писателей сложен, проблемен и может иметь совершенно разные решения. Первое решение: творчество этих писателей – элемент русской литературы. Например, известный специалист по русской прозе второй половины XX века Т.Л. Рыбальченко на основании языкового фактора вписывает в ее состав Ч. Айтматова и В. Быкова². Эту же позицию отстаивает С.П. Залыгин, говоря о писателях, пришедших «в русскую литературу из другого языка»³. Второе решение: это феномены пограничного характера, образующие «весьма значительный пласт советской литературы» или «художественный дискурс «пограничного» типа». Данное решение

¹ Г.Н. Ионин, *Миф и новый замысел Ю. Шесталова*, [в:] *Литература народов Севера*, вып. 2, Санкт-Петербург 2003, с. 22.

² Т.Л. Рыбальченко, *Поиск метафизической картины мира в русской литературе 1950–1980-х годов*, [в:] *Проблемы метода и жанра*, вып. 19, Томск 1997, с. 287, 288.

³ Ч.Г. Гусейнов, *Этот живой феномен. Советская многонациональная литература вчера и сегодня*, Москва 1988, с. 362–363.

предлагает Н.Л. Лейдерман⁴. Третье решение: талант писателя – это «загадочная субстанция» и в каждом отдельном случае должна рассматриваться вся возможная комбинация факторов: этническое происхождение, язык творчества, страна проживания, тематическая направленность и адресат текста, историко-культурная специфика страны и т.д. Нет и не может быть одного конституирующего ситуацию признака – так, анализируя целый перечень литературных фактов, полагает М.Г. Соколянский⁵. Четвертое решение: если речь идет о художественном творчестве, то язык служит лишь инструментом, средством ценностно-эстетической деятельности автора в акте создания неповторимого словесного целого: «лингвистика... начинает занимать совершенно неподобающее ей руководящее место, почти то самое, которое должна занять общая эстетика»⁶. Данное четвертое решение представляется автору исследования методологически наиболее точным.

Именно отсчет языковой ситуации от субъекта деятельности, отсчет ситуации изнутри этого субъекта в рамках феноменизирующей парадигмы свидетельствует, что русский язык воспринимается мастерами слова послевоенного поколения, например ненцев и хантов, как второй родной язык, а не как «чужой» или «язык победившей культуры». Он осваивался с детства, в интернате, где ненцы и ханты обучались совместно. Открывающийся и расширяющийся для ребенка мир опредмечивался и становился своим именно через этот язык. Не случайно Ю. Вэлла подчеркивает, что выбор русского языка – это не выбор чистой модели определенного языка, а это рожденный процессом жизни «ненецко-хантыйско-русский язык в ненецко-хантыйско-русской форме», поэтому данный феномен имеет не собственно лингвистическую природу. Кроме того, осуществляя возможность и право говорить от имени своего народа, субъект творчества, как шаман, не допускает в акт общения с высшими силами переводчика: в зоне творческого полета исключается опосредование и корректирование. Мера ответственности за результат с годами в сознании мастера только возрастает, и потому для него важна именно непосредственность личного высказывания. Зависимость слова предыдущих поколений национальных мастеров от качества работавших с ними переводчиков была наглядной, жесткой, иногда конфликтной и даже компрометирующей. Закономерно, что, осознавая свою новую миссию, художники того же послевоенного поколения изначально избегали обременительности данного пути. Сакральность творчества национального мастера, осознание первичности его высшего предназначения на фоне организационной опеки предыдущих поколений требовала полной и предельной самодостаточности субъекта в акте порождения текста. Возможность через русский язык достигнуть

⁴ Н.Л. Лейдерман, *Русскоязычная литература – перекресток культур*, [в:] *Русская литература XX-XXI веков: направления и течения*, вып. 8, Екатеринбург 2005, с. 49, 58–59.

⁵ М.Г. Соколянский, *О признаках национальной атрибуции литературного творчества*, [в:] *Русская литература XX-XXI веков*, указ. соч., с. 59–76.

⁶ М.М. Бахтин, *К вопросам методологии эстетики словесного творчества. 1. Проблемы формы, содержания и материала в словесном художественном творчестве*, [в:] *Собрание сочинений в 7 т.*, т. 1, Москва 2003, с. 269.

сознания всех своих родственников, живущих в различных концах мира, послать им весть о жизни и вере, сделать это поверх барьеров диалектной раздробленности национальных языков – также сущностный мотив выбора художником способа коммуникации.

Научную парадигму советской цивилизации мы предлагаем именовать универсализирующей, новую становящуюся парадигму – феноменолизирующей. Каждая из парадигм строится на ряде априорных допущений. Для универсализирующей парадигмы – это базисность марксистско-ленинской идеологии, подмена «национального духа» «национальной формой», непрерывная устремленность всех национальных литератур к общности и единству, установление нескольких произведений в качестве образцов-ориентиров для всех субъектов творческой деятельности, отождествление нации и народности с наличием самостоятельного «эстетического центра», возможность управляемого «выравнивания национальных литератур». Универсализирующая тенденция исходит из теории активности и первенства содержания, которое лежит в плоскости единства «социалистического», являющегося «главным направлением развития» искусства слова, над формой, которая должна быть многообразной и «национальной», что допустимо в силу ее меньшей активности и вторичности. В рамках универсализирующей парадигмы возникали идеи и проекты, содержавшие иную теоретическую и практическую заявку. К ним следует отнести концепцию «конкретного литературоведения», предложенную в 1980 г. Д.С. Лихачевым и имевшую очевидно полемический характер: «Оно стремится к доказательности своих выводов, а не к конструированию гипотез или генерированию идей, столь иногда распространенных в нашей науке»⁷. Ученый соединяет принципы охраны литературного текста, комплексности и целостности культуры этноса, важности прояснения в сфере национального оппозиции «идеал/антиидеал» с методикой «медленного чтения» и необходимостью давать частные объяснения частным же явлениям литературы⁸. Создавая концепцию «национального образа мира», открыто полемичен к эстетике национальной формы был и Г.Д. Гачев: важны «истинно глубокая мысль и величие души», а «не важна национальная форма»⁹. Гачев утверждал, что каждая культура есть «одновременно – и объект, и инструмент анализа», то есть смена объектов будет способствовать постоянному обновлению и уточнению методологии и инструментария анализа, поэтому «однородности и внешнего единства» в терминологии не будет и добиваться их не нужно. Он выявил связь категории и чувства бессмертия с понятием «народ», показал действенность и целостность их в сознании субъекта, развернул проблему эстетики социалистического реализма в направлении научной рефлексии конкретных представителей народов страны, своеобразия их культурных традиций, набора и связи смыслов, привычных для них¹⁰. Гачев поставил проблему писателя – «выходца из малого народа» как проблему

⁷ Д.С. Лихачев, *О конкретном литературоведении*, [в:] *Избранные работы в 3 т.*, т. 3, Ленинград 1987, с. 125.

⁸ Д.С. Лихачев, *Земля родная*, Москва 1983, с. 78–79.

⁹ Г.Д. Гачев, *Национальные образы мира*, Москва 1988, с. 23, 42.

¹⁰ Там же, с. 8, 21, 29, 38–39, 53.

отдельную, специальную и общезначимую, он предложил подход к ней как к «высокой трагедии», как к ситуации жизни/смерти, как к ситуации «на пороге» (термин М.М. Бахтина).

Руководитель сектора советской многонациональной литературы в ИМЛИ Н.С. Надъярных в ходе «круглого стола» конца 1980-х годов¹¹ признала отсутствие в академической среде научно обоснованного понятия «национальная литература» применительно к литературам народов СССР: «Иногда ведь это один-два писателя». В ходе дискуссии было предложено создавать «перфокарту на каждого писателя», «каждого... в отдельности «моделировать», вместо того, чтобы стремиться к однозначным ответам...» (У. Берзиньш)¹². «Человеческий статус национального самосознания» – вот что сегодня проговаривается в качестве новой точки опоры и отсчета для изучения искусства слова¹³. Устремления историков и теоретиков полиэтнического российского искусства не случайно пересекаются в координатах бахтинской эстетики словесного творчества (Г.А. Белая, Г.Д. Гачев, Ч.Г. Гусейнов, К.К. Султанов и др.). Во-первых, именно концепция Бахтина ставит в центр внимания проблему ценностей и ответственности авторского сознания. Во-вторых, она содержит искомое сочетание ценностей трех порядков (этического, религиозного и эстетического) и базируется на этом сочетании. В-третьих, она связана со «старинной интуицией формы как умирания»¹⁴.

В силу того что младописьменные литературы Севера, как никакие иные национальные литературы России, тесно и прямо ориентированы на дописьменную традиционную культуру (то есть миф и фольклор), их изучение в этнопоэтическом аспекте оправданно, перспективно и даже удобно. Не случайно связь младописьменных литератур Севера именно с фольклором не только в первую очередь фиксировалась специалистами, но и изучалась в качестве главного пути к постижению своеобразия этих литератур и конкретных текстов их мастеров. В частности, это характерно для известных работ А.В. Пошатаевой. Она предложила четкую формулу, характеризующую «представителей самых молодых литератур»: «Их творчество целиком связано с жизнью народов, из среды которых они вышли»¹⁵. В формуле значим элемент «целиком». Отсюда проистекает отождествление голоса народа и голоса художника в исследованиях по младописьменным литературам. Однако подобное отождествление зачастую встречается и когда речь идет вообще о литературах малочисленных народов России. Это свидетельствует, что в основании отождествления лежит не понимание специфики эстетики словесного

¹¹ *Национальные культуры и межнациональные отношения: «Круглый стол», «Вопросы литературы» 1989, № 10, с. 30–31, 35.*

¹² К.К. Султанов, *Национальное самосознание и ценностные ориентации литературы*, Москва 2001, с. 25–26.

¹³ К.Г. Исупов, *Смерть Другого*, [в:] *Бахтинология: исследования, переводы, публикации*, Санкт-Петербург 1995, с. 110–111.

¹⁴ А.В. Пошатаева, *Литература и фольклор (Взаимодействие современных литератур народов Севера, Сибири и Дальнего Востока с устным народным творчеством)*, Москва 1981, с. 51.

¹⁵ С.В. Лурье, *Историческая этнология*, Москва 1998, с. 224–225.

творчества младописьменных литератур Севера, а инерция универсализирующей научной парадигмы, то есть типовое решение научной задачи.

В качестве реалий становления новой парадигмы следует рассматривать ввод в научный оборот и учебную литературу таких понятий, как «этнопоэтика» (В.Н. Захаров, И.А. Есаулов), «константа» (Ю.С. Степанов), «этнопоэтическая константность» (В.М. Гацак), «ипостасность» (Г.Н. Ионин); подходы к региональному топосу как «тексту» (В.В. Абашев); смену именованного предмета исследования: вместо «младописьменные литературы» – «литературы фольклорной традиции» (С.Ж. Балданов); анализ стадий литературного развития и художественных систем через категории «космос/хаос» (Н.Л. Лейдерман, М.Н. Липовецкий и др.).

Феноменализирующая научная парадигма исходит из самоценности и уникальности изучаемых явлений, сложности и многофакторности их генезиса, органичности и фазности их развития. Данный образ объекта рефлексии потребовал комплексного анализа объекта и окружающих его сфер при решении даже узкоспециальных задач, обязательной корректировки привычных типовых операций переноса результата исследования одних явлений на аналогичные им. Он обусловил необходимость поиска и постоянного уточнения методик изучения смежных проблемных областей и соответствующих им отраслей знания, повышенного внимания к возможностям опосредованных воздействий на предмет изучения. Возникло стремление к познанию мини-объектов, полиструктурности явлений, к базовому детальному описанию объекта и лишь затем его аналитическому препарированию. В результате порождается достаточно широкий спектр аналитических инструментов, ценность которых измеряется не частотностью их использования, а пригодностью и эффективностью для решения конкретных практических задач, какими бы частными они порой ни казались на первый взгляд. Воля субъекта в данной парадигме мыслится как принципиально свободная и определяющая, на этом базируется ее творческая потенция.

Модель метода «большой» советской литературы содержала удобную для освоения и трансляции схему, практически совпадающую с выделяемым специалистами набором этнических констант. Она предусматривала, предусматривала носителя добра (это свой народ и автор как его полноправный представитель), носителя зла (образ чужого, врага), а также обязательность и неизбежность победы добра над злом с примерным перечнем путей достижения победы¹⁶. Так как сознание мастеров слова младописьменных литератур Севера ориентировано на традиционную культуру, данная схематизация была для них удобна, понятна, она проверялась опытом дописываемой культуры народа, потому не отторгалась и принималась. Советская цивилизация приветствовала и стимулировала в субъектах творческой деятельности, в мастерах слова первостепенность таких параметров, как сознание и самосознание художника, его долг перед своим народом, связь этики и эстетики, необходимость высокого мобилизирующего слова для практики народной жизни, судьбоносность и прогностичность знакового мышления, веру в динамичность жизни, которая если организована неправильно, то может и будет

¹⁶ С.В. Лурье, *Историческая этнология*, Москва 1998, с. 224–225.

в перспективе изменена, преобразована на справедливых началах. Не принимать и не разделять данную программу у писателя из малочисленного народа не было оснований, потому что, по логике ее, временное зло будет побеждено.

При становлении литературной культуры народа наиболее действенной пружиной и формой «договора» являются мифорелигиозные верования. Они замещают неформальность отношений между автором и читателем в традиции, создают первичное, надежное, проверенное временем и жизненной практикой поле культурного взаимодействия автора с силами, вдохновляющими его на творчество, выступающими факторами религиозного покоя творца в акте эстетического созидания. Этнопоэтика представителей традиционных культур объяснимо стимулируется желанием жить и «перемещаться в освященном мире, т.е. в священном пространстве», поэтому и поэтика текста у них – это преимущественно «технические приемы ориентации, которые в конечном итоге являются приемами построения священного пространства». «Священное» же понимается как «реальное в его совершенстве, это одновременно и могущество, и действительность, и источник жизни, и плодородие»¹⁷. Национальная литература служит здесь способом «противопоставления священного пространства, которое только и является реальным, существует реально, всему остальному – бесформенной протяженности окружающей это священное пространство». Следовательно, она должна быть космообразующей и онтологической по природе, ведь «проявление священного онтологически сотворяет мир»¹⁸. Так проблема своего как эстетического предмета, отграниченного от чужого и превращающегося в целостность произведения, становится стержневой для внутреннего оправдания и движения литературы, для ее телеологичности.

Существующим на сегодняшний день в отечественной и западной филологии концепциям социалистического выбора (Н.Н. Воробьева, С.М. Хитарова и др.), ускоренного развития по европейской модели (Н.В. Цымбалистенко), колониального вызова (В.В. Огрызко) и колониальной адаптации (М.А. Литовская), мифоутопической компенсации (Д. Самсон) и вынужденного опыта (Г.И. Данилина, Е.Н. Эртнер) нами полемически противопоставляется концепция посвященности художника¹⁹. Посвященность – это аксиоматическое и осознанное право творческого субъекта вести ответственный диалог именно с богами территории проживания своего народа от имени всех, для кого эта земля и это слово свои. Не случайно русскоязычные писатели первого послевоенного поколения тех же ненецкой и хантыйской литератур продолжали, закрепили и развили в 1980–1990-е годы опыт именно онтологических исканий российской культуры. Они доказали его матричность, плодотворность и эстетическую перспективность, причем сделали это органично, оригинально.

¹⁷ М. Элиаде, *Священное и мирское*, Москва 1994, с. 26.

¹⁸ Там же, с. 22.

¹⁹ О.К. Лагунова, *Феномен творчества русскоязычных писателей ненцев и хантов последней трети XX века* (Е. Айпин, Ю. Вэлла, А. Неркаги), Тюмень 2007.

Литература

- Бахтин М.М., *К вопросам методологии эстетики словесного творчества. 1. Проблемы формы, содержания и материала в словесном художественном творчестве*, [в:] *Собрание сочинений в 7 т.*, т. 1, Москва 2003, с. 265–325.
- Гачев Г.Д., *Национальные образы мира*, Москва 1988.
- Гусейнов Ч.Г., *Этот живой феномен. Советская многонациональная литература вчера и сегодня*, Москва 1988.
- Ионин Г.Н., *Миф и новый замысел Ю. Шесталова*, [в:] *Литература народов Севера*, вып. 2, Санкт-Петербург 2003, с. 20–24.
- Исупов К.Г., *Смерть Другого*, [в:] *Бахтинология: исследования, переводы, публикации*, Санкт-Петербург 1995, с. 103–116.
- Лагунова О.К., *Феномен творчества русскоязычных писателей ненцев и хантов последней трети XX века (Е. Айпин, Ю. Вэлла, А. Неркаги)*, Тюмень 2007.
- Лейдерман Н.Л., *Русскоязычная литература – перекресток культур*, [в:] *Русская литература XX–XXI веков: направления и течения*, вып. 8, Екатеринбург 2005, с. 48–59.
- Лихачев Д.С., *Земля родная*, Москва 1983.
- Лихачев Д.С., *О конкретном литературоведении*, [в:] *Избранные работы в 3 т.*, т. 3, Ленинград 1987, с. 221–227.
- Лурье С.В., *Историческая этнология*, Москва 1998.
- Национальные культуры и межнациональные отношения: «Круглый стол», «Вопросы литературы» 1989, № 10*, с. 3–47.
- Пошатаева А.В., *Литература и фольклор (Взаимодействие современных литератур народов Севера, Сибири и Дальнего Востока с устным народным творчеством)*, Москва 1981.
- Рыбальченко Т.Л., *Поиск метафизической картины мира в русской литературе 1950–1980-х годов*, [в:] *Проблемы метода и жанра*, вып. 19, Томск 1997, с. 280–296.
- Соколянский М.Г., *О признаках национальной атрибуции литературного творчества*, [в:] *Русская литература XX–XXI веков: направления и течения*, вып. 8, Екатеринбург 2005, с. 59–76.
- Султанов К.К., *Национальное самосознание и ценностные ориентации литературы*, Москва 2001.
- Элиаде М., *Священное и мирское*, Москва 1994.

Русскоязычный писатель в России последней трети XX века: стратегии рефлексии феномена

Резюме

В статье выделяются и характеризуются парадигмы рефлексии художественной практики русскоязычных писателей России с акцентом на опыте младописьменных литератур страны, а также особенности перехода от одной парадигмы к другой. Автором впервые обозначаются концепции литературного творчества национальных художников, функционирующие в научной среде, и предлагается оригинальная концепция посвященности в качестве наиболее адекватно описывающей поиски младописьменных литератур.

Ключевые слова: русскоязычный писатель, парадигма, посвященность, онтологичность

The Russian-speaking writer in Russia of the last thirds of the 20th century: the strategy of reflection of a phenomenon

Abstract

This is the first attempt to describe the methodological shifts in the research paradigms of Ethnic Literature studies. The research material includes the critical works on the literature of small-numbered indigenous peoples of Russia. The author analyzes the different concepts of ethnic literatures and suggests the original concept of "a sacral artist" as an adequate model for revealing the aesthetic essence of literary works of small-numbered indigenous peoples.

Key words: the Russian-speaking writer, a paradigm, consecration , ontology

Ольга Лагунова
Тюменский государственный университет
доктор филологических наук
e-mail: Kafedra326@mail.ru
+7 3452 46 20 87

Barbara Stawarz

Ułuda pamięci. Elegia i idylla – powinowactwa gatunkowe w poezji rosyjskiej (XVIII – początek XIX wieku)

O aktualności i swoistej żywotności dwóch gatunków: elegii i idylli świadczy ich stonkowo długa egzystencja, nieustanne odradzanie się w poszczególnych epokach i, co budzić może największe zdziwienie, komplementarność obu form, które z pozoru tylko opozycyjne zarówno w refleksji teoretycznej, jak i w praktyce literackiej, mają przedstawiać pewien konflikt wartości, konfrontację ideału z rzeczywistością, pragnienie człowieka pozostawania w stanie harmonii z sobą samym i ze światem. Z problemem sąsiedztwa obu gatunków i ich wzajemnego dopełniania wiąże się teoria „życia gatunku”, jego trwania w czasie, swoistej, niekiedy ocierającej się o banał i konwencję, inkarnacji.

Formuła „pamięci gatunkowej” autorstwa Michaiła Bachtina, przypisującego formom gatunkowym prawo życia możliwe dzięki zdolności pamiętania, która pozwala na uaktywnienie się wzorca¹, nie pozostaje wbrew pozorom w opozycji do prezentowanej przez starożytnych myśli, zgodnie z którą gatunki i rodzaje literackie wykazują się pewnym stopniem odrębności a pojęcia genologiczne posiadają wyraźne cechy dystyngtywne, wykazują się więc tzw. czystością². Podstawę teorii „czystości” stworzył Platon, posługując się w odniesieniu do gatunku terminem *eidos*, który wskazuje na możliwość utożsamienia pojęć rodzajowych i gatunkowych z ideami rodzajów i gatunków. Jeśli bowiem, jak pokazują badacze, pojęciom w teorii Platona odpowiadały idee, istniejące realnie przed i poza rzeczami, to dla genologii koncepcja ta owocuje wnioskiem, iż pojęciom rodzaju odpowiadają idee rodzajów, czyli byty metafizyczne niezienne, doskonałe, odbijające się w świecie sztuki poprzez twórcę³. Gatunki jako byty transcendentne znajdujące się poza światem empirycznym zaznaczałyby swoją obecność w dziełach literackich pozostając w pewnej

¹ Tzn. na przenoszenie pewnych cech formalnych i znaczeniowych danego gatunku w kontekstach określonych języków artystycznych współczesności i podporządkowania ich w pewnej mierze regułom tych języków. Por. M. Bachtin, *Problemy poetyki Dostojewskiego*, przeł. N. Modzelewska, Warszawa 1970, s. 163–164.

² S. Stabryła, *Problemy genologii antycznej*, Warszawa–Kraków 1982, s. 93.

³ S. Skwarczyńska, *Wstęp do nauki o literaturze*, t. III, cz. V, *Rodzaj literacki. A. Ogólna problematyka genologii*, Warszawa 1965, s. 39.

zależności⁴. Podobieństwo to nie oznacza pełnego odwzorowania ze względu na niestabilność ciał zmysłowych, zatem gatunek, dążąc niejako do osiągnięcia stanu czystości pełnej, podlegać będzie koniecznej zmienności, która nie wyeliminuje jednakże pamięci o własnym metafizycznym *ante rem*. Właśnie metafizycznym, a nie historycznym, gdyż zarówno w odniesieniu do elegii, idylli, jak i innych form nie można stosować kryterium uniwersalności, które nakazuje odbierać dzieło wpisujące się w dany kanon gatunkowy jako zespół jednostek w większym lub mniejszym stopniu powtarzalnych a zaistniałych na początku, tzn. w momencie wykrystalizowania się i utrwalenia wzorca. Jednym z najbardziej interesujących a zarazem najważniejszych problemów teorii gatunku jest kwestia „utajenia” wzorca, nigdy, jak się wydaje, niewskazanego bezpośrednio, zwłaszcza u początków wyodrębniania się formy, mającego jednak możliwość w długiej niekiedy swojej egzystencji uzyskania maksymalnej zdolności wyrażania, jak by to określił Platon, istniejącej poza światem empirycznym idei. Arystoteles natomiast skłonny jest przyjąć, że gatunek rozwija się na drodze doskonalenia każdego pojawiającego się elementu, by po wielu przeobrażeniach zatrzymać się w rozwoju, osiągając swoją najdoskonalszą postać⁵.

W koncepcji Arystotelesa – w przeciwieństwie do Platońskiej – pojęcia rodzajów i gatunków związane zostały ze światem empirycznym i konkretnym materiałem literackim, co oznaczało, że gatunki nie mogły istnieć poza rzeczywistością języka⁶. Gatunek literacki, zgodnie z sugestią Stagiryty, mógł zostać uznany za jeden z elementów komunikacji literackiej a wyrażona przez greckiego filozofa myśl o tkwiącej w ludzkiej psychice potrzebie porządkowania, także aktów mowy, znajduje potwierdzenie w teorii Bachtina uznającego, że wszystkie wypowiedzi językowe układają się w pewne formy gatunkowe⁷.

⁴ S. Stabryła, *Problemy genologii antycznej*, s. 9.

⁵ Arystoteles, *Retoryka. Poetyka*, Przełożył, wstępem i komentarzem opatrzył H. Podbielski, Warszawa 1988, s. 321. W koncepcji Arystotelesa osobowość artysty sprzymierzy się z określonym gatunkiem, co, jak się wydaje, będzie propozycją nader płodną we wszystkich okresach literackich wychodzących poza koncepcję *mimesis* i *techné*. Arystoteles akcentuje także problem świadomości społecznej stanowiącej siłę napędową rozwoju niektórych gatunków w określonych warunkach społecznych. Społeczny charakter gatunków oznacza również fakt posiadania przez nie społecznej natury, ich pojawiania się i znikania w związku z ewolucją życia społecznego. Por. S. Stabryła, *Problemy genologii antycznej*, s. 75. Ta z kolei propozycja filozofa znajdzie kontynuatorów wśród badaczy reprezentujących literaturoznawstwo socjologizujące, skłonnych nawet, jak Ian Watt, wiązać powstanie danego gatunku z postawą nie tyle całego społeczeństwa, co z postawą pewnej grupy społecznej, czego przykładem jest poezja pasterska niewiele mówiąca o pozornie przedstawianej przez nią gospodarce czy instytucjach pasterzy, odsłaniająca natomiast modną tendencję ucieczki zrodzoną wśród pewnych kręgów społeczności miejskiej w późnym okresie Grecji i Rzymu. Por. I. Watt, *Literatura i społeczeństwo*, przeł. A. Gettlich, [w:] *W kręgu socjologii literatury. Antologia tekstów zagranicznych, Stanowiska*, wstęp, wybór i oprac. A. Mencwel, t. I, Warszawa 1980, s. 72–73.

⁶ S. Stabryła, *Problemy genologii antycznej*, s. 25.

⁷ M. Bachtin, *Estetyka twórczości słownej*, przeł. D. Ulicka, oprac. przekładu i wstęp E. Czaplewicz, Warszawa 1986, s. 372–373.

Potrzebę porządkowania ujawnia antyczny system genologiczny, za którego twórcę uznaje się Arystotelesa, znajdującego kontynuatorów w przedstawicielach filologicznej szkoły aleksandryjskiej III i II wieku. System ten wspierał się będzie na założeniu, iż podstawą wyróżnienia gatunku jest zasadniczo kryterium metryczno-tematyczne i do takiej teorii nawiążą rzymscy teoretycy literatury: Horacy (*List do Pizonów*), Kwintyliian (*Institutio oratoria*) i Diomedes (*Ars grammatica*). Zwłaszcza elegia obciążona zostanie na wiele stuleci pamięcią o przypisanym jej konturze muzycznym i kształcie wersyfikacyjnym, jaki nadał jej przeplot heksametru z pentametrem, chociaż niewątpliwie z formą tą wiąże się, chociaż niezobowiązująco, tematyka funeralna, o której wspomina jako o prawzorcu gatunku, żyjący w VI wieku p.n.e. Heraklides z Pontu.

Elegia epoki archaicznej, traktowana przez starożytnych jako forma ponad czy nawet pozagatunkowa, w ujęciu współczesnych teoretyków daje się podzielić na kilka grup⁸, chociaż słuszność takiego podziału bywa przez niektórych badaczy kwestionowana, toteż proponują oni systematykę opartą na kryterium tematyczno-funkcjonalnym⁹, jednak modelem gatunkowym, do którego odwoływać się będą poeci późniejszych epok, stanie się elegia zrodzona w czasach tzw. „złotego wieku” literatury rzymskiej, zwłaszcza za czasów panowania Augusta, stąd też będzie nazywana augustowską, chociaż utrwali się inna jej nazwa – rzymska subiektywna elegia miłosna, stworzona przez Gallusa, Tibullusa, Propertiusza i Owidiusza.

Jako inicjatora nadania elegii nowego kształtu wskazuje się zmarłego śmiercią samobójczą Gallusa (70/69 – 26 r. p.n.e.), który w księdze zatytułowanej *Amores* przedstawia historię związku bohatera lirycznego z jego wybranką o imieniu Lycoris, przy czym istotnym, jak się wydaje, jest zarówno umiejętność twórcy odzwierciedlenia miłości w jej przebiegu, a więc odtwarzania jej jako procesu: od momentu

⁸ Są to, zatem: 1) śpiewane tuż przed bitwą pieśni bojowe dla dodania ducha walczącym; 2) pieśni zmęczonego żołnierza na warcie; 3) wykonywane w czasie uczt pieśni o różnej tematyce; 4) komosy (jako osobna grupa); 5) elegie wygłaszane na zgromadzeniach publicznych; 6) śpiewane na placach improwizowane fragmenty elegijne; 7) pieśni wykonywane w czasie pogrzebu; 8) elegie komponowane z myślą o odbywających się w czasie świąt zawodach aulodycznych. Por. M. West, *Studies in Greek Elegy and Jambus*, Berlin–New York 1974. Cyt. za: G. Urban-Godziek, *Elegia renesansowa. Przemiany gatunku w Polsce i w Europie*, Kraków 2005, s. 16.

⁹ G. Urban-Godziek podstawowe funkcje elegii ujmuje w siedmiu grupach: 1) ekshortacyjna (Kallinos); 2) publicystyczno-polityczna (Solon, Simonides z Keos); 3) sympotyczna 4) filozoficzno-refleksyjna (Ksenofanes); 5) parenetyczna (Teognis z Megary); 6) miłosna (Mimnermos z Kolofonu); 7) funeralna (Archiloch, Simonides), przy założeniu, że wszystkie elegie miały w zasadzie charakter sympotyczny. Nawet elegie bojowe takich twórców, jak Kallinos (I poł VII w. p.n.e) czy Tyrtajos (VII w. p.n.e.) przeznaczone były do wykonania biesiadnego. Por. G. Urban-Godziek, tamże, s. 16–17. Jak zapewniał elegik Ksenofanes z Kolofonu, recytujący swoje utwory podczas wieloletnich wędrówek po Grecji, odpowiednie rytualne przygotowanie wspomaga właściwy odbiór treści, zwłaszcza, gdy ma ona charakter filozoficzny (Ksenofanes m.in. głosił metempsychozę, będąc zwolennikiem poglądu, zgodnie z którym dusza nieśmiertelna przechodzi w różne postaci istot żywych). Potwierdzeniem były własne wiersze twórcy, wykładnia jego filozofii praktycznej, zgodnie z którą miarą prawdziwej *areté* jest pobożność w myśleniu i działaniu, mądrość w służbie dla *polis* oraz umiar i roztropność dająca życiową radość. Por. M. Wesoły, *Elegie Ksenofanesa*, [w:] *Elegia poprzez wieki*, pod red. I. Lewandowskiego, Poznań 1995, s. 44.

zachwytu drugą osobą, poprzez chwile zazdrości i poniżenia do czasu rezygnacji, jak i znajdujące kontynuację w poezji Tibullusa przeciwstawienie szczęśliwego życia poświęconego miłości karierze politycznej i wojskowej¹⁰.

Elegia Tibullusa (ok. 55–50 – 19/18 r. p.n.e.) sprzymierzy się bowiem z bukoliką, co, jak się okaże, będzie miało kardynalne znaczenie dla dalszego rozwoju gatunku elegii i idylli:

Mnie ubóstwo spokojem niech życie umili,
 Dopóki w domu moim wieczny ogień płonie.
 Ja, rolnik, sam winorośl we właściwej chwili
 Posadzę i zaszczipię wysmukłe jabłonie.
 [...]
 Małe pole mi starcza; starcza, gdy zmęczony,
 By odpocząć, codziennie kładę się na łożu.
 Jak dobrze leżąc słuchać paskudnej wichury,
 Jakże ciało swej pani przytulać jest bosko,
 Albo, gdy Auster zimą pędzi słotne chmury,
 Pod takt kropli deszczowych zasypiać beztrzesko!

(*Niechaj raczej temu sterta złota będzie droga...*)¹¹

Poezja bukoliczna, mająca w tym momencie historycznym już ugruntowaną pozycję, dzięki głównie spuściznie Teokryta, czyni mit arkadyjski centrum każdej wypowiedzi, wyrażając, jak to określił Renato Poggioli „tęsknotę za niewinnością i szczęściem osiąganym przez usunięcie się [...] od spraw wielkiego świata”¹², które u Tibullusa staną się przyczyną niezadowolenia, niespełnienia i egzystencjalnego niepokoju wynikającego także z faktu uświadamianej przez bohatera liryki poety nieuchronnej zagłady wyrażanej w metaforach typu: „Bo wkrótce Śmierć otworzy ciemnicy wierzeje”¹³.

Mariaż elegii i idylli w tym okresie staje się faktem o tyle oczywistym, że idylla czy, jak się ją nazywa niekiedy ekloga, bukolika, skotopaska w systematykach genologicznych zajmuje pozycję niemal zawsze na pograniczu trzech rodzajów jako gatunek zawierający elementy każdego z nich, poza tym jest formą stosunkowo późno powstałą, bo dopiero na początku III wieku p.n.e. pod piórem Teokryta, kiedy wszystkie najważniejsze gatunki, w tym elegia, były albo całkowicie uformowane lub przeżywały już okres degeneracji¹⁴. Głównym bohaterem pieśni, które nazywano pasterskimi, był *boúkolos* – pasterz wołów, krów, stąd nazwa gatunku, oprócz tej utrwaliła się i inna nazwa – idylla, przeróbka terminu *eidyllion* – „drobny gatunek

¹⁰ Tamże, s. 56–57.

¹¹ Tibullus, *Elegie*, przedmowa, posłowie i słowniczek L. Winniczuk, przekł. J. Sękowski, Warszawa 1987, s. 19–20.

¹² R. Poggioli, *Wierzbowa fujarka*, przeł. F. Jarzyna, „Zagadnienia Rodzajów Literackich” 1960, t. 3(21), s. 39.

¹³ Tibullus, *Elegie*, s. 21.

¹⁴ J. Ławińska-Tyszkowska, *Bukolika grecka*, Wrocław 1981, s. 8.

poetycki” lub „wybór wyjątków”¹⁵. O ile w zbiorze utworów Teokryta i jemu przypisywanych znajdują się wiersze niezasługujące na miano bukolik, o tyle kontynuator greckiego poety Wergiliusz występuje z propozycją stosunkowo jednorodną, ze zbiorem dziesięciu wierszy – *Bucolicon liber*, nazywanym także *eclogae*. Od jego czasów utrwala się dwa warianty gatunku: teokrytejski, wyrażający tęsknotę za spokojem i prostotą życia wiejskiego i wergiliański, uwzględniający motywy aktualne oraz subiektywną perspektywę autora osobowego. Wergiliusz będzie zresztą już zawsze traktowany przez teoretyków literatury jako reinterpretator dzieła Teokryta, a więc uczestniczący w ewolucji literackiej poprzez uobecnienie istniejącego wzorca gatunkowego. Tak rzecz ujmuje gramatyk Diomedes¹⁶ i nawiązujący do teorii późnoantycznej autorzy poetyk okresu renesansu: Celtis¹⁷, Pontanus¹⁸, Martin Opitz¹⁹ czy najbardziej precyzyjnie definiujący eklogę Thomas Sebillet, dla którego: „Ekloga jest grecka z pochodzenia, łacińska z przywłaszczenia, francuska z naśladowania. Bo Teokryt, grecki poeta, jest modelem, wedle którego Wergiliusz odtwarzał swoje eklogi, zaś Wergiliusz jest znów formą, z której Marot i inni poeci francuscy przejęli kształt swoich. Wszyscy trzej są przykładem, którym ty powinieneś kroczyć”²⁰.

Następne formacje komentatorów gatunku, przede wszystkim autorzy poetyk i retoryk, podporządkowują idyllę i elegię celom danego kierunku literackiego, za każdym razem wskazując antyczne korzenie obu form i, co istotne, wzajemne względem siebie usytuowanie. Zbliżenia i powinowactwa obu form nie są jeszcze zauważane w XVII wieku, czego powodem jest kryterium podziału na rodzaje i podporządkowane im gatunki, rozróżniane podług hierarchii ważności, toteż zarówno w poetyce Macieja Kazimierza Sarbiewskiego, jak i we Wschodniej Słowiańszczyźnie u Fieofana Prokopowicza oba gatunki zajmują pozycję raczej poślednią.

Fieofan Prokopowicz – autor pisanych po łacinie podręczników poetyki (*De arte poetica*) i retoryki (*De arte rhetorica*), będących efektem jego wykładów dla studentów Akademii Kijowsko-Mohylańskiej w latach 1705–1707, za najważniejsze formy poetyckie uznaje utwory poezji epickiej i dramatycznej, które, według teoretyka, pod każdym względem przewyższają poezję bukoliczną, satyryczną, elegijną, liryczną i epigramatyczną, co w znacznym stopniu przypomina klasyfikację dokonaną przez M.K. Sarbiewskiego stwierdzającego wprost w traktacie *O poezji doskonałej czyli Wergiliusz i Homer, iż „niedoskonałymi gatunkami poezji są: elegia i poniekąd liryka, a epigram w ogóle nie należy do dziedziny poezji”*²¹. Sarbiewski odnosi swoje sformułowanie do kategorii *mimesis*, z którą nie korespondują wymienione przez

¹⁵ Z. Abramowiczówna, *Wstęp*, [w:] Wergiliusz, *Bukoliki i georgiki (Wybór)*, BN, seria II, Wrocław 1958, s. III–LX.

¹⁶ Diomedes, *Klasyfikacja poezji*, przeł. S. Stabryła, [w:] *Rzymska krytyka i teoria literatur. Wybór*, BN, seria II, Wrocław 1983, s. 440.

¹⁷ Celtis Conradus Protucius, *Sztuka wierszowania i sztuka wierszy*, przeł. J. Mańkowski, [w:] *Poetyka okresu renesansu. Antologia*, BN, seria II, Wrocław 1982, s. 14.

¹⁸ J. Pontanus, *Prawidła poetyckie*, przeł. A. Guryń, [w:] tamże, s. 494.

¹⁹ M. Opitz, *Księga o poezji niemieckiej*, przeł. E. Feliksiak, [w:] tamże, s. 545.

²⁰ T. Sebillet, *Francuska sztuka poetycka*, przeł. B. Otwinowska, [w:] tamże, s. 191.

²¹ M.K. Sarbiewski, *O poezji doskonałej czyli Wergiliusz i Homer (De perfecta poesi, sive Vergilius et Homer)*, przeł. M. Plezia, oprac. S. Skimina, Wrocław 1954, s. 19.

niego odmiany poezji, jako iż, w jego opinii, nie przynoszą „doskonałego i dostatecznego różnego od wymowy naśladownictwa pewnej rzeczywistości”²².

Jednak w wieku XVIII i na początku XIX teoretycy skłonni są nobilitować oba gatunki i umieszczać elegię oraz idyllę w bliskim sąsiedztwie. Tak dzieje się w przypadku traktatu Wasilija Trediakowskiego pt. *Новый и краткий способ к сложению российских стихов* czy Michaiła Łomonosowa, który (*Письмо о правилах российского стихотворства* – 1739, *Предисловие о пользе книг церковных в российском языке* – 1757), wymieni elegię w związku ze swoją koncepcją trzech stylów, przyporządkowując gatunkowi styl średni i stawiając go na równi z satyrą i eklogą²³.

Następne pokolenie teoretyków: Andriej Bajbakow (*Правила пиитические в пользу юношества* – 1774) i bracia I. I. Moczulscy (*Словеснословие и песнопение*) występują z propozycją przyjęcia odmiennego niż u Prokopowicza i Trediakowskiego kryterium wyróżniania rodzajów i gatunków literackich, zastępując zasadę podziału według przedmiotu przedstawienia, zasadą podług sposobu przedstawienia (typ narracyjny, dramatyczny i mieszany). Wspomniane kryterium podziału, przyjęte jako podstawowe przez A. Bajbakowa, pozostanie obowiązującym także dla teoretyków początku XIX stulecia: Aleksandra Nikolskiego *Основания российской словесности* (1807) i Iwana Borna *Краткое руководство к российской словесности* (1808). Oprócz ustaleń dotyczących miejsca obu gatunków w stosunkowo skomplikowanych propozycjach np. N. Janowskiego *Новый словотолкователь* (1804), Iwana Lewitskiego (*Курс российской словесности для девиц* – 1812), autorzy poetyk jeszcze pisanych w duchu oświecenia odczuwają wyraźną potrzebę zestawiania obu form. W 1802 roku Jakow Galinkowski przyjął wersyfikacyjne kryterium podziału na gatunki, zgodnie z którym elegia znalazła się obok idylli w dziale poezji pasterskiej²⁴, natomiast Iwan Riżski, autor poetyki *Наука стихотворства* (1811), definiując elegię, specjalne miejsce przeznaczając na omówienie jej koneksji z idyllą, sugerując nawet, iż obie formy łączy pewna korelacja uczuciowo-nastrojowa (smutek – radość), której jednak obca jest, jak pisze dalej, intensywność przeżywania i związane z nią gwałtowność i ekspresyjność²⁵.

Równie ważnym czynnikiem unifikującym gatunki, jest, komunikowana przez innych komentatorów obu gatunków, prostota stylu. Zwróci na nią szczególną uwagę Nikołaj Ostołopow, autor wydanego w Petersburgu w 1821 roku trzutomowego słownika terminów literackich pt. *Словарь новой и древней поэзии*, pisząc, iż: „Елегия не любит мыслей изысканных, ни тех кои только замысловаты”²⁶, a także dekoracyjnych, sztucznych oraz elementów żartobliwych.

Riżski i Ostołopow, których można nazwać „teoretykami pogranicza”, sytuujący się ze swoimi pracami pomiędzy poetyką normatywną a poetyką kreacyjistyczną, wskazują na ten ważny moment, kiedy dwa gatunki spotykają się w wyrażaniu

²² Tamże, s. 19.

²³ М.В. Ломоносов, *Предисловие о пользе книг церковных в российском языке*, [в:] *Три века русской метапоэтики Легитимация дискурса, Антология в четырех томах*, т. I, под ред. К.Э. Штайн, Ставрополь 2002, с. 148–149.

²⁴ А.С. Курилов, *Русская теоретико-литературная мысль в начале XIX века*, [в:] *Возникновение русской науки о литературе*, отв. ред. П.А. Николаев, Москва 1975, с. 136.

²⁵ И. Рижский, *Наука стихотворства*, Санкт-Петербург 1811, с. 264.

²⁶ Н. Остолопов, *Словарь новой и древней поэзии*, ч. II, Санкт-Петербург 1821, с. 367.

podobnych treści podobnym językiem, który charakteryzując się niewyszukaniami, prostotą właśnie, odzwierciedlają umysłowość i świat wewnętrzny „człowieka czułego”, „człowieka natury”²⁷, naiwnego z usposobienia, postępującego według zasad naturalnych, przeżywającego w sposób bezpośredni, niezdolnego zatem do ironicznego czy sarkastycznego widzenia świata.

Idylla osiągnie swoje apogeum właśnie w sentymentalizmie, znajdując znakomitą teoretyczną podbudowę w pracach Jeana Jacquesa Rousseau, Johanna Gottfrieda Herdera (artykuł *Idylla* – 1802), Jean Paula, Samuela Gessnera (*Nowe idylle* – 1772) czy Friedricha Schillera (*O poezji naiwnej i sentymentalnej* – 1795). Wydaje się, że właśnie Schiller najtrafniej, chociaż nie bezpośrednio, obrazuje możliwość zetknięcia się idylli i elegii w procesie historycznoliterackim. Dokonując podziału poezji na „naiwną” i „sentymentalną”, dokonuje również rozróżnienia pomiędzy człowiekiem naturalnym, naiwnym, stanowiącym jedność z przyrodą (temu typowi odpowiadają zasady idylli) i człowiekiem kultury tęskniącym za stanem natury (elegia). Twórca naiwny czy, jak go określa Schiller, geniusz naiwny „pozwała naturze rządzić sobą bez ograniczeń”²⁸, gdyż „geniusz naiwny wszystko, co robi, musi robić mocą swojej natury; dzięki swojej wolności niewiele może; a zrealizuje swoje pojęcie, gdy tylko natura będzie w nim działała zgodnie ze swoją wewnętrzną koniecznością”²⁹. Postawa naiwna, dla Carla Gustawa Junga – interpretatora koncepcji Schillera – wiąże się z pojęciem ekstrawersji, natomiast postawa sentymentalna z introwersją, jako że „poeta sentymentalny – w przeciwieństwie do naiwnego – charakteryzuje się postawą refleksyjną i abstrahującą od obiektu”³⁰, co oznacza, że odróżniając się od obiektu i nie utożsamiając się z nim, czerpie z dwóch źródeł, z obiektu lub z jego postrzeżenia i z siebie samego. Obu typom postaw przynależy określony sposób poznania: człowieka naiwnego charakteryzuje przewaga elementu doznaniowego, człowieka sentymentalnego przewaga elementu intuicyjnego, co Jung komentuje w sposób jednoznaczny: poeta naiwny sam jest naturą, sentymentalny – szuka jej³¹.

Idylla jako gatunek koronny sentymentalizmu i elegia – gatunek ultraromantyczny – skupią w sobie najistotniejsze wyznaczniki sentymentalizmu i wczesnego romantyzmu: koncentrację na człowieku jako podmiocie poznającym świat i uwikłanym w stosunki z innymi ludźmi, przy czym idylla wnosi zainteresowanie naturą człowieka – jego uczuciem tzn. władzami poznawczymi, które dzieli z całym światem zwierzęcym oraz sumieniem, głosem wewnętrznym pozwalającym odróżnić dobro

²⁷ N. Ostołopow wyraźnie zaznacza, definiując poezję bukoliczną (utożsamia ją zresztą z poezją pastorałną i pasterską), że jej bohaterami są wieśniacy i ich życie. Por. tamże, t. I, s. 336.

²⁸ F. Schiller, *Listy o estetycznym wychowaniu człowieka i inne rozprawy*, przeł. I Krońska i J. Prokopiuk, wstępem opatrzył J. Prokopiuk, Warszawa 1972, s. 391.

²⁹ Tamże, s. 383.

³⁰ C.G. Jung, *O ideach Schillera odnoszących się do problemu typów psychicznych*, [w:] tegoż, *Archetypy i symbole. Pisma wybrane*, wybrał, przełożył i wstępem poprzedził Jerzy Prokopiuk, Warszawa 1993, s. 371.

³¹ Tamże, s. 367.

od zła, aby w efekcie osiągnąć cnotę, najwyższą kwalifikację moralną człowieka³², natomiast elegia przyniesie żal i tęsknotę, niemożność dotarcia do tego, co naturalne, pierwotne i niewinne, czego przyczyną stanie się trudność określenia granic ludzkiego poznania i granic ludzkich możliwości. Idylla przyniesie ma satysfakcję z zadowolenia w przestrzeni zamkniętej, elegia wyraża ideę transgresji, przekraczania barier, wychodzenia poza obszary poznane, bezpieczne, ale w obu formach komunikowany jest niepokój z powodu braku pełni, niepokój wynikający z rozdwojenia, tyle że, jak sugeruje Schiller, idylla obrazuje rozdwojenie duszy, natomiast elegia walkę dwóch przeciwstawnych w niej pierwiastków.

W Polsce sielanka odegrała znaczącą rolę w teorii i praktyce poetyckiej Kazimierza Brodzińskiego, uznającego bohatera sielankowego za reprezentanta polskiego charakteru narodowego, a sielankę za rodzimy gatunek najdoskonalej wyrażający cechy przodków, przejawiające się w prostocie, łagodności i czystości moralnej³³. Podobną tendencję wykazuje idylla rosyjska od utworów nazywanego „rosyjskim Gessnerem” Władimira Panajewa, także autora pracy pt. *О нацмьуешкой или сельской поэзии*, do wierszy Nikołaja Gnedicza, którego uważa się za twórcę pierwszej oryginalnej rosyjskiej „narodowej idylli” pt. *Рыбаки*³⁴.

Romantyzm (częściowo również sentymentalizm), uznający naśladowanie za bezwartościowe, aktualizował tradycję, podkreślając wartości kultury rodzimej, głównie w jej folklorystycznym aspekcie. W tym kierunku zaczęli się przekształcać idylla w twórczości Wasilija Żukowskiego oraz tzw. związku poetów (Anton Delwig, Wilhelm Küchelbecker, Jewgienij Boratyński). Ale bez względu na inwencję twórczą poszczególnych poetów, sięgających po obie formy gatunkowe, idylla i elegia subtelnie i w zasadzie niezauważalnie poczną dopełniać się w kilku aspektach, które dotyczą kwestii wrażenia zmysłowego, przestrzennego usytuowania i poczucia istnienia w czasie związanego bez wątpienia z problemem pamięci.

Ograniczenie do czystych wrażeń zmysłowych, jak to ujmował Rousseau, oznaczało utożsamienie z samym wrażeniem, bycie człowiekiem-dzieckim, pozostawanie w stanie bierności, w którym człowiek znajduje doskonałe szczęście, szczęście życia w terażniejszości, opisane przez na przykład Michaiła Murawjowa w wierszu *Сельская жизнь*:

Что нужды, что зима? Еще им лето длится,
И счастье годовых не ведает времен.
Работы и забав единый круг катится,
Забавы без угроз, здоровье без измен.
Такие дни текли вселенныя в начале,
Когда не ведали обманов, ни вражды;
Никто не странствовал знакомой сени дале,
И всяк возделывал отечески бразды³⁵.

³² Kostkiewiczowa T., *Klasycyzm, sentymentalizm, rokoko. Szkice o prądach literackich polskiego Oświecenia*, Warszawa 1979, s. 206–208.

³³ *Słownik terminów literackich*, pod red. J. Sławińskiego, Wrocław 1988, s. 467.

³⁴ В.Э. Вацуро, *Русская идиллия в эпоху романтизма*, [в:] *Русский романтизм*, отв. ред. К.Н. Григорьян, Ленинград 1978, с. 118.

³⁵ М.Н. Муравьев, *Сельская жизнь*, [в:] *Поэты XVIII века, Б-ка поэта, малая серия*, Ленинград 1958, с. 439–440.

Człowiek podlegający czystemu wrażeniu zmysłowemu podlega wrażeniu teźniejszemu, niezwiązanemu z wrażeniami wcześniejszymi i późniejszymi, nie przewidując ani nie pamiętając żyje bez przeszłości i przyszłości³⁶. Tak rzecz ujmował J.J. Rousseau, dowodząc, że, jak to komentuje Georges Poulet, człowiek-dziecko utożsamiony z naturą istnieje jako powszechne sensorium, nie porównuje się do niczego, żyje w stanie harmonii z samym sobą a jego władze: pamięć, wyobraźnia, sądzenie i rozum są wyłącznie potencjalne. Angażuje się w chwilę obecną, co oznacza, że każdy moment wypełnia jego duszę nie pozostawiając pustki, a więc powrotu do innej lepszej przeszłości³⁷. Jedynym prawdziwym szczęściem jest owa zgodność z naturą i z samym sobą, dlatego bohaterem idylli musi być człowiek prosty, zwłaszcza pasterz (np. w idyllach W. Panajewa) lub rybak (w wierszach N. Gnedicza), osiągający ów upragniony stan absolutnego spokoju w angażowaniu się w chwilę obecną, poprzez zabawę czy pracę, ale też, co wydaje się stanowić nawet cechę dystynktywną gatunku, poprzez sztukę w jej zupełnie konkretnym wymiarze, jaki stanowi muzyka. Dlatego też bohaterami wierszy Panajewa bywają pasterze grający na lirach czy na fujarkach (współzawodniczący niekiedy ze sobą), natomiast w idylli Gnedicza są nimi rybacy (odradza się tutaj również Owidiański wątek wygnańczy), zwłaszcza jeden z nich nazwany rybakiem młodszym, odnajdujący w muzyce nie tylko piękno, ale, jak by to określił Rousseau, wypełnienie duszy, oraz odnowienie poprzez dźwięk przeszłości. Idea języka pozawerbalnego, języka poetycko-muzycznego może nie tyle zbliżyć do poznawanego przedmiotu, ile poprzez pieśń znieść barierę czasu:

Мне сладко, мне весело, радостно, словно я в небе,
 Когда на свирели играю! Да сам ты, товарищ,
 Ты сам, как пою я про сторону нашу родную,
 Про реки знакомые, где мы учились ловле,
 Про доли зеленые, где мы играли младые,
 Зачем ты, любезный, глаза закрываешь рукою?

(Рыбаки. Идиллия)³⁸

W radosnym wspomnieniu powraca się do przeszłości, aby wprowadzić ją w porządek teźniejszy. Przypomnienie zawsze pozytywnych wrażeń z przeszłości działa terapeutycznie, pozwala przetrwać trudny czas obecny, starości, choroby, niepowodzeń, nędzy. Przeszły czas uaktywnia się we śnie (np. w idylli XXII *Сновидение* W. Panajewa) lub pod wpływem określonego impulsu z zewnątrz, ale zjawisko owo może być też związane ze świadomym procesem (przypominania lata, złotego wieku ludzkości, szczęśliwej młodości, dzieciństwa), w którym przypomnienie świadczy o zdolności do przechowywania wrażeń a wraz z nią przyczynia się do wytworzenia poczucia indywidualności osobowej, skoro człowiek, tu bohater idylli, obdarzony jest możliwością odtwarzania wcześniej zdobytych informacji. Pojawianie się obrazów pamięciowych związane jest niekiedy z aktem woli, co

³⁶ Por. G. Poulet, *Metamorfozy czasu. Szkice krytyczne*, wybór J. Błońskiego i M. Głowińskiego, Warszawa 1977, s. 125.

³⁷ Tamże, s. 130

³⁸ Н. Гнедич, *Стихотворения. Поэмы*, Москва 1984, s. 162.

dowodzi odkrywanej w idylli okresu sentymentalizmu i preromantyzmu – a kardynalnej dla romantyzmu – roli pamięci w jej związku z pojęciem tożsamości i czasu, którym można manipulować, można odtwarzając przeszłość uwolnić się od presji jego działania nawet, jeśli będzie to poczytane za działanie infantylnie:

Что прошлого снова нельзя воротить,
 А хочешь (как друг, попеняю) –
 Ребенок! – бегущую тень изловить.
 (В. Панаев, *Идиллия XXII, Сновидение*)³⁹

Akt pamiętania, jak i przedmiot pamiętania, połączą elegię i idyllę w dwie komplementarne formy tyle, że w elegii pamięć objawi się w postaci „choroby wieku” jako choroba pamięci manifestująca się niechęcią do przechowywania informacji i wrażeń. Fakt utraty nie może już zostać zniwelowany przez wypełnienie świadomości pamiętaną a waloryzowaną dodatkowo treścią przeszłości, bowiem człowiek-dziecko staje się „dzieckiem wieku”, doświadczającym czasu w jego nieodwracalności, fatalnej niezgodności trzech jego wymiarów: przeszłości, teraźniejszości i przyszłości, zatem pocieszenia nie daje wyobrażeniowe reaktywowanie minionego a „wyostrzona” świadomość samotności sprzyja obsesyjnemu odrzucaniu powracających z przeszłości i skumulowanych we wrażeniu nadmiaru obrazów, zbyt bolesnych, zatrważających lub wstydliwych:

Воспоминание безмолвно предо мной
 Свой длинный развивает свиток;
 И с отвращением читая жизнь мою,
 Я трепещу и проклиная,
 (А.С. Пушкин, *Воспоминание*)⁴⁰

Wspomnienie jako słowo-klucz pojawi się w wielu elegiach i określi tematyczną i nastrojową dominantę utworów, w których pamięć traktowana jest jako fenomen zakładający ocenę i wybór, ocenę człowieka uzurpującego sobie prawo do władzy nad nią. Jednak zahamowanie zdolności do przeżywania stanów i uczuć skrajnych: wielkiej trwogi, wielkiej rozpacz, wielkiego uniesienia i, jak sugerował I. Riżski, charakteryzująca zarówno idyllę, jak i elegię, niejednorodność nastrojowa wyrażająca się w kontaminacji smutku i radości, sprzyja ucieczce od wspomnienia, które wymagałoby wysiłku decyzji o dużej wadze emocjonalnej, poznania i ponownego przeżycia stanów z przeszłości, aby uwalniając się od ich ciężaru budować przyszłość. W elegii ów brak zdolności do płynnego przechodzenia od jednej do drugiej fazy czasowej manifestuje się natręctwem myśli i obrazów:

Зачем вы начертались так
 На памяти моей,
 [...]

³⁹ *Поэты 1820–1830-х годов*, т. I, Б-ка поэта, Большая серия, Ленинград 1972, с. 189.

⁴⁰ А.С. Пушкин, *Сочинения в трех томах*, т. I, *Стихотворения 1814–1836*, Москва 1978, с. 246.

Зачем же ваши голоса

Мне слух мой сохранил!

(А. Дельвиг, *Элегия, Когда, душа, просилась ты*)⁴¹

Obrazy i dźwięki z przeszłości, pozbawione precyzji, stanowią krótki zapis pamięciowy nieuszczerbowiony, abstrakcyjny, co może świadczyć o niemożliwości ponownego doświadczenia rzeczy w ich praoryginalnej postaci. W idylli, jeśli powołać się na myśl Marcela Prousta, poszukiwanie utraconego czasu może zakończyć się czasem odzyskanym ze względu na preferowany tutaj ten typ wrażliwości, który jest zdolnością człowieka do percepcji, do odbierania wrażeń zmysłowych, natomiast elegia epatuje pewną formą uczuciowości.

Idylliczna pasywność⁴² zostaje zastąpiona przez elegijną afektywność, człowiedziecko przez „dziecko wieku”, człowiek natury przez człowieka kultury, jednak wspólna w obu gatunkach w tym określonym momencie dziejowym jest myśl, znacznie później wyrażona przez Henri Bergsona, że nie istnieje świadomość bez pamięci, pamięci, która zarówno w idylli, jak i w elegii (mimo ogromnej od antyku pojemności treściowej obu form) zostaje wprowadzona, aby komunikować, że przeszłość, uobecniając się w pozytywnym lub negatywnym kształcie, w imaginacyjnych, ułudnych pejzażach oraz stanach, istnieje pod postacią straty, chociaż człowiek pozostając w rzeczywistości może z niej również wychodzić, może ją przekraczać.

Literatura

Publikacje w języku polskim

- Abramowiczówna Z., *Wstęp*, [w:] Wergiliusz, *Bukoliki i georgiki (Wybór)*, BN, seria II, Wrocław 1958, s. III–LX.
- Arystoteles, *Retoryka. Poetyka*, przeł., wstępem i komentarzem opatrzył H. Podbielski, Warszawa 1988.
- Bachtin M., *Estetyka twórczości słownej*, przeł. D. Ulicka, oprac. przekładu i wstęp E. Czaplejewicz, Warszawa 1986.
- Bachtin M., *Problemy poetyki Dostojewskiego*, przeł. N. Modzelewska, Warszawa 1970.
- Elegia poprzez wieki*, pod red. I. Lewandowskiego, Poznań 1995.
- Jung C.G., *O ideach Schillera odnoszących się do problemu typów psychicznych*, [w:] tegoż, *Archetypy i symbole. Pisma wybrane*, wybrał, przełożył i wstępem poprzedził J. Prokopiuk, Warszawa 1993.
- Kostkiewiczowa T., *Klasycyzm, sentymentalizm, rokoko. Szkice o prądach literackich polskiego Oświecenia*, Warszawa 1979.
- Ławińska-Tyszkowska J., *Bukolika grecka*, Wrocław 1981.
- Poetyka okresu renesansu. Antologia*, wybór, wstęp i oprac. E. Sarnowska-Temeriusz, przypisy J. Mańkowski i E. Sarnowska-Temeriusz, BN, seria II, Wrocław 1982.

⁴¹ А. Дельвиг, *Стихотворения, Б-ка поэта, малая серия*, Ленинград 1951, с. 161–162.

⁴² W literaturoznawstwie niemieckim od połowy wieku XIX funkcjonuje określenie „idylla zagrożona”, oznaczające wtargnięcie do gatunku elementów świata nieidyllicznego, co daje się zaobserwować również w poezji Rosjan. Por. А.С. Бакалов, *Идиллия в русской и немецкой лирике середины века*, [в:] *Развитие жанров русской лирики конца XVIII–XIX веков*, Межвузовский сборник научных трудов, Куйбышев 1990, с. 71–72.

- Poggioli R., *Wierzbowa fujarka*, przeł. F. Jarzyna, „Zagadnienia Rodzajów Literackich” 1960, t. 3(21), s. 39–74.
- Poulet G., *Metamorfozy czasu. Szkice krytyczne*, wybór J. Błońskiego i M. Głowińskiego, Warszawa 1977.
- Rzymska krytyka i teoria literatur. Wybór*, oprac. S. Stabryła, BN, seria II, Wrocław 1983.
- Sarbiewski M.K., *O poezji doskonałej, czyli Wergiliusz i Homer (De perfecta poesi, sive Vergilius et Homer)*, przeł. M. Plezia, oprac. S. Skimina, Wrocław 1954.
- Schiller F., *Listy o estetycznym wychowaniu człowieka i inne rozprawy*, przeł. I. Krońska i J. Prokopiuk, wstępem opatrzył J. Prokopiuk, Warszawa 1972.
- Skwarczyńska S., *Wstęp do nauki o literaturze*, t. III, cz. V, *Rodzaj literacki. A. Ogólna problematyka genologii*, Warszawa 1965.
- Słownik terminów literackich*, pod red. J. Sławińskiego, Wrocław 1988, s. 467.
- Stabryła S., *Problemy genologii antycznej*, Warszawa–Kraków 1982.
- Tibullus, *Elegie*, przedmowa, posłowie i słowniczek L. Winniczuk, przekł. J. Sękowski, Warszawa 1987.
- Urban-Godziek G., *Elegia renesansowa. Przemiany gatunku w Polsce i w Europie*, Kraków 2005.
- Watt I., *Literatura i społeczeństwo*, przeł. A. Gettlich, [w:] *W kręgu socjologii literatury. Antologia tekstów zagranicznych. Stanowiska*, wstęp, wybór i oprac. A. Mencwel, t. I, Warszawa 1980.
- Wesoły M., *Elegie Ksenofanesa*, [w:] *Elegia poprzez wieki*, pod red. I. Lewandowskiego, Poznań 1995.
- Zaleski M., *Echa idylli w literaturze polskiej doby nowoczesności i późnej nowoczesności*, Kraków 2007.

Publikacje w języku rosyjskim

- Бакалов А.С., *Идиллия в русской и немецкой лирике середины века*, [в:] *Развитие жанров русской лирики конца XVIII–XIX веков, Межвузовский сборник научных трудов*, Куйбышев 1990, с. 64–73.
- Вацуро, В.Э., *Русская идиллия в эпоху романтизма*, [в:] *Русский романтизм*, отв. ред. К.Н. Григорьян, Ленинград 1978, с. 118–138.
- Гнедич Н., *Стихотворения. Поэмы*, Москва 1984.
- Дельвиг А., *Стихотворения*, Б-ка поэта, малая серия, Ленинград 1951.
- Курилов А.С., Пигарев К.В., *У истоков русской науки о литературе*, [в:] *Возникновение русской науки о литературе*, отв. ред. П.А. Николаев, Москва 1975.
- Остолопов Н., *Словарь новой и древней поэзии*, ч. II, Санкт-Петербург 1821.
- Поэты 1820–1830-х годов*, т. I, Б-ка поэта, Большая серия, Ленинград 1972.
- Пушкин А.С., *Сочинения в трех томах*, т. I, *Стихотворения 1814–1836*, Москва 1978.
- Рижский И., *Наука стихотворства*, Санкт-Петербург 1811.
- Три века русской метапоэтики Легитимация дискурса. Антология в четырех томах*, т. I, под ред. К.Э. Штайн, Ставрополь 2002.

Призрак памяти. Элегия и идиллия – жанровые взаимоотношения в русской поэзии (XVIII – начало XIX века)

Резюме

Статья посвящена проблеме функционирования идиллии и элегии – жанров, которые с виду только противоположные, представляют определенный ценностный конфликт, сопоставление идеала и действительности, желание человека гармонически существовать в мире. Идиллия и элегия в конце XVIII и в начале XIX века дополняют друг друга по отношению к вопросу чувственного восприятия, а также к, связанной с феноменом памяти, проблеме пространственного и временного существования человека. Память в обоих жанрах вводится с целью показать, что прошлое, присутствующее положительно или отрицательно, всегда существует в виде утраты.

Ключевые слова: элегия, идиллия, жанр, поэзия, память, воспоминание

The illusion of memory. Elegy and idyll – genre affinities in Russian poetry (the 18th – and the beginning of the 19th century)

Abstract

The article is devoted to the issue of the existence of idyll and elegy, the genres which, seemingly opposing, represent a conflict of values, the confrontation between ideals and reality, the human desire to remain in harmony with oneself and the world. At the turn of the 19th century, idyll and elegy begin to complement each other on the question of sensory experience, the spatial location of man and his sense of existence in time, associated with the problem of memory. In both genres memory is introduced in order to communicate that the past, making itself present in the positive or negative form, exists in the form of losses.

Key words: elegy, idyll, genre, poetry, memory, reminiscence

Barbara Stawarz
Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie
Instytut Neofilologii (filologia rosyjska)
e-mail: bstawarz@up.krakow.pl

ГЛОТТОДИДАКТИКА

Dorota Dziewanowska

Nowe wyzwania dla współczesnego nauczyciela w kontekście integracji europejskiej

Zmiany zachodzące w życiu politycznym, gospodarczym, społecznym oraz dynamiczny postęp w nauce, technice i technologii informacyjnej wymagają dziś innej edukacji młodego pokolenia, a w konsekwencji innego spojrzenia na rolę nauczyciela w procesie dydaktycznym. Zdaniem Ryszarda Pachocińskiego, nauczyciel przestaje być autorytetem naukowym, stając się w coraz większym stopniu przewodnikiem po świecie wiedzy. Oznacza to, że we współczesnej rzeczywistości nauczyciel przestaje pełnić funkcję osoby przekazującej wiedzę i przejmuje rolę konsultanta, animatora, twórcy systemu kształcenia, promotora zmian i orędownika dialogu¹. Szczególnie w świetle potrzeb integrującej się Europy istnieje potrzeba kształtowania kompetencji nauczyciela w zakresie dialogu i komunikacji międzykulturowej oraz rozwijania jego kreatywności. Dialog może skutecznie znieść barierę pomiędzy uczniem i nauczycielem i, tym samym, przyczynić się do kształtowania relacji między nimi, opartych na wzajemnym zaufaniu². Zdaniem Bogdana Suchodolskiego, edukacja szkolna XXI wieku winna być oparta na wielostronnej komunikatywności, zakładającej tworzenie różnorodnych relacji na płaszczyźnie nauczyciel – uczeń, a także oznaczającej potrzebę prowadzenia szerokiego dialogu, dokonywania międzynarodowej wymiany, organizowania kontaktów i spotkań pomiędzy uczestnikami europejskich systemów szkolnych. Dialog powinien służyć wielostronnej komunikatywności między narodami, być istotnym czynnikiem wzajemnego zbliżenia i porozumienia społecznego. Dlatego dialog powinien stać się zasadniczym elementem nowoczesnie rozumianego, dwupodmiotowego procesu kształcenia³. Szkoła, będąca częścią europejskiego systemu edukacyjnego, powinna rozwijać nie tylko kompetencje poznawcze uczniów, ale przede wszystkim realizować zadania wychowawcze. Waldemar Pfeiffer, podkreślając, iż współczesna cywilizacja stawia

¹ Zob. R. Pachociński, *Kształcenie umiejętności myślenia w nowoczesnej szkole*, „Nowe w Szkole” 1998/99, nr 5, s. 9.

² Zob. I. Kopaczyńska, *Dialogowe interakcje w procesie oceniania szkolnego*, [w:] *Osoba. Edukacja. Dialog*, t. 2, red. M. Ledzińska, G. Rudkowska, L. Wrona, Kraków 2002, s. 101–102.

³ Zob. B. Suchodolski, *Wychowanie jako naprawa ludzkiego świata*, [w:] *Oświata i wychowanie w okresie cywilizacyjnego przełomu*, red. J. Nowak, Warszawa 1988, s. 30–36.

nowe wyzwania przed systemem edukacyjnym, wśród ogólnodydaktycznych zasad nauczania wymienia wychowanie interkulturowe, które określa jako zasadę i cel nauczania⁴. Wraz z postępującą globalizacją i integracją Europy, w dobie wzmożonych kontaktów międzynarodowych istnieje konieczność wychowania w duchu tolerancji, szacunku i przyjaźni wobec innych narodów, poszanowania praw człowieka, kształtowania postaw pokojowych, rozwijania umiejętności rozwiązywania problemów na drodze negocjacji i dialogu, skutecznej komunikacji, przygotowania do egzystencji w warunkach różnorodności i odmienności kulturowej, kształcenia informatyczno-medialnego, językowego oraz kształtowania postaw kreatywnych. Mając na uwadze procesy integracji europejskiej, do ważniejszych zasad ogólnodydaktycznych Waldemar Pfeiffer zalicza zasadę wiązania teorii z praktyką. Zasada ta stawia wymóg opracowania programów, metodyk i materiałów nauczania dla realizacji życiowych planów uczących się oraz pozwala realizować cele wychowawcze, a w szczególności zakłada przygotowanie uczniów/studentów do partnerskich stosunków interkulturowych z innymi krajami. Zdaniem tego autora, jest to główne zadanie dla całego systemu oświatowego, przygotowującego młodzież do życia w warunkach multikulturowych kontaktów i współpracy w zjednoczonej Europie⁵.

Przemiany, dokonujące się we współczesnej edukacji, wymagają od instytucji, przygotowujących do zawodu nauczyciela, tworzenia nowej jakości kształcenia. W zawodzie tym niezbędne stają się różnorodne umiejętności oraz szerokie kompetencje zawodowe, które pozwolą nauczycielowi efektywnie funkcjonować w warunkach zmieniającej się rzeczywistości szkolnej, wymagającej dostosowania standardów i jakości kształcenia do potrzeb jednoczącej się Europy. Kształcenie zawodowe nauczyciela powinno zmierzać w kierunku przygotowania go do przyjmowania postawy doradcy młodych pokoleń, przewodnika po świecie informacji naukowych i wartości kultury, jak również organizatora procesu uczenia się. Współczesny nauczyciel powinien być osobą, umiejącą nawiązywać kontakt z uczniami, poznawać ich psychikę, kształtować odwagę w wyrażaniu własnych opinii i poglądów, prowadzić dialog, oparty na postawie interakcyjnej. Powinnością nauczyciela staje się nie tyle wyposażenie ucznia w określony zasób wiedzy, co ukształtowanie jego osobowości, jego własnej strategii uczenia się, samokształcenia, umiejętności przekształcania otaczającej rzeczywistości, dokonywania trafnych wyborów, ponoszenia odpowiedzialności za własne osiągnięcia lub porażki⁶. Nauczyciel szkoły XXI wieku powinien odznaczać się innowacyjnością, umiejętnością modyfikowania tradycyjnych sposobów nauczania w zależności od potrzeb uczniów, umiejętnością poszukiwania nowych rozwiązań i inicjowania różnych zmian, powinien także posiadać umiejętność refleksyjnego, krytycznego definiowania i analizowania rzeczywistości edukacyjnej. Nauczyciel, funkcjonujący w europejskim społeczeństwie

⁴ Zob. W. Pfeiffer, *Nauka języków obcych. Od praktyki do praktyki*, Poznań 2001, s. 58.

⁵ Zob. tamże, s. 58.

⁶ Zob. H. Komorowska, *Sukces i niepowodzenie w nauce języka obcego*, Warszawa 1978; T. Siek-Piskozub, T. Wojciechowska, *Spójność systemu nauczania języków obcych podstawą efektywności*, „Neofilolog” 1990, nr 2, s. 9–16; T. Siek-Piskozub, *Aktywizacja ucznia w procesie nauczania języka obcego*, „Neofilolog” 1990, nr 2, s. 25–29; T. Lewowicki, *Indywidualizacja kształcenia. Dydaktyka różnicowa*, Warszawa 1997 i in.

informacyjnym i komunikacyjnym, ujmowany jest jako osoba sprawnie posługująca się nowoczesną technologią informacyjną⁷.

Obecnie prowadzi się wiele badań nad stworzeniem modelowego wizerunku współczesnego nauczyciela. Zdaniem Marka Stanisława Szczepańskiego, nowoczesnego nauczyciela powinna charakteryzować postawa otwartości na nowe doświadczenia, gotowość świadomej akceptacji zmian, zdolność do zbierania informacji i wykorzystywania ich w działaniu praktycznym, umiejętność planowania i przewidywania. Ponadto nauczyciel obecnych i nadchodzących czasów powinien posiadać umiejętności techniczne, zapewniające sprawne posługiwanie się nowymi technologiami, mieć wysokie aspiracje zawodowe, świadomość godności innych i jej poszanowanie, uniwersalizm i optymizm w postępowaniu⁸.

Posiadane przez nauczyciela kwalifikacje i nabyte kompetencje zawodowe są niezbędnym warunkiem dla skutecznej realizacji zadań i funkcji szkoły. Dlatego nauczyciel powinien mieć pełne wykształcenie akademickie oraz umieć uczyć innowacyjnie z wykorzystaniem nowych technologii.

Kształcenie współczesnych nauczycieli, jak stwierdza Czesław Banach, winno być procesem wielostronnym, wielofunkcyjnym i interdyscyplinarnym, odbywającym się w trzech wymiarach czasowych: przeszłości, teraźniejszości i przyszłości, w czterech obszarach: regionalnym, polskim, europejskim i globalnym, a także w trzech sferach: aksjologiczno-poznawczej, emocjonalnej i praktycznej⁹.

Istotnym zadaniem w kształceniu nauczycieli jest ukształtowanie kompetencji zawodowych, niezbędnych dla prawidłowego planowania, realizacji i oceniania własnych przedsięwzięć edukacyjnych oraz pracy uczniów. Kompetencje te obejmują zbiór predyspozycji człowieka, od których zależy „sprawne wykonywanie działań, autonomiczne kierowanie samorozwojem, pełnienie ról społecznych oraz organizacyjnych. Kompetencje są pewną ukrytą cechą (metawłaściwością), która przejawia się w określonych zachowaniach”¹⁰. Kompetentnym nie można być we wszelkiej działalności, można być nim tylko w ściśle określonej dziedzinie (dziedzinach). Postęp cywilizacyjny powoduje, że rozwój kompetencji, tj. określonych umiejętności do wykonywania zawodu, odbywa się przez całe życie człowieka.

W dokumentach Unii Europejskiej, w szczególności w „Białej Księdze”, zapisane zostały tzw. kompetencje kluczowe, do których należą: kompetencje językowe, kompetencje techniczne i kompetencje społeczne¹¹.

⁷ Zob. R. Wawrzyńczak, *Kompetencje komunikacyjne w kształceniu nauczycieli*, [w:] *Transformacja w oświacie a europejskie perspektywy*, red. W. Horner, M.S. Szymański, Warszawa 1998, s. 198–199.

⁸ Zob. M.S. Szczepański, *Polska szkoła: między tradycją a nowoczesnością. Na marginesie refleksji o roli nauczyciela i szkoły w zintegrowanej Europie*, red. S. Badora, D. Marzec, Częstochowa 2005, s. 14–15.

⁹ Zob. Cz. Banach, *Orientacje – koncepcje edukacji nauczycielskiej*, Kraków 1998, s. 15.

¹⁰ S. Konarski, *Kluczowe znaczenie kompetencji społeczno-psychologicznych we współczesnych koncepcjach i praktyce systemów edukacji ekonomistów i menadżerów*, [w:] *Społeczno-kulturowe konteksty edukacji nauczycieli i pedagogów*, red. S. Konarski, Warszawa 2006, s. 8–9.

¹¹ Zob. *Biała Księga. Nauczanie i uczenie się. Na drodze do uczącego się społeczeństwa*, Komisja Europejska, Warszawa 1997, s. 30–32.

Kompetencje językowe przejawiają się w znajomości języków obcych (co najmniej dwóch). Znajomość języków obcych jest niezbędna, bowiem stwarza nauczycielom szerokie możliwości rozwoju zawodowego poprzez nawiązywanie współpracy z różnymi ośrodkami edukacyjnymi, mieszczącymi na całym świecie. Warto wskazać na dwoisty charakter owych kompetencji, które przejawiają się także w skuteczności zachowań werbalnych i pozawerbalnych w różnych sytuacjach edukacyjno-wychowawczych. Oznacza to, że kompetentny nauczyciel powinien wykazywać się umiejętnością nawiązywania i podtrzymywania kontaktów międzyludzkich, właściwego odbierania i interpretowania przekazów werbalnych i niewerbalnych, a także odpowiedniego reagowania na nie, zgodnie z sytuacją komunikacyjną. W „Białej Księdze” podkreśla się, iż umiejętnościom lingwistycznym musi towarzyszyć zdolność dostosowania się do środowisk pracy i życia, obowiązujących w obrębie danej kultury¹².

Nie mniej ważne w pracy nauczyciela są kompetencje techniczne, które umożliwiają sprawne korzystanie z nowoczesnych źródeł i nośników informacji. Nauczyciele powinni nabyć umiejętność wykorzystywania technologii informatycznej do wspomaganie i doskonalenia własnego warsztatu pracy. Kompetencje te są także niezbędne w pracy z uczniami¹³. Nauczyciel, który sprawnie posługuje się nowoczesnymi technologiami, potrafi pokazać i nauczyć swoich wychowanków, jak wykorzystywać znalezione w internecie informacje.

Zdolność do współpracy, pracy w grupie, kreatywność są przejawami ukształtowanych kompetencji społecznych. Ułatwiają one jednostce radzenie sobie w interakcjach z innymi ludźmi, pozwalają skutecznie wywierać pozytywny wpływ na zachowanie innych osób, grup społecznych oraz wpływają korzystnie na rozwój własny jednostki pod wpływem innych podmiotów społecznych¹⁴.

Wielu naukowców podejmowało i podejmuje próby określenia aktualnych standardów, wymogów i kompetencji, niezbędnych w pracy nauczycielskiej. Wart omówienia jest opracowany przez Zygmunta Łomnego model kompetencji nauczyciela w wymiarze europejskim. Autor ten wyraża przekonanie, iż nauczyciel powinien być autentycznym humanistą, który za najwyższe dobro uznaje człowieka, prezentuje prawdę, opartą na podstawach naukowych, jednocześnie respektuje odmienne wymiary sensu wiary i nauki oraz uznaje prawo do głoszenia swoich racji i prawo każdego człowieka do wyboru własnego wyznania i światopoglądu. Nauczyciel-humanista zawsze wyraża w swoim profesjonalnym działaniu wiarę w człowieka, w jego godne, szczęśliwe, budowane zgodnie z regułami wolności i odpowiedzialności życie, potrafi skutecznie przeciwstawiać się wykorzystywaniu przeciwko człowiekowi dóbr szeroko pojętej kultury i innych wartości materialnych i duchowych, jednocześnie głosząc i realizując postulat wyzwolenia tych dziedzin od fałszu, szowinizmu, fundamentalizmu, skrajnego technokratyzmu. Posiadając własną tożsamość narodową, religijną, moralną i ideową, nauczyciel powinien uznawać potrzebę

¹² Tamże, s. 71.

¹³ Э.Г. Азимов, *Методика применения компьютерных технологий и обучения русскому языку как иностранному*, [в:] *Методика преподавания русского языка как иностранного*, Москва 2004, s. 157.

¹⁴ Zob. tamże, s. 30–32; zob. także J. Borkowski, *Podstawy psychologii społecznej*, Warszawa 2003, s. 108.

otwarcia, zbliżenia i współpracy: narodów, państw, ras, kultur, ekonomii, kościołów. Powinien on także wyrażać potrzebę dialogu, poznania i gotowości uznania prawa innych do godnego życia i rozwoju, podejmować działania na rzecz harmonijnego i twórczego rozwoju każdej jednostki, uczestniczącej w procesie edukacyjnym, zapewniać jej poczucie podmiotowości i tożsamości. Proces edukacyjny powinien być traktowany przez nauczyciela jako fenomen społeczno-kulturowy, ustawicznie weryfikowany i kreowany zgodnie z humanistycznymi wyzwaniami zmieniającej się cywilizacji i nieustannie odkrywanych nowymi potrzebami i aspiracjami społeczności uczniowskiej. Zygmunt Łomny podkreśla, iż kompetentny nauczyciel to taki, który potrafi przestrzegać praw uczniów, podejmować działania na rzecz eliminowania w interakcjach interpersonalnych autorytaryzmu, dominacji, sadyzmu, oderwania edukacji od sfery publicznej. Postuluje on wprowadzenie pełnej humanizacji życia w różnych grupach społecznych szkoły oraz w innych instytucjach wychowawczych poprzez autentyczne poznanie, zrozumienie, współpracę i racjonalne wspieranie oraz sterowanie¹⁵.

Moim zdaniem, warto przeanalizować kompetencje, jakie powinien posiadać nauczyciel języka obcego. Waldemar Pfeiffer wyróżnia pięć podstawowych kompetencji nauczyciela języka obcego. Należą do nich: 1) kompetencja językowa, 2) kompetencja metodyczna, 3) kompetencja krajo- i kulturoznawcza, 4) kompetencja pedagogiczna, 5) kompetencja medialna¹⁶. Kompetencja językowa wiąże się z opanowaniem wiedzy o języku oraz opanowaniem umiejętności i sprawności językowych dla celów komunikacji. Wiedza nauczyciela o budowie języka obcego powinna być funkcjonalna i aktualna, bowiem wiedzę tę nauczyciel będzie przekazywać uczniom w procesie nauczania.

Zdaniem Waldemara Pfeiffera, kompetencja metodyczna to umiejętność tworzenia i przeprowadzania efektywnych procesów glottodydaktycznych. Kompetencja ta jest związana z umiejętnością organizowania procesów nauczania i uczenia się. Posiadanie wiedzy glottodydaktycznej oznacza opanowanie „naukowych podstaw glottodydaktyki, jej przedmiotu, celów i metod badań, związków glottodydaktyki z dziedzinami pokrewnymi, zwłaszcza z psychodydaktyką i językoznawstwem, podstaw teorii akwizycji języka obcego, metod nauczania języka w rozwoju historycznym i aktualnego stanu dyskusji fachowej, metodyki nauczania języka”¹⁷.

Nauczyciel języków obcych musi dysponować pewną wiedzą o kraju, którego języka naucza, zatem musi on posiadać kompetencję krajo- i kulturoznawczą. Wiedza ta jest niezbędna dla realizacji wychowania interkulturowego, jednego z głównych zadań szkoły i zadań, związanych z nauczaniem języka.

Kompetencja pedagogiczna pozwala nauczycielowi na realizowanie na lekcji języka obcego celu wychowawczego. Realizacja tego celu w procesie glottodydaktycznym pozwala kształtować osobowość uczniów, ich postawy obywatelskie i społeczne, a także rozwijać motywację do poznawania języka obcego i innych kultur. W ramach kompetencji pedagogicznej Waldemar Pfeiffer wyróżnia dwie kompetencje szczegółowe: umiejętność pracy zespołowej z innymi nauczycielami oraz umiejętność pracy zespołowej z uczniami. Ta druga oznacza partnerski stosunek

¹⁵ Zob. Z. Łomny, *Człowiek i edukacja wobec przemian globalnych*, Opole 1995, s. 96–97.

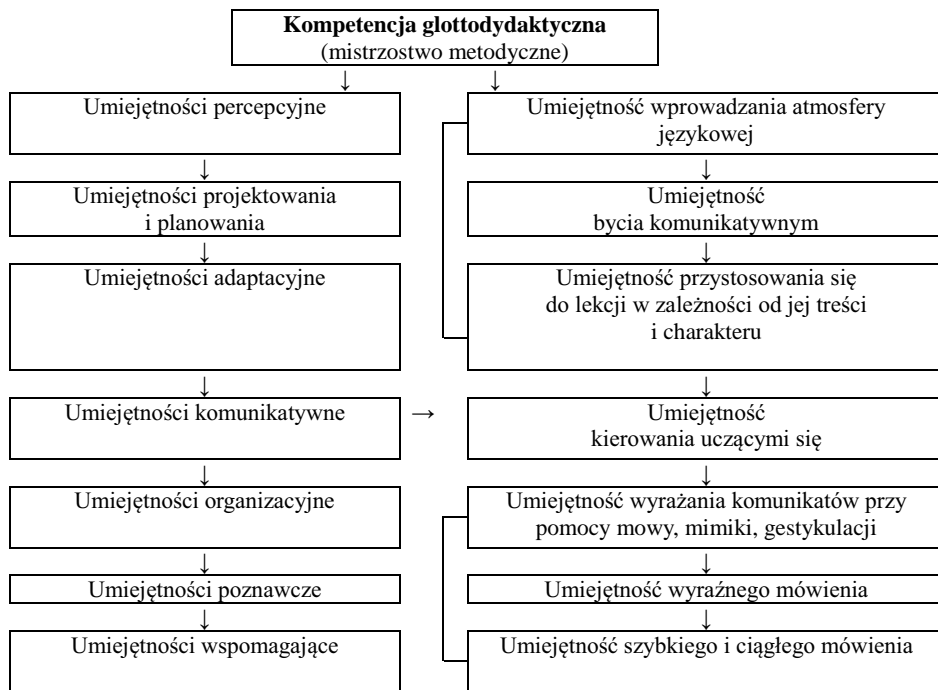
¹⁶ Zob. W. Pfeiffer, *Nauka języków obcych...*, s. 192–198.

¹⁷ Tamże, s. 196.

nauczyciela do uczniów w procesie nauczania, a także umiejętność organizowania pracy grupowej, która stanowi podstawę rozwoju kompetencji kolektywnej.

Podobnie, jak wielu innych badaczy, Waldemar Pfeiffer wyróżnia kompetencję medialną, związaną z umiejętnością sprawnej obsługi mediów oraz umiejętnością efektywnego stosowania ich w procesie nauczania. Autor ten wyraża przekonanie, iż „Nauczyciel nie może nie umieć obsługiwać komputera, korzystać z Internetu i poczty elektronicznej. Taka niechętna mediom rezygnacyjna postawa wzbudzi podejrzenie uczniów o nieudolność, wygodnictwo, a nawet zacofanie dydaktyczne nauczyciela”¹⁸.

Umiejętności metodyczne nauczyciela języka obcego składające się na jego kompetencję glottodydaktyczną Waldemar Pfeiffer przedstawił w postaci następującego schematu¹⁹:



Jak podkreśla Waldemar Pfeiffer, wymienione wyżej kompetencje są niezbędne w pracy nauczyciela i świadczą o jego mistrzostwie metodycznym.

Edukatorzy odpowiedzialni za kształcenie przyszłych nauczycieli powinni korzystać z zapisów Ministerstwa Edukacji Narodowej i Szkolnictwa Wyższego, które określiło wyraźnie kompetencje, jakimi nauczyciel powinien się wykazać po ukończeniu studiów wyższych i podyplomowych. Są to: kompetencje dydaktyczne, wychowawczo-społeczne, kreatywne, prakseologiczne, komunikacyjne i informatyczno-medialne (zob. Rozporządzenie z dnia 23.09.2003 w sprawie

¹⁸ Tamże, s. 198.

¹⁹ Tamże, s. 199.

standardów kształcenia nauczycieli). Pomocne mogą być także inne opracowania i rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej i Szkolnictwa Wyższego, dotyczące krajowych ram kwalifikacji dla polskiego szkolnictwa wyższego (zob. Rozporządzenie z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela). Są one tworzone w oparciu o wspólny europejski system i pozwalają na dokonywanie porównań dyplomów, uzyskanych w różnych uczelniach na terenie Europy

Waldemar Pfeiffer, stwierdzając, że na arenie międzynarodowej polscy nauczyciele języków obcych są uznawani za dobrze i wszechstronnie wykształconych, dostrzega jednak realną potrzebę dalszego modyfikowania i lepszego profilowania naszego modelu kształcenia. Równocześnie apeluje on o zachowanie dużej ostrożności w toczących się dyskusjach i przeprowadzanych reformach, by „przy ich okazji nie zatracić uznanego dorobku w zakresie kształcenia nauczycieli na rzecz najczęściej wąsko pragmatycznie pojętych modeli w krajach zachodnich”²⁰.

Warto zaznaczyć, że edukacja XXI wieku postuluje rozwój i uczenie się człowieka w ciągu całego życia. Dlatego też kompetentny nauczyciel powinien zdawać sobie sprawę z faktu, iż uzyskane przez niego w toku kształcenia kwalifikacje nie wystarczają na cały okres jego aktywności zawodowej. Oznacza to potrzebę i konieczność permanentnego aktualizowania wiedzy i nabytych umiejętności zawodowych.

Kluczową rolę w procesie dydaktycznym, obok posiadanych przez nauczyciela kompetencji zawodowych, odgrywa jego osobowość. Głównymi składnikami osobowości są: postawy, potrzeby, przekonania, temperament, motywy, uczucia, skłonności, zdolności, zainteresowania oraz cechy wyrażające indywidualny stosunek do świata i ludzi²¹. Wincenty Okoń uważa, że „przez osobowość nauczyciela można rozumieć stopień zaawansowania nauczyciela w poznawaniu, rozumieniu i wartościowaniu stosunków panujących w świecie, ze szczególnym uwzględnieniem procesów kształcenia i wychowania, oraz w twórczym przekształcaniu tych stosunków”²². Oznacza to, że cechy osobowościowe mają istotny wpływ na kunszt i mistrzostwo zawodu nauczyciela. W dziele *O duszy nauczycielstwa* Jan Władysław Dawid pisał, że: „zasadniczą cechą nauczyciela ma być wewnętrzny nakaz dobroci, co nie może wykluczyć stanowczości postępowania i stawiania wymagań wychowankom, gdyż to jest konieczne dla ich rozwoju. Miarą skuteczności pracy wychowawczej staje się wielkość jego duszy, zdolność widzenia przez niego w każdym uczniu człowieka bliskiego sobie, a nie uciążliwego rywala w zimnej grze o uzyskanie przewagi psychicznej”²³. Słowa głoszone przez Dawida napawały optymizmem i świadczyły o tym, iż zawód nauczyciela winien być traktowany jako dar, powołanie, szczególna misja. Dzisiaj zawód nauczyciela podlega ciągłej ewolucji, uległa zmianie jego rola w procesie dydaktycznym i jego status zawodowy. Pracę w szkolnictwie może podjąć każdy, kto legitymuje się odpowiednim wykształceniem, nawet jeśli nie posiada predyspozycji do wykonywania tego wyjątkowego zawodu. Obserwowane

²⁰ Zob. W. Pfeiffer, *Nauczyciel języków obcych...*, s. 189.

²¹ Zob. Cz. Banach, *Cechy osobowości nauczycieli*, „Nowa Szkoła” 1995, nr 3, s. 65; zob. także A.H. Леонтьев, *Деятельность. Сознание. Личность*, Москва 1975, s. 217.

²² W. Okoń, *Nowy słownik pedagogiczny*, Warszawa 1998, s. 278.

²³ J.W. Dawid, *O duszy nauczyciela*, Warszawa 1948, s. 79.

obecnie duże tempo życia, dążenie do szybkiego osiągania celów, sukcesów osobistych i zawodowych tworzą atmosferę ciągłej rywalizacji, która często staje się przyczyną zazdrości i zawiści zawodowej. Takie postawy kładą się cieniem na etyce zawodowej nauczyciela. Warto przypomnieć, że mistrzostwo w pracy dydaktyczno-wychowawczej osiągają jednostki o określonych cechach osobowości. Krzysztof Konarzewski określa nauczyciela jako człowieka o niewzruszonych zasadach, szerokich horyzontach, niosącego posłannictwo mistrza. Nauczyciel to znawca duszy dzieci i młodzieży. Cechuje go systematyczność, dążenie do starannego planowania działań w oparciu o naukową wiedzę, a przy tym jest szczery i spontaniczny. Nauczyciel to nie tylko bogata pełnowymiarowa osobowość, ale także człowiek, który całym swoim życiem daje przykład cnót wychowawczych. K. Konarzewski określa go mianem „modelowego posłannika wiedzy i umiejętności”²⁴.

Czesław Banach wyróżnia pięć podstawowych cech osobowościowych nauczyciela i ponad siedemdziesiąt cech-właściwości (które przytaczam wybiórczo):

1) cechy-właściwości osobowe: dostępność, bezpośredniość, kontaktowość, serdeczność, życzliwość, kulturalność, elastyczność w postępowaniu, odwaga, skromność, sprawiedliwość, dyskrecja, samokrytycyzm wobec własnej pracy, optymizm.

2) cechy-właściwości intelektualne: inteligencja, mądrość, powściągliwość w wyrażaniu sądów, opinii, ocen; samodzielność w myśleniu, aktywność w formułowaniu problemów i poglądów.

3) cechy-właściwości prakseologiczno-pedagogiczne: wiedza merytoryczna, dobre przygotowanie metodyczne, znajomość podstaw pedagogiki i psychologii; konsekwencja, akceptacja własnego zawodu, dociekliwość, samodzielność, doskonalenie, umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji.

4) cechy-właściwości wychowawcze: otwartość na problemy uczniów, przychylność, wyrozumiałość, podmiotowe traktowanie uczniów, opiekuńczość, dotrymywanie obietnic.

5) cechy-właściwości zewnętrzne: dbałość o zdrowie i schludny wygląd, odporność na trudności w pracy, ekspresyjność, wzorowa kultura osobista, komunikatywność²⁵.

Maria Kossakowska-Maras, w ślad za Z. Włodarskim, wymienia następujące cechy przydatne nauczycielowi:

- „- nieobojętność wobec dzieci i młodzieży;
- dostrzeganie możliwości rozwojowych młodzieży i swojego oddziaływania na nią;
- odczuwanie potrzeby oddziaływania – nauczyciel nie występuje w roli biernego obserwatora;
- umiejętność postępowania pedagogicznego (takt pedagogiczny), szczególnie ważne dla tej umiejętności wydają się dwie cechy, tzn. respektowanie podmiotowości

²⁴ K. Konarzewski, *O roli i osobowości zawodowej nauczyciela albo jak uprawiać pedeutologię*, „Kwartalnik Pedagogiczny” 1990, nr 1, s. 89.

²⁵ Cz. Banach, *O kulturze pedagogicznej i etyce zawodu nauczyciela*, „Dyrektor szkoły” 1994, nr 6, s. 33; zob. także Cz. Banach, *Polska szkoła i system edukacji. Przemiany i perspektywy*, Toruń 1995, s. 152–153.

innych osób oraz empatia”²⁶. Zdaniem tej autorki, wymienione wyżej cechy najbardziej decydują o rezultatach pracy pedagogicznej nauczyciela.

Hanna Komorowska, analizując cechy i zachowania dobrego nauczyciela języka obcego, zwraca uwagę na zachowania nieobserwowalne u dobrych nauczycieli. Autorka przekonuje, że dobrym nauczycielom nigdy nie zdarzają się trzy rodzaje zachowań, jakie uznano za typowe dla nauczycieli nielubianych przez uczniów, czyli takich, których uczniowie na ogół osiągają mierne wyniki w nauce. Dobrzy nauczyciele języka obcego: 1) nigdy nie opuszczają ważnego ogniwa lekcji, jakim jest wprowadzenie, ćwiczenie i utrwalenie nowego materiału oraz jego kontrola; 2) nie zaniedbują systematycznej ustnej kontroli wyników; 3) nie szczczędzą wysiłku, by dobrze poznać cechy osobowościowe swoich uczniów, ich sytuację domową i możliwości. Dobrzy nauczyciele twierdzą, że „działania takie nie są dla nich obciążeniem i dodatkową pracą, a raczej stanowią opłacalną inwestycję, która pozwala osiągnąć lepsze wyniki znacznie mniejszym nakładem sił”²⁷.

Trzeba przyznać, że w obecnych czasach, kiedy szkoły podejmują nadmiar zadań edukacyjnych, nie jest łatwo wykonywać profesjonalnie zawód nauczyciela. Wybierając jednak ten zawód, trzeba być w pierwszej kolejności dobrym i życzliwym człowiekiem, a w drugiej – specjalistą w swojej dziedzinie.

Reasumując, należy jeszcze raz podkreślić, iż nowoczesny, europejski nauczyciel powinien dążyć do tego, by stawać się autentycznym humanistą, władającym językami Unii Europejskiej, być interesującą osobowością i przewodnikiem po świecie wiedzy, umiejącym prezentować uczniom nowoczesne sposoby nabywania, przyswajania i poszerzania wiedzy z wykorzystywaniem najnowszych technologii informacyjnych. Nadto, jako osoba kompetentna powinien być kreatorem, inicjatorem, organizatorem i animatorem procesu kształcenia.

Literatura

- Азимов Э.Г., *Методика применения компьютерных технологий и обучения русскому языку как иностранному*, [В:] *Методика преподавания русского языка как иностранного*, Москва 2004, s. 157.
- Banach Cz., *Cechy osobowości nauczycieli*, „Nowa Szkoła” 1995, nr 3.
- Banach Cz., *O kulturze pedagogicznej i etyce zawodu nauczyciela*, „Dyrektor szkoły” 1994, nr 6.
- Banach Cz., *Orientacje – koncepcje edukacji nauczycielskiej*, Kraków 1998.
- Banach Cz., *Polska szkoła i system edukacji. Przemiany i perspektywy*, Toruń 1995.
- Biała Księga. Nauczanie i uczenie się. Na drodze do uczącego się społeczeństwa*, Komisja Europejska, Warszawa 1997.
- Borkowski J., *Podstawy psychologii społecznej*, Warszawa 2003.
- Dawid J.W., *O duszy nauczyciela*, Warszawa 1948.
- Komorowska H., *Metodyka nauczania języków obcych*, Warszawa 2005.
- Komorowska H., *Sukces i niepowodzenie w nauce języka obcego*, Warszawa 1978.

²⁶ M. Kossakowska-Maras, *Optymalizacja kształcenia nauczyciela języka obcego (na przykładzie studiów rusycystycznych)*, Rzeszów 2005, s. 60.

²⁷ Zob. H. Komorowska, *Metodyka nauczania...*, s. 117–118.

- Konarski S., *Kluczowe znaczenie kompetencji społeczno-psychologicznych we współczesnych koncepcjach i praktyce systemów edukacji ekonomistów i menadżerów*, [w:] *Społeczno-kulturowe konteksty edukacji nauczycieli i pedagogów*, red. S. Konarski, Warszawa 2006.
- Konarzewski K., *O roli i osobowości zawodowej nauczyciela albo jak uprawiać pedeutologię*, „Kwartalnik Pedagogiczny” 1990, nr 1.
- Kopaczyńska I., *Dialogowe interakcje w procesie oceniania szkolnego*, [w:] *Osoba. Edukacja. Dialog*, t. 2, red. M. Ledzińska, G. Rudkowska, L. Wrona, Kraków 2002.
- Kossakowska-Maras M., *Optymalizacja kształcenia nauczyciela języka obcego (na przykładzie studiów rusycystycznych)*, Rzeszów 2005.
- Леонтьев А.Н., *Деятельность. Сознание. Личность*, Москва 1975.
- Lewowicki T., *Indywidualizacja kształcenia. Dydaktyka różnicowa*, Warszawa 1997.
- Łomny Z., *Człowiek i edukacja wobec przemian globalnych*, Opole 1995.
- Okoń W., *Nowy słownik pedagogiczny*, Warszawa 1998.
- Pachociński R., *Kształcenie umiejętności myślenia w nowoczesnej szkole*, „Nowe w Szkole” 1998/99, nr 5.
- Pfeiffer W., *Nauka języków obcych. Od praktyki do praktyki*, Poznań 2001.
- Siek-Piskozub T., *Aktywizacja ucznia w procesie nauczania języka obcego*, „Neofilolog” 1990, nr 2.
- Siek-Piskozub T., Wojciechowska T., *Spójność systemu nauczania języków obcych podstawą efektywności*, „Neofilolog” 1990, nr 2.
- Suchodolski B., *Wychowanie jako naprawa ludzkiego świata*, [w:] *Oświata i wychowanie w okresie cywilizacyjnego przełomu*, red. J. Nowak, Warszawa 1988.
- Szczepański M.S., *Polska szkoła: między tradycją a nowoczesnością. Na marginesie refleksji o roli nauczyciela i szkoły w zintegrowanej Europie*, red. S. Badora, D. Marzec, Częstochowa 2005.
- Wawrzyńczak R., *Kompetencje komunikacyjne w kształceniu nauczycieli*, [w:] *Transformacja w oświacie a europejskie perspektywy*, red. W. Horner, M.S. Szymański, Warszawa 1998.

Новые требования к современному учителю в контексте европейской интеграции

Резюме

В статье обсуждаются новые требования, которые ставятся перед современной системой обучения, а также перед учителем. Учитель XXI века должен обладать многими профессиональными компетенциями, позволяющими ему планировать, организовать и реализовать как обучающую, так и воспитательную деятельность. Учителю отводится роль наставника, советника, который готовит учащихся к самостоятельному учению, создает условия для эффективной работы с использованием современных технических средств обучения, развивает мотивацию учащихся. В статье подчеркивается, что основную роль в дидактическом процессе, наряду с профессиональными компетенциями учителя, играет его личность.

Ключевые слова: образовательная система, квалификации и профессиональные компетенции учителя, дидактическая компетенция, языковая компетенция, педагогическая компетенция, коммуникативная компетенция, личность учителя.

New requirements for a contemporary teacher in the context of European integration

Abstract

The article discusses the new requirements set for the contemporary educational system and for teachers as well. The 21st century teachers should possess several professional competences that would enable them to plan, organize and realize both didactic and upbringing activity. A teacher is charged with the role of a counsellor, who prepares pupils for independent learning, creates conditions for effective work, taking advantage of contemporary technical teaching aids, and develops pupils' motivation. The article emphasises the fact that, apart from the teacher's professional competence, his/her personality plays a significant role in the didactic process.

Key words: educational system, qualifications and professional competences, didactic competence, language competence, communicative competence, pedagogical competence, teacher's personality

Dorota Dziewanowska
Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
Instytut Neofilologii (filologia rosyjska)
e-mail: ddziewanowska@o2.pl
+48126626740

Лариса Михеева

Критерии выбора знаков препинания в бессоюзных сложных предложениях (лингвометодический аспект)

Пунктуационная грамотность является одним из показателей языковой культуры пишущего. Задача формирования компетенции тех, для кого работа с языком становится основой профессиональной деятельности (будущих преподавателей, переводчиков, корректоров, журналистов), не позволяет формально относиться к обучению пунктуации, ограничиваясь лишь общими рекомендациями. Современная лингводидактика, кроме того, советует принимать во внимание такие подходы к обучению, когда студенты учатся средствами языка влиять на содержательную сторону высказывания, повышать его коммуникативную значимость, что в случае пунктуации означает не только владение ею на уровне «структурных» правил, но и понимание ее смыслового потенциала и интонационных возможностей.

Бессоюзные предложения типичны для русской письменной речи, однако студенты пользуются ими сравнительно редко, вероятнее всего по причине недостаточного знания данных конструкций (предложений с запятой и точкой с запятой между частями насчитывается в среднем 1,5 на 1 работу; предложений с двоеточием и тире – 1 на 2 работы). Ошибки в пунктуационном оформлении бессоюзных сложных предложений имеют свою специфику. Пропуск знаков наблюдается относительно редко – при письме под диктовку постановке знака способствует четкая пауза между частями, а в порождаемых текстах бессоюзные сложные предложения в основном строятся из частей с полными предикативными основами или являются комбинациями безличной части и части с полной основой, что значительно облегчает задачу квалификации конструкции и ее пунктуационного оформления. Функция структурного разграничителя первична для знаков в бессоюзном сложном предложении; смысловая функция, обусловленная контекстом, – вторична. Затруднения пишущего связаны в первую очередь с пониманием смысловой функции знака, а следовательно, с его выбором.

Проанализировать соотношение знаков препинания и обусловленность их выбора уместно на примере предложений с одинаковым лексическим составом. Так, предикативные части [*труппа театра распалась*] и [*актеры*

кочуют из одной антрепризы в другую] могут по-разному объединяться в бессоюзное предложение – роль играют смысловая и интонационная стороны речи, поэтому возможны пунктуационные варианты:

Труппа театра распалась, Труппа театра распалась: Труппа театра распалась –
актеры кочуют из одной антрепризы в другую. актеры кочуют из одной ан- актеры кочуют из одной
трепризы в другую. трепризы в другую. антрепризы в другую.

Ни одно из оформлений не противоречит в данном случае пунктуационной норме. Тем не менее коммуникативная заданность высказываний различна, и выбор знака зависит от того, какие именно смысловые отношения между частями пишущий желает активизировать: запятая сигнализирует обычном перечислении фактов (*труппа распалась, и актеры кочуют...*); двоеточие передает причинную обусловленность (*труппа распалась, так как актеры кочуют...*); тире подчеркивает значение вывода во второй части (*труппа распалась, поэтому актеры кочуют...*). Смысловую зависимость частей в представленном предложении можно обнаружить уже на лексическом уровне, поэтому постановка запятой не препятствует в о з м о ж н о м у осмыслению второй части как пояснения первой или вывода из нее. Типы смысловых отношений, которые требуют употребления двоеточия и тире, определены действующими правилами, однако наличие таких отношений в предложении не означает, что пишущий выберет именно эти знаки, с формальной точки зрения он свободен. Вопрос в том, насколько пунктуационное решение будет способствовать передаче того или иного смысла: запятая не подчеркивает смысловую зависимость частей, употребление тире или двоеточия исключает перечислительные отношения. Н.С. Валгина поясняет: «Правильность... применительно к знакам препинания означает адекватность сообщения авторскому замыслу, а такое соответствие достижимо при социальной закреплённости за знаками определенных функций и смыслов...»¹

Анализ творческих работ выявляет склонность студентов к употреблению в бессоюзных сложных конструкциях исключительно запятых, эту практику следует переориентировать путем расширения их знаний о содержательной значимости пунктуации. Например, в предложении *Многие изобретения были открыты дважды, согласно легендам, некоторые предметы, необходимые в современности, существовали уже в затопленном городе – Атлантиде* запятой после первой части явно недостаточно, поскольку подразумевается разъяснение слов *открыты дважды* в первой части конструкции, к тому же употребление запятой вносит неясность – к какой из частей следует относить вводное выражение **согласно легендам**: *открыты дважды, согласно легендам* или *согласно легендам, ...существовали в Атлантиде*. В другом сочинении читаем: *Автор уловил мимолетное мгновение сияния света, его блеск во время жаркого безоблачного дня, когда чувствуется сухость воздуха, он тяжел, дышать нечем*. Пунктуационное оформление предложения затрудняет восприятие его содержания. Местоимение *он* в последнем фрагменте высказывания логически связано со словом *воздух*, но грамматически может соотноситься

¹ Н.С. Валгина, *Трудные вопросы пунктуации*, Москва 1983, с. 155.

как с подлежащим *автор* в первой части, так и с дополнениями *блеск* и *дня*. Кроме того, трудно понять, к какой части относится придаточное предложение. Необходимый смысловой акцент можно сделать, поставив двоеточие, в результате чего проявятся пояснительно-атрибутивные отношения между частями конструкции, ср.: *Автор уловил мимолетное мгновение сияния света, его блеск во время жаркого безоблачного дня, когда чувствуется сухость воздуха: он тяжел, дышать нечем*. Очевидно, что двоеточие предпочтительнее и в каждом из следующих случаев (первый вариант – из сочинений старшекурсников), ср.: *Демон глубоко современен, в нем отразились не только переживания художника, но и сама эпоха и ее контрасты, противоречия*. – *Демон глубоко современен: в нем отразились не только переживания художника, но и сама эпоха и ее контрасты, противоречия; Используя такие способы получения энергии, человек не загрязняет окружающей среды, эти ресурсы никогда не будут исчерпаны, они обновляемы*. – *Используя такие способы получения энергии, человек не загрязняет окружающей среды, эти ресурсы никогда не будут исчерпаны: они обновляемы*.

То, что студенты смешивают перечислительные отношения и отношения смысловой зависимости, подтверждает и письмо с опорой на звучащую речь. В предложении диктанта *Тысяча восемьсот шестьдесят девятый год вошел в историю науки как год великого открытия: молодым ученым был описан периодический закон химических элементов* из 48 пишущих 26 поставили запятую, один – точку. Можно допустить, что причиной замены знака оказалось неверное «прочтение» двоеточия (работу писали в трех группах студентов, в двух ошибки распределяются равномерно, в третьей отмечено мало замен). Интонация в бессоюзном сложном предложении служит средством актуализации заданных отношений, переданных соответствующим знаком, однако она должна быть знакома не только диктующему, но и пишущему, поэтому часть ошибок можно объяснить неумением студентов различать на слух типы интонации в бессоюзных сложных предложениях. Заметим, что «интонация двоеточия» в русском языке сопоставима с «интонацией двоеточия» в польском – это интонация предупреждения с отчетливой паузой между частями. Тем не менее, если упражнения в чтении с опорой на пунктуацию не проводятся, сходные явления могут быть не осознаны.

Сопоставительные исследования пунктуации русского и польского языков показывают, что в польском языке в бессоюзных сложных предложениях двоеточие вводит часть высказывания со значением следствия, результата, а также пояснения, обоснования, уточнения, конкретизации содержания первой части, то есть вбирает больше смыслов, чем двоеточие в русском языке, где его значения ограничиваются рамками пояснительно-разъяснительной функции, тогда как значения следствия или результата передаются посредством тире. С одной стороны, этот факт может негативно сказываться на усвоении смысловых функций отдельных знаков в бессоюзных предложениях русского языка, с другой стороны, понимание семантической составляющей знака двоеточия, наряду с его структурной функцией, углубляет общее представление о возможности пунктуационных знаков выражать смысловую зависимость частей, осуществляемую без посредства союзов. Прогностические

эксперименты выявляют, между тем, недостаточную осведомленность студентов в функциях двоеточия и слабую ориентацию в условиях, при которых в польском тексте употребляется этот знак. В диктанте, проведенном преподавателями, для которых польский язык является родным (следовательно, «интонация двоеточия» соблюдалась) в предложении *Przestrzenie nowego muzeum zostały urządzone w taki sposób, by odpowiadały temu, co miało być w nich eksponowane: sale przeznaczone dla sztuki egipskiej zostały udekorowane w stylu egipskim, a sale przeznaczone dla rzeźby włoskiej – w stylu florenckim* из 100 испытуемых 22 на месте двоеточия поставили точку, 18 – запятую, 7 – тире, 10 – точку с запятой, четверо пропустили знак. Позитивный перенос (такой вывод можно сделать из анализа сочинений на русском языке) последовательно отмечается в случае разделения запятой частей бессоюзного сложного предложения, этот навык при письме по-польски у студентов сформирован в достаточной степени, поэтому в эквивалентных русских предложениях практически не наблюдается ошибок, связанных с пропуском знака. В случаях различия запятой и двоеточия, а также в случаях употребления тире при письме по-русски студенты испытывают затруднения, тем более что тире в бессоюзных конструкциях польского языка используется (при сохранении им структурной функции) в первую очередь как интонационный знак, показывающий глубокую риторическую паузу.

В оформлении смысловых отношений частей бессоюзных сложных предложений в русском языке значима интонация, она помогает конкретизировать их содержание. На письме интонационные типы передаются различными знаками препинания: интонация *перечисления* – запятой и точкой с запятой; интонация *пояснения* и *предупреждения* – двоеточием; интонация *обусловленности*, *противопоставления* и *вывода* – тире. «Интонации, передающие смысловую значимость речи, социально закреплены, в них заключен большой процент объективности, они воспроизводимы», – отмечает Н.С. Валгина². Носители одного и того же языка способны с учетом семантики различать и сопоставлять интонационные признаки бессоюзных сложных конструкций. При восприятии речи на слух или письме под диктовку именно интонация способствует распознаванию типов отношений, она предопределяет выбор необходимого знака. Смыслоразличительные функции знаков препинания очевидны в сходных по лексическому составу предложениях при их произнесении; они определяют тот вариант интонации, который обеспечивает правильное понимание содержания. Умение распознавать интонационные типы на слух помогает избегать пунктуационных ошибок, связанных с выбором знака, в диктантах. Так, если принимать во внимание формальную сторону письменной речи и рассматривать предложения вне текста, оба написания: *Иконы могут быть разнообразны: одни изображают Иисуса Христа, Богородицу, другие святых или сцены из Священного писания. – Иконы могут быть разнообразны, одни изображают Иисуса Христа, Богородицу, другие святых или сцены из Священного писания* – будут безошибочными с точки зрения нормы. Об ошибке можно говорить тогда, когда диктующий сообщает средствами интонации один смысл (например, разъяснение), а пишущий,

² Н.С. Валгина, *Трудные вопросы...*, с. 18.

слабо ориентирующийся в семантико-интонационных типах предложений, фиксирует знаком другой смысл, следовательно, искажает содержание – оно перестает соответствовать намерению автора. Ошибку может допустить также диктующий, нарушая интонацию (в основном это происходит в случае двоеточия, а не запятой), если она незнакома ему или не отработана в произношении до такой степени, что слушающий (умеющий улавливать смысловые различия в интонировании) без колебаний выбирает знак для закрепления определенного смысла. Таким образом, при письме под диктовку ошибку может спровоцировать неправильное (или невнятное) чтение. Подход, рассматривающий чтение с опорой на знаки препинания как один из специфических принципов методики обучения пунктуации, способствует выработке навыков выразительной речи, устойчивых письменных умений и предупреждению значительного числа ошибок. В действительности такому типу упражнений отводится мало внимания в практике работы с русистами-иностранцами.

Формулировки некоторых правил допускают выбор между двоеточием и запятой именно с учетом интонации. Например, после глаголов *видеть, смотреть, слышать, понимать, знать, думать, чувствовать* перед второй частью бессоюзного предложения при отсутствии интонации предупреждения вместо двоеточия может употребляться запятая: *Знаю: ты не откажешься от своего обещания. – Знаю, ты не откажешься от своего обещания; Вижу: она слабо справляется с обязанностями. – Вижу, она слабо справляется с обязанностями; Понимаю: нелегко адаптироваться в новой группе. – Понимаю, нелегко адаптироваться в новой группе.* Когда вторая часть бессоюзного сложного предложения заключает в себе прямой вопрос, также ставится двоеточие; характерная интонация в конце первой части предупреждает о том, что сообщение не завершено: *Иван подумал: когда это будет? В голову лезли тревожные раздумья: как объяснить родителям мое желание жить отдельно? Нина Семеновна не понимала: когда она упустила этот роковой момент в воспитании сына?* При отсутствии предупредительной интонации правила допускают употребление запятой, ср.: *Подумай: разве мы можем надолго тебя оставить? – Подумай, разве мы можем надолго тебя оставить? Весь вечер размышлял: хватит ли мне терпения работать с пятилетками? – Весь вечер размышлял, хватит ли мне терпения работать с пятилетками?*

Таким образом, критерии выбора знака различаются при способе письма: при письме с опорой на звучащую речь знак выбирается в соответствии с интонацией, отражающей заданный автором смысл, при создании собственного текста используется предусмотренный правилами вариант оформления, который в большей степени отвечает коммуникативной задаче высказывания.

Непростой является задача разделения случаев двоеточия и тире в бессоюзных сложных предложениях, причем проблема целиком лежит в методической плоскости (неумение дифференцировать смысловые отношения), поскольку сами условия употребления этих знаков достаточно четко регламентированы действующими правилами. В новую редакцию пунктуационных правил (2007) внесены некоторые уточнения, касающиеся сферы употребления тире, в частности учитывается практика вытеснения знаком тире

двоеточия в бессоюзных сложных предложениях³. С определенными исключениями наряду с двоеточием в них допускается постановка тире: *В армию меня тоже не берут – сердце заштопанное (Пауст.); Ольга посмотрела вперед – ничего особенного... (Уст.); Мы ее Барбариска звали – она вечно всех детей карамелью угощала... (Улиц.)*⁴. Употребление тире является в таких случаях параллельным, выбор в его пользу зависит от характера текста, манеры пишущего. Например, один и тот же автор в одинаковых смысловых условиях может использовать как двоеточие, так и тире, ср.: *А он-то претендует на иное к себе отношение, на то, чтобы бы к нему отнеслись как к Гулливеру. Но в том и драма: он даже лилипутам больше не кажется великаном (Л. Мишкина).* – **в чем именно? – конкретизация, пояснение**; *Утром она забежала в контору за справкой с места жительства, где ее ожидал второй сюрприз – оказывается, она в своей квартире давно не проживает, так как выписана «по личной просьбе, в связи с переездом на постоянное жительство в Москву» (Л. Мишкина).* – **какой именно? – конкретизация, пояснение.**

В сочинениях старшекурсников тире довольно часто употребляется в тех условиях контекста, где правила рекомендуют в первую очередь постановку двоеточия: *АЭС не зависят от места расположения топлива – их можно строить вблизи густо населенных поселков, где не выступают залежи природного сырья; Сейчас человеку не нужны волшебства – он имеет средства транспорта.* – **значение причины во второй части**; *Она выглядела как лебедь – у нее была чарующая улыбка, чуть грустные глаза, длинные волосы и хрупкая, изящная фигура; Балетное искусство постоянно развивалось – возникали новые балетные труппы и балетные школы.* – **пояснение во второй части**; *На заднем плане наблюдаем пейзаж поля битвы – последние отряды войск, покидающие место борьбы, тысячи погибающих солдат и их коней.* – **вторая часть конкретизирует содержание первой.** Студенты вряд ли осознают, что тире выступает в этих случаях как допустимый пунктуационный вариант. Параллельное использование знака объяснимо тогда, когда пишущий, зная основное правило, в каких-то целях ищет более подходящий в данном контексте знак (например, тире в условиях свободного повествования, при написании сочинения-рассуждения, в отличие от работ научного характера, более точных по стилю изложения, в которых предпочтительнее двоеточие).

Тире может заменять двоеточие не во всех ситуациях. Последнее прочно сохраняет позиции в бессоюзных сложных предложениях, где в первой части есть слова, предупреждающие о разъяснении (*так, такой, одно, это*); в предложениях, в которых вторая часть является сложноподчиненным предложением или представляет собой прямой вопрос, ср.: *Матери следует чаще поощрять детей: если дети поступают хорошо, она непременно должна похвалить их, выразив свое одобрение; После общения с врачом Вадим начал напряженно думать: кто из знакомых может располагать такой крупной суммой, чтобы*

³ «В бессоюзном сложном предложении при обозначении пояснения, причины, обоснования, изъяснения допустимо употребление тире вместо двоеточия (особенно в художественной литературе и в публицистике)», цит. по: *Правила русской орфографии и пунктуации. Полный академический справочник*, Москва 2007, § 129, прим. 2.

⁴ Примеры – там же.

одолжить мне на операцию? В связи с этим можно оценить как неудачное употребление тире в следующих предложениях из студенческих работ: *Не знаю – такое равнодушие к другому человеку является нашей народной чертой или это результат обстоятельств, в которых мы живем? В связи с этим перед человечеством встала проблема – как обеспечить себя топливом, если природные запасы исчерпываются, а многие страны оказываются в сырьевой зависимости от стран-экспортеров нефти и газа.* В некоторых случаях замены бывают неуместны. Так, в предложении *Это видно также в Польше – уже трудно найти человека с пакетом «однократного употребления»* – почти все имеют красивые сумки из экологически чистого материала имеется две позиции, где необходимо двоеточие (пояснения общего и частного плана). Употребление двух тире искажает смысл: они воспринимаются как сигнал дополнительного сообщения, включенного в повествование, поэтому по крайней мере одно двоеточие нужно сохранить: *Это видно также в Польше: уже трудно найти человека с пакетом «однократного употребления»* – почти все имеют красивые сумки из экологически чистого материала. В предложении *Мы видим – этих мер становится мало – атмосфера загрязнена, реки и океаны полны нечистот* (правила предписывают двоеточие в обеих позициях) можно произвести лишь одну замену. Комбинация знаков здесь даже оправдана, поскольку употреблять в одном предложении два двоеточия не рекомендуется, ср.: *Мы видим: этих мер становится мало – атмосфера загрязнена, реки и океаны полны нечистот.* В некоторых случаях замена двоеточия знаком тире невозможна как таковая, например: *У каждого своя дорога в жизни – один будет президентом, другой добьется большого успеха как ученый, третий станет великим писателем, четвертый – учителем русского языка.* В предложении уже имеется тире, употребленное, согласно правилу, на своем собственном месте; в таких ситуациях, чтобы сохранить прозрачность смысла, рекомендуется избегать употребления тире вместо двоеточия: *У каждого своя дорога в жизни: один будет президентом, другой добьется большого успеха как ученый, третий станет великим писателем, четвертый – учителем русского языка.* Безусловно, что в разъяснительной функции двоеточие имеет преимущество перед тире. Н.С. Валгина поясняет, что «там, где складываются схожие условия для употребления знака, тире отводится подчиненная роль по отношению к двоеточию»⁵.

Нет сомнений в том, что студентам в первую очередь необходимо разъяснить нормы употребления двоеточия в бессоюзных сложных предложениях, отраженные в правилах, а затем указать, в каких случаях возможны замены. Следует также помнить, что двоеточие не принимает на себя смысловых функций тире. При оценке работ нужно снисходительно относиться к использованию тире в тех ситуациях, где правила допускают его употребление наравне с двоеточием, однако в беседах по результатам работ стоит интересоваться, насколько осознанно такие замены произведены. Если поощрять практику необдуманного употребления тире, у обучающихся может сложиться впечатление, что тире является универсальным знаком и его можно использовать

⁵ Н.С. Валгина, *Актуальные проблемы современной русской пунктуации*, Москва 2004, с. 124.

неограниченно. В подтверждение ошибочности такого понимания можно привести предложение из сочинения, в котором нагромождение тире вносит сумбур в оформление мыслей: *Дети и молодежь считают – это «круто» – гулять свободно по улицам города, когда все вокруг смотрят на них испуганно – они ежедневно смотрят такие сцены по телевидению – там это нормально, значит так и должно быть!* Если пишущий не намерен разбивать данное высказывание на отдельные предложения, ему необходимо прибегнуть к комбинации знаков, например: *Дети и молодежь считают: это «круто» – гулять свободно по улицам города, когда все вокруг смотрят на них испуганно; они ежедневно смотрят такие сцены по телевидению – (,) там это нормально, значит так и должно быть!*

Изучение знаков препинания в бессоюзном сложном предложении предполагает освоение той части правил, которые, помимо структурного, в значительной степени опираются на смысловой и интонационный принципы пунктуации. Сопоставление семантики и функций отдельных знаков, закрепленных в практике письма, подводит к осознанию закономерностей их функционирования в текстах. Формальное применение правил, которые допускают возможность выбора знаков и их комбинаций с учетом условий контекста, не приемлемо. Умение видеть и оценивать возможные варианты знаков препинания в каждом конкретном тексте требует осмысления не только сути самих правил, но и анализа условий контекста, предполагает достаточную лингвистическую осведомленность, в связи с чем изучение вариантной пунктуации в бессоюзных сложных предложениях целесообразно предусматривать в программах практикумов по русскому языку на ступени магистратуры, когда работа ведется со связными текстами, а также на специализированных курсах повышения квалификации переводчиков, журналистов, работников издательств.

Литература

Валгина Н.С., *Трудные вопросы пунктуации*, Москва 1983.

Валгина Н.С., *Актуальные проблемы современной русской пунктуации*, Москва 2004.

Ширяев Е.Н., *Соотношение знаков препинания в бессоюзном сложном предложении*, [в:] *Современная русская пунктуация*, Москва 1979, с. 60–73.

Правила русской орфографии и пунктуации. Полный академический справочник, Москва 2007.

Мишкина Л., *10 эссе*, режим доступа: <http://www.proza.ru/2006/06/01-12>.

Podracki J., *Nowy słownik interpunkcyjny języka polskiego z zasadami przestankowania*, Warszawa 2005.

Klemensiewicz Z., *Zarys składni polskiej*, Warszawa 1961.

Wielki słownik ortograficzny języka polskiego, red. A. Markowski, Warszawa 2000.

Критерии выбора знака препинания в бессоюзных сложных предложениях (лингвометодический аспект)

Резюме

Анализ письменных работ студентов показывает их недостаточную осведомленность в смысловых функциях знаков препинания, обслуживающих бессоюзные сложные предложения. На многочисленных примерах рассматриваются критерии выбора знака при создании собственных текстов и при письме с опорой на звучащую речь, при этом во внимание принимается смысловая заданность, а также интонационная сторона высказывания.

Ключевые слова: пунктуация, бессоюзное сложное предложение, варианты знаков препинания, коммуникативная установка высказывания, смысловой и интонационный принципы пунктуации.

Criteria for selecting punctuation symbols in complex asyndetic sentences (didactic aspect)

Abstract

The analysis of students' written work shows that their knowledge and competence in the use of punctuation marks in complex asyndetic sentences is poor. Numerous examples are used to show the criteria for selecting punctuation marks in the writing of dictation exercises and the creation of original texts. The communicative function and the intonation aspect of the clauses are taken into account.

Key words: punctuation marks, asyndetic complex sentence, students' written works, communicative function, intonation aspects of speech.

Larisa Mikheeva
Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
Instytut Neofilologii (filologia rosyjska)
e-mail: mikkhe_eva@yahoo.com
+48 12 662 67 35

Halina Zajac-Knapik

Typowe błędy interferencyjne w zakresie gramatyki i leksyki studentów I roku filologii rosyjskiej rozpoczynających naukę tego języka

Błędy są traktowane jako wskaźnik zachodzących procesów uczenia się. Prowadzi to do oceniania błędu jako wyrazu postępów uczącego się. Istnieją poglądy, że błąd należy zwalczać bezwzględnie, traktując jego pojawienie się jako wskaźnik dla nauczyciela, na które sprawności językowe czy też elementy języka należy zwrócić uwagę. „Najczęściej jednak – pisze Hanna Komorowska – mamy jeszcze do czynienia prawie wyłącznie z próbami niedopuszczania do powstawania błędów, a raczej z próbami niedopuszczania do ich powstawania w obecności nauczyciela, ponieważ wiadomo, że w naturalnej sytuacji porozumiewania się w języku obcym, a więc w sytuacji mniej ustrukturalizowanej – pewne błędy wystąpią”¹.

Przyswajane przez uczącego się elementy języka związane są z posiadaniem lub nieposiadaniem przez niego układu odniesienia, z którym porównuje on przyswojone elementy języka. W przypadku, gdy proces nauczania prowadzony jest tak, aby odwracać uwagę uczącego się od języka ojczystego poprzez pomijanie tego języka, jednak mimo to uczący się ma tendencję do zestawiania obu tych systemów poprzez porównywanie i odwoływanie się do znanego już systemu języka. Istnieją różne spojrzenia na rolę języka ojczystego ucznia w procesie przyswajania języka obcego. Jest to, zdaniem Komorowskiej, „jedna z najważniejszych przyczyn rozbieżności stanowisk metodycznych w stosunku do wprowadzania lub eliminowania z procesu nauczania języka obcego gramatyki pedagogicznej, czyli gramatyki B”². Język ojczysty osoby uczącej się języka obcego, będący dla niej układem odniesienia, może w związku z tym „być zarówno źródłem dodatkowych trudności wywołanych przenoszeniem zdobytych umiejętności na właśnie opanowany materiał językowy, jak i czynnikiem ułatwiającym proces uczenia się, co następuje wówczas, gdy przenoszenie nawyków językowych nie staje się przyczyną błędów, a raczej ułatwia zapamiętanie poszczególnych elementów systemu języka obcego lub zrozumienie ich funkcjonowania”³.

Zagadnieniem istotnym dla określenia stopnia i rodzaju trudności, na jakie napotyka uczeń czy student w procesie uczenia się, jest przenoszenie opanowanej

¹ H. Komorowska, *Nauczanie gramatyki języka obcego a interferencja. Audiolingwalizm, kognitywizm, interferencja*, WSiP, Warszawa 1980, s. 82.

² Tamże, s. 104.

³ Tamże.

uprzednio umiejętności na opanowanie innej umiejętności. Proces ten określa się jako transfer. Wyróżniamy kilka typów transferu, tj. transfer negatywny (zwany interferencją), transfer zerowy i transfer pozytywny. Interferencja jest zjawiskiem, które oznacza negatywny wpływ wcześniej wyrobionych umiejętności językowych na umiejętności wykształcone później. Rozróżnia się interferencję międzyjęzykową i wewnątrzjęzykową. W ramach interferencji wyróżniamy hamowanie proaktywne (wpływ wcześniejszej umiejętności na późniejszą), hamowanie retroaktywne (wpływ późniejszej umiejętności na wcześniejszą), hamowanie reproduktywne (trudność odtwarzania wyrobionej już umiejętności), hamowanie asocjacyjne (trudność wyrabiania umiejętności)⁴.

Z punktu widzenia psychologicznych mechanizmów interferencji wewnątrz- i międzyjęzykowej u jej podstaw leżą zjawiska generalizacji bodźca, irriadacji, generalizacji reakcji. Według Komorowskiej, błąd o charakterze interferencyjnym może odzwierciedlać „niedociągnięcia w zakresie kompetencji językowej ucznia wywołane percepcją bodźca bez odpowiedniej analizy korowej lub też wywołane niewyspecjalizowaniem poszczególnych ośrodków nerwowych lewej półkuli mózgowej; niedociągnięcia w zakresie produkcji, które występują sporadycznie, nie świadcząc tym samym o jakichkolwiek niedociągnięciach z zakresu kompetencji”⁵.

Popełnianie błędów przez uczących się języka rosyjskiego jest zjawiskiem nieodłącznym procesu uczenia się. Proces uczenia się implikuje w sposób nieuchronny popełnianie błędów. Błąd w pewnym sensie określa stopień przyswojenia określonego zakresu wiedzy lub sprawności. Między stanem wyjściowym a docelowym procesu uczenia się zachodzi różnica ilościowa. „Prawdopodobieństwo popełnienia błędu – stwierdza Franciszek Grucza – nie osiąga jednak nigdy wartości zerowej. Nie można bowiem nigdy osiągnąć takiego stanu w zakresie przyswojenia jakiegoś zasobu wiedzy lub umiejętności, który by wykluczał w sposób absolutny popełnienie błędu. (...) zjawisko błędu jest zjawiskiem naturalnym, towarzyszącym wszelkiej działalności człowieka (i zresztą nie tylko człowieka) w ciągu całego jego życia, człowiek jest bowiem istotą uczącą się od urodzenia aż do śmierci. Tak jak można mówić o ustawicznym procesie uczenia się lub doskonalenia wiedzy i umiejętności, tak samo można również mówić o ustawicznym procesie popełniania błędów”⁶.

Proces popełniania błędów językowych jest procesem niekończącym się. Poszczególne podsystemy języka podlegają temu procesowi w sposób zróżnicowany. Zdaniem Gruczy, „Pewne warstwy systemu językowego, a także pewne fragmenty tych warstw, są bardziej podstawowe, a nawet niezbędne, tzn. redundantne. Aby móc wobec tego posługiwać się danym językiem, należy opanować przynajmniej owe podstawowe warstwy jego budowy. (...) zachodzi tu następująca prawidłowość: im bardziej zamknięty jest tzw. podsystem językowy stanowiący daną warstwę budowy języka, tym bardziej konieczne jest lepsze opanowanie tego podsystemu. Ale nawet najbardziej zamkniętych podsystemów nie jesteśmy w stanie opanować w sposób absolutny. Oznacza to, że w zakresie tych podsystemów nigdy nie będziemy w stanie zupełnie wyeliminować prawdopodobieństwa popełnienia błędu”⁷.

⁴ Tamże, s. 106–107.

⁵ Tamże, s. 114.

⁶ A. Grucza (red.), *Z problematyki błędów obcojęzycznych*, WSiP, Warszawa 1978, s. 9–10.

⁷ Tamże, s. 11.

O opanowaniu języka obcego mówimy w przypadku, gdy dana osoba jest w stanie zrozumieć utworzone w tym języku wypowiedzi ustne i pisemne oraz jest w stanie tworzyć w tym języku zrozumiałe dla innych wypowiedzi ustne i pisemne. W odniesieniu do pierwszego zjawiska mówimy o receptywnym opanowaniu języka, w odniesieniu zaś do zjawiska drugiego – o produktywnym opanowaniu języka. Rozróżnia się dwie kategorie błędów, tj. kategorię błędów popełnianych na skutek nieopanowania lub niedostatecznego opanowania danego języka, a więc wynikających z niepełnej kompetencji oraz kategorię błędów popełnianych przez kompetentnych użytkowników danego języka, którzy są w stanie błędy te skorygować. Zazwyczaj pojęcie „błąd” odnosi się do pierwszej kategorii błędów, określanych jako błędy „sensu stricto”. W odniesieniu do drugiej kategorii mamy do czynienia z tzw. pomyłkami językowymi, które są określane jako błędy „sensu largo”⁸.

Celem przeprowadzonych przez nas badań było zanalizowanie błędów językowych z zakresu podsystemu gramatyki języka rosyjskiego odnoszących się do błędów „sensu stricto”. Do badań przeprowadzonych przez nas został dobrany taki materiał językowy, aby można było przeanalizować podobieństwa i różnice między językiem rosyjskim a analogicznym materiałem z języka polskiego. W ramach badanego materiału morfosyntaktycznego znajdował się materiał silnie interferujący, podlegający interferencji międzyjęzykowej. Badania zostały przeprowadzone wśród studentów I roku filologii rosyjskiej grup „zerowych” (na podstawie 3 grup). Test objął materiał morfosyntaktyczny z I roku studiów stacjonarnych (uwzględniony w programie nauczania). Test zawierał 30 zdań z zakresu rekcji czasownika (w tym 15 z zakresu rządu przypadkowego i 15 z zakresu rządu przyimkowego). Testowanie zostało przeprowadzone pisemnie. Nie brano pod uwagę ani ortografii, ani opanowania materiału leksykalnego, jako że celem testowania było dostarczenie informacji na temat opanowania materiału morfosyntaktycznego. Na podstawie badań stwierdzono, iż bardzo często przenoszono polskie konstrukcje czasownikowe do języka rosyjskiego. Prawdopodobieństwo popełnienia błędu było tutaj duże, ponieważ wiele czasowników rosyjskich rządzi innym przypadkiem i wymaga innego przyimka niż w języku polskim. Przedstawimy to na przykładach najczęściej występujących błędnych konstrukcji czasownikowych w zakresie rządu przypadkowego, podając jednocześnie odpowiadające czasownikom rosyjskim czasowniki polskie:

Zdania w języku polskim	Zdania w języku rosyjskim
1. Studiuję geologię.	1. * Я изучаю геологию. *Я учусь геологию. (zam. Я изучаю геологию).
2. Uczymy się języka rosyjskiego.	2. *Мы учимся русского языка. *Мы изучаем русского языка. (zam. Мы учим русский язык. Мы изучаем русский язык).
3. Kola zaadresował list do kolegi.	3. * Коля заадресовал письмо другу. (zam. Коля адресовал письмо другу).
4. Dyskutowaliśmy nad referatem.	4. * Мы дискутировали о докладе. * Мы беседовали над рефератом. (zam. Мы обсуждали доклад).

⁸ Tamże, s. 13.

5. Ania szybko opanowała język angielski.	5. * Аня быстро овладела английским языком. * Аня быстро научилась английского языка. (zam. Аня быстро овладела английским языком).
6. Pasjonuję się językiem hiszpańskim.	6. * Я увлекаюсь испанском языке. (zam. Я увлекаюсь испанским языком).
7. Pasażerowie czekają na autobus.	7. * Пассажиры ждут на автобус. (zam. Пассажиры ждут автобуса).
8. Piszę list do swojej cioci.	8. * Я пишу письмо своей тётти. *Я пишу письмо к своей тётте. (zam. Я пишу письмо своей тётте).
9. Dzwonimy do mamy codziennie.	9. * Мы звоним к маме ежедневно. (zam. Мы звоним маме ежедневно).
10. Siedzę w domu i słucham muzyki.	10. * Я сижу домой и слушаю музыки. (zam. Я сижу дома и слушаю музыку).
11. Wracam do domu z pracy.	11. * Я возвращаю домой из работы. *Я возвращаюсь домой из работы. (zam. Я возвращаюсь домой с работы).
12. Na zajęciach korzystamy ze słowników.	12. * На занятиях мы пользуемся из словарей. (zam. На занятиях мы пользуемся словарями).

Oto przykłady użycia błędnych konstrukcji czasownikowych z zakresu rządu przyimkowego:

Zdania w języku polskim	Zdania w języku rosyjskim
1. Przygotowuję się do zajęć.	1. * Я готовлю к занятиям. * Я приготовлюсь к занятиям. (zam. Я готовлюсь к занятиям).
2. Andrzej ożenił się z Tanią.	2. *Андрей женился с Таней. (zam. Андрей женился на Тане).
3. Misza zakochał się w Ani.	3. * Миша влюбился в Ани. (zam. Миша влюбился в Аню).
4. Siedzę przy stole.	4. * Я сижу у стола. * Я сижу за стол. (zam. Я сижу за столом).
5. Usiedliśmy do stołu.	5. * Мы сели за столом. * Мы сядились за столом. (zam. Мы сели за стол).
6. Siedzę w fotelu.	6. * Я сижу на кресле. (zam. Я сижу в кресле).
7. Płaszcz wisi na wieszaku.	7. * Пальто висит на вешалку. (zam. Пальто висит на вешалке).
8. Tata powiesił obraz na ścianie.	8. * Папа завесил картину у стены. (zam. Папа повесил картину на стену).
9. Kładę zakupy na stole.	9. * Я кладу покупки на столе. (zam. Я кладу покупки на стол).
10. Uczeń położył książkę na półce.	10. * Ученик положил книгу на полке. (zam. Ученик положил книгу на полку).
11. Położyłam wazon z kwiatami na stole.	11. * Я кладу вазу для цветов на столе. (zam. Я поставила вазу для цветов на стол).
12. Ciocia Nusia kładzie się na kanapie.	12. * Тётя Нюся ложится на диване. (zam. Тётя Нюся ложится на диван).

Celem zapobiegania wyżej wymienionym błędom gramatycznym proponujemy stosowanie kwantów informacji lingwistycznej. Zdaniem Janusza Henzla, kwanty informacji lingwistycznej powstają w świadomości uczącego się głównie żywiołowo, w rezultacie redukcji informacji lingwistycznej, otrzymywanej przez uczniów z różnych źródeł (od nauczyciela, z podręcznika i towarzyszących mu pomocy lub na skutek dokonanej przez uczniów generalizacji (na bazie opracowywanych tekstów, wykonywanych ćwiczeń, korekty popełnianych błędów). Kwant informacji lingwistycznej polega na tym, iż uczącemu się jednocześnie z rozbudowaną informacją lingwistyczną jest proponowany jej zredukowany wariant, potrzebny dla bezpośredniego wykorzystania podczas operacji refleksji momentalnej. Kwant informacji tekstowej to zapamiętany fragment tekstu, który może być wykorzystany w gotowej lub przetworzonej formie dla rozwiązania problemu, powstałego w procesie przekodowywania. Kwant informacji lingwistycznej jest to najmniejsza porcja wiedzy lingwistycznej, konieczna i wystarczająca dla rozwiązania problemu, powstałego w procesie przekodowywania. Henzel wyróżnia trzy rodzaje kwantów informacji lingwistycznej: kwanty abstrakcyjno-symboliczne, interrogatywne i egzemplifikacyjne. Kwanty informacji lingwistycznej mogą być wykorzystywane przez uczących się przy rozwiązywaniu problemów, powstających w toku przekodowywania. W związku z tym jako punkt wyjściowy jest podawany ekwiwalent w języku ojczystym, a jako docelowy – ekwiwalent w języku obcym. Jednakże w wypadku, gdy fakt języka rosyjskiego wywołuje u polskiego uczącego się trudności nie tylko w procesie przekodowywania, ale także w procesie percepcji rosyjskiego tekstu, korzystne jest umieszczenie na początku kwantu zbudowanego na zasadzie „z rosyjskiego na polski”, a następnie kwantu zbudowanego na zasadzie „z polskiego na rosyjski”⁹.

Oto przykłady zastosowania kwantów informacji lingwistycznej w odniesieniu do wybranych konstrukcji czasownikowych, będących przedmiotem naszych badań wśród studentów I roku filologii rosyjskiej.

Kwant abstrakcyjno-symboliczny

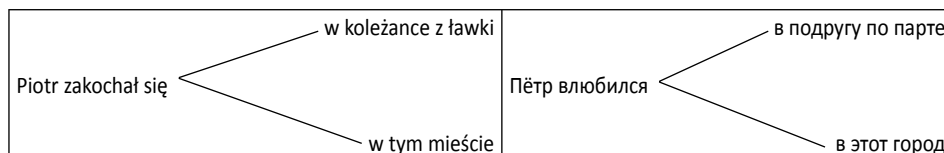
M. + zakochać się + w + Msc.	Им. + влюбиться + в + Вин.
------------------------------	----------------------------

Kwant interrogatywny

(кто?) zakochał się	(w kim?)	(кто?) влюбился	(в кого?)
	(w czym?)		(во что?)

⁹ Я. Генцель, *Квантование лингвистической информации и его применение в лингводидактических материалах по русскому языку*, [w:] *Вопросы лингвистики и лингводидактики. Материалы конференции МАПРЯЛ*, ред. Т. Жеберек, Wydawnictwo Naukowe WSP, Kraków 1996, ss. 214–215.

Kwant egzemplifikacyjny



Odnotowane przez nas błędy leksykalne są to błędy z zakresu użycia leksyki spowodowane podobieństwem fonetycznym wyrazów rosyjskich i polskich oraz brakiem zrozumienia wyrazów rosyjskich, nie zbliżonych pod względem fonetycznym do wyrazów polskich. Błędy wynikające z podobieństwa odpowiedników fonetycznych w języku polskim są popełniane automatycznie, ponieważ student zapamiętał wyraz, nie znając jego rzeczywistego znaczenia, przez co przypisuje mu znaczenie polskie. Oto zdania, w których studenci popełniali błędy:

Wyraz polski, który należało przetłumaczyć w danym kontekście	Zdania w języku rosyjskim
wykładów	1. Я не люблю *занятий по грамматике. (zam. Я не люблю <u>лекций</u> по грамматике).
na lekcji	2. На *лекции польского языка мы читали стихотворения Мицкевича. (zam. На <u>уроке</u> польского языка мы читали стихотворения Мицкевича).
w tym zdaniu	3. Ты допустил ошибку в этом *здании. (zam. Ты допустил ошибку в этом <u>предложении</u>).
budynek	4. В конце улицы мы увидели *будинок школы. (zam. В конце улицы мы увидели <u>здание</u> школы).
do teczki	5. Андрей положил книгу в *течку (в *бумажник, *папку, *сумку). (zam. Андрей положил книгу в <u>портфель</u>).
portfel	6. Мой отец носит *портфель в кармане пиджака. (zam. Мой отец носит <u>бумажник</u> в кармане пиджака).
kolor	7. Ольга любит белый *свет. (zam. Ольга любит белый <u>цвет</u>).
kolory	8. Любимые цветы мамы – это коричневый и зелёный. (zam. Любимые <u>цвета</u> мамы – это коричневый и зелёный).
kwiaty	9. По случаю дня рождения Тамара получила *светы. (zam. По случаю дня рождения Тамара получила <u>цветы</u>).
ojczyzna	10. Моя *страна (*сторона, *отчизна, *сторона) – Польша. (zam. Моя <u>родина</u> – Польша).
rodzina	11. Моя *фамилия (*родина) – это моя сестра Аня, мой брат Павел, мои родители. (zam. Моя <u>семья</u> – это моя сестра Аня, мой брат Павел, мои родители).

sprząta	12. Мама *чистит квартиру. (zam. Мама <u>убирает</u> квартиру).
---------	--

Wszystkie podane wyżej formy istnieją w języku rosyjskim, są jednak używane w innym znaczeniu.

Aby zapobiec wymienionym wyżej błędom, proponujemy zastosowanie koncepcji kwantowania informacji lingwistycznej z zakresu leksyki. Kwanty, zawierające informację lingwistyczną z zakresu leksyki, najkorzystniej można stosować w sytuacji, kiedy uczącemu się zagraża niebezpieczeństwo popełniania błędów wywołanych interferencją międzyjęzykową. Korzystne jest włączanie do kwantu dwóch lub więcej interferujących leksemów.

Druga właściwość kwantów, zawierających informację lingwistyczną z zakresu leksyki, polega na tym, że niebezpieczeństwo popełnienia błędu dotyczy nie tylko nieprawidłowego użycia obcojęzycznego ekwiwalentu, ale także nieprawidłowego jego łączenia z innymi leksemami (rodzaj gramatyczny, rząd, łączliwość) oraz nieprawidłowej wymowy, akcentu lub pisowni. W związku z tym kwanty powinny zawierać dodatkową informację z gramatyki, łączliwości, artykulacji, akcentuacji i ortografii¹⁰.

Oto przykłady zastosowania kwantów informacji lingwistycznej na podstawie wybranych wyrazów, w zakresie użycia których studenci popełniali błędy:

портфель	teczka
бумажник	portfel

портфель	teczka	
	portfel	
	portfel	бумажник

teczka	портфель
portfel	бумажник

teczka	портфель	
	portfel	
	portfel	бумажник

Literatura

Publikacje w języku polskim

Grucza A., (red.), *Z problematyki błędów obcojęzycznych*, WSiP, Warszawa 1978.

Harczuk Z., *Interferencja języka polskiego w procesie nauczania języka rosyjskiego*, PZWS, Warszawa 1972.

Komorowska H., *Sukces i niepowodzenie w nauce języka obcego*, WSiP, Warszawa 1978.

¹⁰ Tamże, s. 215–220.

Komorowska H., *Nauczanie gramatyki języka obcego a interferencja. Audiolingwalizm, kognitywizm, interferencja*, WSiP, Warszawa 1980.

Komorowska H., *Metody badań empirycznych w glottodydaktyce*, PWN, Warszawa 1982.

Komorowska H., *Testy w nauczaniu języków obcych*, WSiP, Warszawa 1984.

Publikacje w języku rosyjskim

Генцель Я., *Билингвальная модель речепорождения и вопросы презентации языкового материала в учебниках русского языка*, [в:] *Новые российские реалии и их отражение в современном русском языке*, Издательство АРТ, Ольштын 1994, сс. 35–41.

Генцель Я., *Квантование лингвистической информации и его применение в лингводидактических материалах по русскому языку*, [в:] *Вопросы лингвистики и лингводидактики. Материалы конференции МАПРЯЛ*, ред. Т. Жеберек, Wydawnictwo Naukowe WSP, Kraków 1996, сс. 214–221.

Типичные лексические и грамматические интерференционные ошибки студентов первого курса русской филологии, начинающих изучение этого языка

Резюме

В статье рассматриваются проблемы, связанные с интерференционными ошибками на основании работ Х. Коморовской, Ф. Гручи и Я. Генцеля. Автор статьи обсуждает типичные лексические и грамматические ошибки, допускаемые студентами первого курса нулевых групп. С целью предупредить названные ошибки мы предлагаем применение концепции квантования лингвистической информации.

Ключевые слова: интерференционные ошибки, лингводидактическая информация, межъязыковая интерференция, внутриязыковая интерференция, грамматические ошибки, лексические ошибки

Typical grammatical and lexical interference mistakes by first year students of the Russian department in the beginning stage of learning Russian

Abstract

In the paper, general problems of errors in foreign language acquisition are discussed on the basis of works of H. Komorowska, F. Grucza and J. Henzel. Typical lexical and grammatical interference mistakes made by students of the first year of the Russian department are presented. In order to prevent such mistakes made by students, the author proposes the concept of quantisation of the linguistic information.

Key words: interference mistakes, linguistic information, interlanguage interference, intralanguage interference, grammatical mistakes, lexical mistakes

Halina Zając-Knapik

Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

Instytut Neofilologii (filologia rosyjska)

e-mail: halinaza@o2.pl

+48126626740

Spis treści / Contents

Od redaktorów / From the Editors	3
ЯЗЫКОЗНАНИЕ / LINGUISTICS	
Людмила Байдж Семантика и прагматика русской частицы все равно в аргументативных дискурсах Functions of the Russian particle “vsyo ravno” in argumentative discourse as viewed semantically and pragmatically	4
Halina Chodurska Z dziejów medycyny naturalnej, czyli o księgach zielarskich From the history of natural medicine, that is about books of herbs	14
Елена Купчик Метафоры надежды в русской поэзии Hope metaphors in Russian poetry	31
Наталья Кузнецова Об одном малоизученном противопоставительном коннекторе в современной русской речи On a little-studied contrast connector in the modern Russian language	39
Наталья Николина Наречия – инновации в современной художественной речи Adverbs – an innovation in the modern literary language	45
Joanna Rybarczyk-Dyjewska Wschodniosłowiańska stomatologia ludowa Eastern folk dentistry	54
Евгений Степанов Фигуры экспрессивного синтаксиса в рассказах Татьяны Толстой Figures of expressive syntax in stories of Tatiana Tolstaya	71
Ольга Трофимова «...подпискою обязуюсь»: грамматика русского комиссива (на материале документов XVIII века) «...subscription pledge»: Russian grammar commissives (based on the 18th century documents)	82
Николай Васильев Русский мат: казнить нельзя помиловать Russian mat: cannot execute the pardon	94

[178]

Валентина Закревская

- Грамматический потенциал диалектного текста
(видовременные глагольные формы в архангельских говорах)
Grammatical potential of the dialect text
(aspectual verbal forms in the Arkhangelsk dialects) **100**

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ / THE STUDY OF LITERATURE

Светлана Фокина

- Перформативность как фактор авангардной эстетики
в цикле М.И. Цветаевой Скифские
Performativity as a factor in avant-garde aesthetics
in the cycle of M. I. Tsvetaeva Scythian **106**

Анна Греб

- Urok i wzruszenie a zadowolenie duszy. Poglądy estetyczne
Michaiła Murawjowa
Charm and emotion and satisfaction of the soul. The aesthetic
views of Mikhail Muraviev **117**

Ольга Лагунова

- Русскоязычный писатель в России последней трети XX века:
стратегии рефлексии феномена
The Russian-speaking writer in Russia of the last thirds
of the 20th century: the strategy of reflection of a phenomenon **128**

Barbara Stawarz

- Ułudа pamięci. Elegia i idylla – powinowactwa gatunkowe
w poezji rosyjskiej (XVIII – początek XIX wieku)
The illusion of memory. Elegy and idyll – genre affinities
in Russian poetry (the 18th – and the beginning of the 19th century) **136**

ГЛОТТОДИДАКТИКА / GLOTTODIDACTICS

Dorota Dziewanowska

- Nowe wyzwania dla współczesnego nauczyciela w kontekście
integracji europejskiej
New requirements for a contemporary teacher in the context
of European integration **149**

Лариса Михеева

- Критерии выбора знаков препинания в бессоюзных
сложных предложениях (лингвометодический аспект)
Criteria for selecting punctuation symbols
in complex asyndetic sentences (didactic aspect) **160**

Halina Zajac-Knapik

- Typowe błędy interferencyjne w zakresie gramatyki i leksyki studentów
I roku filologii rosyjskiej rozpoczynających naukę tego języka
Typical grammatical and lexical interference mistakes by first year
students of the Russian department in the beginning stage of learning
Russian **169**

